



Вирджиния
Вулф



ПО МОРЮ
ПРОЧЬ

КЛАССИКА
ТЕКСТ

Annotation

Вирджиния Вулф (1882–1941) — всемирно известная писательница, критик и теоретик модернизма. «По морю прочь» — первый роман Вулф. Его персонажи отправляются за океан, чтобы отдохнуть на побережье Южной Америки. Главная героиня, юная Рэчел Винрэс, сталкивается с разными людьми — политиками, писателями, учеными. Она узнает жизнь, испытывает первое чувство, а потом и настоящую любовь и начинает понимать, что в человеческих отношениях ценно, а что — не более чем мишурा. Перевод: Артем Осокин

- [Вирджиния Вулф](#)

- [Глава 1](#)
- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Глава 10](#)
- [Глава 11](#)
- [Глава 12](#)
- [Глава 13](#)
- [Глава 14](#)
- [Глава 15](#)
- [Глава 16](#)
- [Глава 17](#)
- [Глава 18](#)
- [Глава 19](#)
- [Глава 20](#)
- [Глава 21](#)
- [Глава 22](#)
- [Глава 23](#)
- [Глава 24](#)
- [Глава 25](#)
- [Глава 26](#)
- [Глава 27](#)
- [Стюарт Н. Кларк \[74\]](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)

- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)

- [54](#)
 - [55](#)
 - [56](#)
 - [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
 - [61](#)
 - [62](#)
 - [63](#)
 - [64](#)
 - [65](#)
 - [66](#)
 - [67](#)
 - [68](#)
 - [69](#)
 - [70](#)
 - [71](#)
 - [72](#)
 - [73](#)
 - [74](#)
 - [75](#)
 - [76](#)
 - [77](#)
-

Вирджиния Вулф

По морю прочь

Посвящается Л.В.

Глава 1

По узким улицам, ведущим от Стрэнда к Набережной, не стоит ходить под руку. Если вы все-таки от этого не удержитесь, встречным клеркам придется прыгать в лужи, а молоденькие машинистки станут нетерпеливо топтаться у вас за спиной. На лондонских мостовых красоту никто не ценит, но необычность не проходит даром, поэтому там лучше не быть слишком высоким, не носить долгополый синий плащ и не размахивать в воздухе левой рукой.

Как-то в начале октября, в тот послеполуденный час, когда уличное движение становится особенно суетливым, по тротуару шли под руку высокий мужчина и дама. Гневные взгляды впивались им в спины. Украшенные авторучками и обремененные портфелями нервные маленькие люди — а по сравнению с этой четой все люди казались маленькими — боялись опоздать на деловые встречи, ни на минуту не оставляя мыслей о своем еженедельном жалованье, так что легко можно было понять неприязнь, с которой они смотрели на долговязую фигуру мистера Эмброуза и длинный плащ миссис Эмброуз. Однако некая отрешенность отгораживала обоих от злобы и недоброжелательности внешнего мира. Что касается мужчины, то, судя по движениям губ, он был погружен в свои мысли; в глазах женщины, неподвижно уставившихся поверх взглядов толпы, блестела печаль. Только насмешливое презрение ко всему окружающему помогало ей удержаться от слез, но каждое прикосновение сновавших мимо людей явно причиняло страдание. Сделав над собою усилие, она минуту или две взирала на движение экипажей и машин по Набережной, а затем, выбрав короткий промежуток между автомобилями, дернула мужа за рукав, и они пересекли улицу. Когда они оказались в безопасности на другой стороне, она осторожно высвободила руку из-под его руки, одновременно позволив своим губам расслабиться и задрожать. Вслед за этим из глаз ее полились слезы, и она, облокотившись на балюстраду, скрыла лицо от посторонних взглядов. Мистер Эмброуз стал было утешать жену, похлопывая по плечу, но она не обратила на это никакого внимания. Тогда, чувствуя, что неловко просто так стоять рядом с человеком, чье горе намного превосходит его собственное, он сцепил руки за спиной и стал не спеша прогуливаться по тротуару.

Во многих местах Набережная вдается в реку угловатыми выступами, похожими на церковные кафедры, однако вместо проповедников их занимают мальчишки, которые удят рыбу, швыряют камешки или пускают в дальнее плавание комья смятой бумаги. У них острый глаз на все экстравагантное, поэтому вид мистера Эмброуза, по их мнению — недопустимо странный, сразу привлек их внимание. Когда он проходил мимо, самый остроумный из них выкрикнул: «Синяя борода!» Мистер Эмброуз, боясь, что дальше они примутся за его жену, замахнулся на мальчишеч тростью, отчего те окончательно уверились в его полной нелепости, и уже четверо хором закричали: «Синяя борода!»

Хотя миссис Эмброуз стояла не двигаясь неестественно долго, мальчишки не стали ее донимать. Около моста Ватерлоо всегда кто-нибудь смотрит на реку. Тихими вечерами там то и дело останавливаются парочки поворковать с полчаса, а просто любители прогулок не упускают задержаться минуты на три и полюбоваться видом; сравнив представившуюся их взорам картину с виденными ранее и сделав подобающий вывод, они отправляются дальше. Иногда жилые дома, церкви и гостиницы Вестминстера напоминают очертания Константинополя в дымке; иногда река бывает темно-пурпурной, иногда просто цвета грязи, а порой — искристо-синей, как море. Всегда стоит взглянуть вниз и посмотреть, какая она сейчас. Но эта дама не любовалась ни далью, ни красотой вод — единственное, что она видела с тех пор, как замерла у балюстрады, было медленно проплывавшее мимо круглое радужное пятно с клоком соломы

посередине. Пятно и солома все плыли и плыли в дрожащей прозрачности крупной слезы, которая наполнялась и капала в реку и сразу же сменялась другой. Тут женщина услышала — громко, будто декламировали ей на ухо:

Ларс Порсена Клузианский
Девятью богами клялся...

а потом все тише, как если бы чтец стал удаляться:

Что великий Дом Тарквиньев
Не постигнут больше беды... [\[1\]](#)

Она, конечно, понимала, что пора вернуться ко всему этому, но сейчас она должна была выплакаться. Закрыв лицо ладонями, она еще самоотверженнее отдалась рыданиям, и ее плечи стали вздыматься и опадать с четкой размеренностью. Такой увидел ее муж, когда, дойдя до сверкающего отполированной поверхностью сфинкса и столкнувшись с продавцом открыток, повернул обратно. Стихи оборвались. Он подошел к ней, положил руку ей на плечо и сказал:

— Дорогая...

В его голосе слышалась мольба, но она отвернулась, как бы говоря: «Тебе ни за что не понять!»

Однако он не оставил ее, и ей пришлось вытереть глаза и поднять голову и увидеть фабричные трубы на том берегу. А еще она увидела арки моста Ватерлоо и повозки, двигавшиеся в них, как звери-мишени в тире. Все это она едва могла разглядеть, но она это видела, а вторжение зrimой реальности означало, что пора прекращать плач и идти дальше.

— Я бы лучше пошла пешком, — сказала она, когда ее муж остановил экипаж, в котором уже сидели два дельца из Сити.

Ходьба постепенно рассеивала ее горестную сосредоточенность. Стреляющие выхлопами автомобили, более похожие на сверхъестественных пауков, чем на земные средства передвижения, громыхающие телеги, позвякивающие двукулки, маленькие черные кареты заставили ее обратить мысли к миру, в котором она жила. Где-то там, далеко, за шпилями, за вздывающимся горой дымом города, ее дети сейчас спрашивают о ней и получают уклончивый, успокаивающий ответ. К разделявшей их громаде из улиц, площадей, казенных зданий она испытывала, на удивление, мало теплых чувств, несмотря на тридцать из сорока лет ее жизни, проведенные в Лондоне. Она умела читать обличья людей, проходивших мимо: были среди них богачи, сновавшие в этот час между обиталищами себе подобных, были работяги, фанатически сосредоточенные только на своем деле, и ни на чем другом, — эти ровными рядами брели на работу; были и бедняки — несчастные и озлобленные, какими им и следовало быть. Хотя городская дымка еще пронизана была солнцем, оборванные старики и старухи клевали носом и засыпали на скамейках. Взгляд, уставший высматривать красоту, окутывающую мир, обречен остановиться на уродливом остове, который всегда под ней.

Начавшийся мелкий дождь окрасил мир в глазах миссис Эмброуз в еще более мрачные тона; намалеванные на фургонах нелепые названия нелепых компаний выглядели пошло и вызывали досаду, как плоская шутка: «Спрулз, производитель опилок» или «Грабб — каждый клочок использованной бумаги — в дело!»; храбрые влюбленные, укрывшиеся под одним дождевиком, казались ей соединенными развратом, а не любовью; самодовольные цветочницы,

чи пересуды всегда так интересно послушать, были теперь просто сворой мокрых ведьм, а их красные, желтые и голубые цветы, тесно увязанные в букеты, всем своим видом говорили, что они уже никогда не расправят примятые лепестки. Даже ее муж, шедший быстрым размеренным шагом, иногда взмахивая свободной рукой, — на фоне летающих в небе чаек он преобразился то ли в викинга, то ли в раненого Нельсона.

— Ридли, может, поедем? Может, поедем, Ридли?

Миссис Эмброуз пришлось почти кричать — в этот момент мысли ее спутника унесли его куда-то далеко.

Экипаж, мерно подрагивая, вскоре вывез их из Вест-Энда и окунул в Лондон. Ей представилось, что весь остальной Лондон — один необъятный завод, где все жители — рабочие, а Вест-Энд со своими электрическими фонарями, отражающими желтый свет зеркальными витринами, аккуратными домиками и маленькими подвижными фигурками — семенящими по тротуарам или колесящими по мостовым — и есть единственное изделие этого завода. А еще ей представилось, что Вест-Энд — это маленькая золотая кисть на краешке огромного черного плаща.

Заметив, что навстречу им не попалось ни одного двухколесного экипажа, но все только фургоны и телеги, а среди сотен увиденных ею мужчин и женщин ни разу не мелькнули ни джентльмен, ни леди, миссис Эмброуз подумала, что в бедности нет ничего необычного и что Лондон — город бесчисленных бедняков. Испуганная этим открытием, она осознала, что все дни своей жизни кружила возле площади Пикадилли, поэтому вид здания, построенного Советом Лондонского графства для Вечерних школ, принес ей большое облегчение.

— Господи, какое унылое строение! — проворчал ее муж. — Бедные создания!

На нее, терзаемую тоской по собственным детям, картинами бедности и дождем, эти слова подействовали, как щепотка соли, брошенная на открытую рану.

Тут экипаж встал, потому что, двигаясь дальше, он рисковал быть раздавленным, как яичная скорлупа. Широкая Набережная, где хватало места и для пушек, и для кавалерийских эскадронов, теперь сузилась до мощенного бульдожником проезда, до отказа забитого телегами; в нос ударили запахи солода и растительного масла. Пока ее муж читал наклеенные на кирпичную стену объявления об отправке судов в Шотландию, миссис Эмброуз стала делать отчаянные усилия что-нибудь разузнать. Однако все окружающие, окутанные желтоватой дымкой, были целиком поглощены погрузкой мешков на телеги, и от них не удалось добиться ни помощи, ни внимания. Но тут свершилось чудо — к мистеру и миссис Эмброуз подошел старик, осведомился об их затруднениях и предложил подвезти их до корабля на своей лодке, пришвартованной у подножия лестницы. Недолго поколебавшись, они вверили себя старику, уселись в лодку и вскоре уже раскачивались на волнах, а Лондон превратился в два ряда зданий по обе стороны, зданий квадратных и зданий длинных, вытянувшихся в линии, как игрушечная улица из детских кубиков.

В течении реки чувствовалась великая мощь; здесь и там в воде плескались блики желтого света; грузные баржи спускались вниз, опекаемые юркими буксирами; быстрее всех носились полицейские катера; ветер дул в сторону моря. Гребная лодчонка, в которой они сидели, подскакивала и проваливалась, пробираясь поперек линии движения. На середине реки старик сложил руки на веслах, отчего вода забурлила у их лопастей, и заметил, что раньше он переправлял через реку множество людей, а теперь — на тех же бойких местах — редко кто попадется. Казалось, он вспоминал времена, когда его лодка, отчалив от зарослей камыша, перевозила изящные ножки на луга Розерхайза [\[2\]](#).

— Теперь им мосты подавай, — сказал он, махнув в сторону причудливых очертаний Тауэрского моста. Хелен с грустью посмотрела на человека, водой отделявшего ее от детей. С

грустью взглянула она и на корабль, к которому они приближались; он стоял на якоре на самой середине течения, и, если напрячь глаза, уже можно было разглядеть его имя — «Евфросина».

В спускающихся сумерках они едва могли рассмотреть линии оснастки, мачты и темный флаг, расправленный ветром в обратную от них сторону.

Когда лодчонка подчалила к пароходу, старик втащил весла на борт и, еще раз указав наверх, заметил, что корабли всего мира поднимают такой флаг в день отплытия. В глазах обоих его пассажиров синий флаг представился зловещим знаком, души их наполнились мрачными предчувствиями, но тем не менее они встали, взяли свои вещи и взобрались на палубу.

Мисс Рэчел Винрэс, двадцати четырех лет, стояла в нижнем салоне корабля, принадлежавшего ее отцу, и нервничала в ожидании своих дяди и тети. Начать с того, что, хотя они и были ее близкими родственниками, она их почти не помнила; потом — они были пожилые; наконец, как дочь своего отца она была обязана развлекать их. От первой встречи с ними она ожидала того, что обычно ожидают современные люди от знакомства с себе подобными, относясь к нему как к очередному физическому неудобству — вроде тесных туфель или сквозняка. Рэчел уже была неестественно напряжена. Она принялась укладывать вилки на обеденном столе строго параллельно ножам и тут услышала мужской голос, мрачно проговоривший:

— В темноте ничего не стоит упасть с этих ступенек вниз головой.

А женский голос добавил:

— И убиться насмерть.

На последнем слове женщина показалась в дверях. Высокая, большеглазая, закутанная в багровую шаль, миссис Эмброуз была необыкновенно хороша, хотя в ней не чувствовалось тепла — глаза ее смотрели прямо и оценивающе. Ее лицо было мягче античных лиц, но в то же время в нем было гораздо больше решительности, чем у обычной миловидной англичанки.

— Рэчел! Ну, здравствуй, — сказала она и протянула руку.

— Здравствуй, дорогая, — сказал мистер Эмброуз, склоняя голову для поцелуя. Его племяннице сразу и безотчетно понравились его угловатая фигура, большая голова, крупные черты лица и проницательные, но в то же время наивные глаза.

— Позовите мистера Пеппера, — велела Рэчел слуге.

Сели: муж и жена по одну сторону стола, а их племянница напротив.

— Отец попросил меня начать, — объяснила Рэчел. — Он очень занят там с командой...
Вы знаете мистера Пеппера?

Тихо вошел невысокий человечек, похожий на деревце, перекошенное ураганом на одну сторону. Кивнув мистеру Эмброузу, он пожал руку Хелен.

— Сквозняки, — пожаловался он, поднимая воротник пиджака.

— Вы по-прежнему страдаете ревматизмом? — спросила Хелен. Голос у нее был низкий и чувственный, хотя сейчас она говорила с отсутствующим видом: перед ее глазами еще стояли картины города и реки.

— Кто раз встретился с ревматизмом, боюсь, не расстанется с ним никогда, — ответил человечек. — В некоторой-то степени это зависит от погоды, хотя не настолько, как принято считать.

— Во всяком случае, от этого не умирают, — сказала Хелен.

— Как правило — нет, — согласился мистер Пеппер.

— Суп, дядя Ридли? — спросила Рэчел.

— Спасибо, дорогая, — отозвался тот и, протягивая свою тарелку, вполне различимо прошептал со вздохом: — Она совсем не похожа на мать!

Хелен не успела вовремя грохнуть стаканом об стол, поэтому Рэчел все услышала и тут же

густо покраснела.

— Как же эти слуги обращаются с цветами! — торопливо проговорила она. Поджав губы, она поставила перед собой вазу и стала вынимать из нее мелкие тугие хризантемки, аккуратно, одна к одной, раскладывая их на скатерти.

Последовала пауза.

— Вы ведь знали Дженкинсона, Эмброуз, не так ли? — спросил через стол мистер Пеппер.

— Дженкинсона из Питерхауз? [\[3\]](#)

— Умер, — сказал мистер Пеппер.

— Боже! Я знал его — лет сто назад. Он еще перевернулся на членоке, помните?

Чудаковатый тип. Женился на юной табачнице и жил на Болотах [\[4\]](#). Не слышал, что с ним потом стало.

— Виски, морфий... — со зловещей лаконичностью сообщил мистер Пеппер. — Написал комментарий. Говорят, безнадежный бред.

— А ведь у него были большие способности, — сказал Ридли.

— Его предисловие к Джеллаби до сих пор держится. Что удивительно, учитывая, как быстро сменяются учебники.

— Кажется, еще у него была какая-то теория насчет планет? — спросил Ридли.

— С мозгами у него было не все в порядке, это точно, — кивнул мистер Пеппер.

В этот момент по столу прошла дрожь, фонарь снаружи закачался. Сейчас же несколько раз пронзительно прозвенел электрический звонок.

— Отбываем, — сказал Ридли.

Затем пол будто приподняло волной — слегка, но ощутимо, — потом уронило вниз и опять приподняло, еще более ощутимо. Огни в незашторенном окне пошли назад. Корабль издал громкий тосклиwyй зов.

— Отбываем! — сказал мистер Пеппер.

Другие корабли так же печально ответили с реки. Ясно были слышны плеск и шелест воды, судно покачивалось, и стюарду, принесшему тарелки, пришлось удерживать равновесие, когда он задерживал занавес. И снова беседу прервала пауза.

— А что Дженкинсон из Кэтса, вы еще поддерживаете с ним отношения? — спросил Эмброуз.

— Так же, как и все. Собираемся раз в год. В нынешнем году он имел несчастье потерять жену, поэтому встреча была довольно тягостной.

— Да, понимаю, — согласился Ридли.

— У него есть незамужняя дочь, которая вроде ведет его хозяйство, но это, разумеется, совсем уже не то, особенно для человека его возраста.

Оба джентльмена глубокомысленно покивали, очищая яблоки.

— Ведь он, сдается, написал книгу? — спросил Ридли.

— Написал, но больше уже не напишет! — заявил мистер Пеппер с такой свирепостью, что привлек внимание обеих дам. — Не напишет больше ни одной, потому что и ту за него написал кто-то другой, — продолжал мистер Пеппер, подпуская все больше яда. — Иначе и быть не может, если все постоянно откладывать на потом, собирать окаменелости и приделывать норманнские арки к свинарникам.

— Признаюсь, я ему сочувствую, — проговорил Ридли с меланхолическим вздохом. — Я испытываю симпатию к людям, которые ничего не могут начать.

— Горы хлама, скопившегося за жизнь, прожитую зря, — не унимался мистер Пеппер. — У него столько хлама, что и хороший сарай не влезет.

— А некоторым из нас этот порок не знаком, — сказал Ридли. — Только что вышла еще

одна работа нашего общего друга Майлза.

Мистер Пеппер издал короткий едкий смешок.

— По моим подсчетам, он выпускает два с половиной тома ежегодно — что, если вычесть время, проведенное им в колыбели, и другие издержки, свидетельствует о похвальнейшей плодовитости.

— Да, вполне оправдалось то, что говорил о нем старый ректор.

— Они были в таких отношениях... — сказал мистер Пеппер. — Вы знаете о коллекции Брюса? Между нами, конечно.

— Еще бы, — со значением ответил Ридли. — Для богослова он был весьма фриволен.

— Водяная колонка в переулке Невилля?

— Именно.

Обе дамы, как и приличествует их полу, прекрасно умели поддерживать беседу мужчин, не прислушиваясь к ней, а тем временем, никак не подавая виду, думать о чем-либо своем — о воспитании детей, об использовании противотуманных сирен в опере или о чем угодно еще. Хелен лишь показалось, что Рэчел для хозяйки не слишком-то хлопотлива, а еще — что ей следовало бы унять свои руки.

— А может?.. — предложила наконец Хелен, и они обе поднялись и вышли, к легкому удивлению джентльменов, которые либо полагали, что дамы внимательно их слушают, либо вообще забыли о присутствии женщин. Уже в дверях Рэчел и миссис Эмброуз услышали, что Ридли сказал, откидываясь в кресле: «Да, много странного случалось во время оно», — а оглянувшись, увидели, как вдруг переменился мистер Пеппер, — теперь одежда на нем будто сидела свободнее, а сам он стал похож на подвижную и проказливую старую обезьянку.

Укутав головы газовыми платками, женщины вышли на палубу. Теперь судно ровно шло вниз по реке, мимо темных силуэтов стоящих на якоре кораблей, а Лондон превратился в огненный рой, над которым мерцал бледно-желтый ореол. Горели огни больших театров, огни длинных улиц, светились бесчисленные соты домашнего уюта и одинокие огни в вышине. Тьма никогда не поглотит их, сотни лет уже тьма не опускалась на это место. Жутко было сознавать, что город обречен сверкать до конца времен все так же и все там же, по крайней мере, это было жутко сознавать людям, пустившимся в морские странствия. В их глазах город был подобен отделенному от остальной земли кургану, на котором человек оставил вечные рубцы и зажег на нем вечное пламя. С палубы корабля им показалось еще, что город похож на трусливо припавшего к земле, сидящего на корточках скрягу.

Они стояли рядом, облокотившись на перила, и Хелен спросила:

— Ты не замерзнешь?

Рэчел ответила:

— Нет, — и, немного помолчав, добавила: — Как красиво!

Уже мало что было видно: мачты, темные очертания берега, ряд сверкающих иллюминаторов невдалеке. Судно пыталось идти против ветра.

— Как дует... как дует! — Рэчел хватала ртом воздух, и ветер будто швырял слова обратно ей в горло. Рядом с ней ветру сопротивлялась и Хелен, но вдруг, словно подхваченная демоном движения, она понеслась по палубе, придерживая руками волосы и путаясь ногами в юбках. Однако постепенно неистовый дух ослаб, и скоро от него остался лишь холодный резкий ветер. Через щель между шторами они увидели, что в столовой уже пошли в ход длинные сигары, что мистер Эмброуз резко откинулся в кресле, а мистер Пеппер собрал щеки в глубокие складки и его лицо стало похоже на вырезанное из дерева. Отзвук громкого смеха едва донесся до женщин, но тут же потонул в шуме ветра. Там, в тепле, в сухости, в ярком желтом свете, Пепперу и Эмброузу не было дела ни до грохота стихии, ни вообще до чего-либо нынешнего:

они пребывали сейчас в Кембридже, году этак в 1875.

— Они старые знакомые, — улыбнулась Хелен, глядя на них. — Так, ну а нам найдется комната, чтобы посидеть?

Рэчел открыла дверь.

— Это скорее веранда, а не комната, — сказала она.

И правда, здесь было мало от замкнутого постоянства человеческого жилища на твердой земле. Посередине к полу был привинчен стол, а стулья прибиты к стенам. От тропического солнца настенная обивка выгорела и приобрела бледный зеленовато-голубой оттенок, зеркало в рамке из раковин — его смастерили стюард долгими тягучими часами в южных морях, — хотя и грубо сработанное, привлекало глаз как затейливая диковина. Каминная доска была задрапирована плюшевой занавеской с кистями и украшена скрученными раковинами с красным нутром, похожими на рога единорогов. Два окна выходили на палубу; от лучей, бивших через них, когда корабль жарился под солнцем где-нибудь на Амазонке, гравюры на противоположной стене выщели до блеклой желтизны, и теперь Колизей едва можно было отличить от королевы Александры [5], играющей со спаниелями. Пара плетеных стульев приглашала погреть руки у каминной решетки с облупившейся позолотой; над столом висел большой фонарь — из тех, что издалека возвещают путнику в темных полях о близости жилья.

— Странно, все оказываются старыми знакомыми мистера Пеппера, — нервно проговорила Рэчел. Она чувствовала себя неуютно из-за холода и странной молчаливости Хелен.

— Ты, наверное, к нему привыкла? — спросила ее тетка.

— Он похож на это. — Рэчел направила свет фонаря на окаменелую рыбу в сухом аквариуме и взяла ее в руки.

— По-моему, ты слишком жестока, — заметила Хелен.

Рэчел тут же попыталась смягчить то, что вырвалось у нее против воли.

— Я не так хорошо его знаю, — сказала она и поспешила укрыться за фактами, поскольку ей казалось, что старшие всегда предпочитают их чувствам. Она поведала все, что знала об Уильяме Пеппере. Когда они жили дома, он навещал их каждое воскресенье; он разбирался во всем — в математике, истории, древнегреческом, зоологии, экономике и в исландских сагах. Он перелагал персидские стихи на английскую прозу и английскую прозу — на греческие ямбы; он также был специалистом по нумизматике и по чему-то еще, кажется по движению транспорта.

Он отправился с ними, то ли чтобы собирать какие-то морские диковинки, то ли чтобы написать о возможном пути Одиссеевых странствий — его главным увлечением были древние греки.

— У меня есть все его брошюры, — сообщила Рэчел. — Такие маленькие. Тонкие желтые книжечки.

Судя по всему, она их не читала.

— Он когда-нибудь любил? — спросила Хелен, садясь.

Этот вопрос неожиданно оказался к месту.

— У него вместо сердца — старый башмак, — заявила Рэчел, забыв сравнение с окаменелой рыбой. Однако ей тут же пришлось признать, что она никогда не спрашивала об этом мистера Пеппера.

— Я спрошу его, — сказала Хелен. — Когда я в последний раз тебя видела, вы покупали рояль, — продолжила она. — Помнишь, рояль, комната в мансарде и высокие растения с колючками?

— Да, и мои тетки говорили, что рояль провалится сквозь пол, но в их возрасте оказаться однажды ночью придавленным насмерть уже не страшно.

— Я не так давно получила письмо от тети Бесси. Она боится, что ты испортишь себе руки,

если и дальше будешь столько играть.

— Предплечья станут мускулистыми, и потом никто не женится, да?

— Она не так прямо выразилась, — ответила миссис Эмброуз.

— О, конечно, как можно, — вздохнула Рэчел.

Хелен посмотрела на нее. Черты ее лица были, пожалуй, слишком мягкими, однако выразительность ему придавали большие, немного удивленные глаза; красивой ее вряд ли можно было назвать, особенно когда она находилась в помещении, потому что ее внешности явно не хватало живого цвета и четкости линий. Нерешительность в разговоре и еще больше — неумение подбирать нужные слова наводили на мысль, что Рэчел не слишком развита для своих лет. Миссис Эмброуз до этого момента говорила с Рэчел, не особенно задумываясь, но сейчас ей пришло в голову, что не очень-то весело будет провести на борту корабля три или четыре недели, за которые ей волей-неволей придется сблизиться с племянницей. На Хелен и сверстницы нагоняли тоску, а уж юные девушки наверняка еще хуже. Она опять посмотрела на Рэчел. О да! Ей ясно представилось, какой та может быть вялой, бессмысленно-сентиментальной, и что ей ни скажешь — все будет, как камушек в воду: пойдут круги, а потом — ни следа. В этих девушках не за что зацепиться — в них нет ничего твердого, постоянного, надежного. Сколько же сказал Уиллоуби, три недели или все-таки четыре? Она попыталась припомнить.

В этот момент, однако, распахнулась дверь, и вошел высокий и дородный человек. Это был сам Уиллоуби, отец Рэчел и зять Хелен, он сразу подошел к ней и сердечно пожал руку. Он не был толстяком — слишком много жира понадобилось бы, чтобы сделать такого гиганта действительно толстым; лицо у него тоже было большое, но с мелкими чертами и здоровым румянцем на щеках, оно явно было гораздо более приспособлено к солнцу и ветру, чем к выражению чувств или к тому, чтобы отвечать на чувства других.

— Как приятно, что ты поехала, — сказал он. — Нам обоим так приятно!

Рэчел что-то согласно шепнула в ответ на отцовский взгляд.

— Мы уж постараемся, чтобы тебе было удобно. И Ридли. Мы считаем, что для нас честь — позаботиться о таком человеке. Будет, кому поспорить с Пеппером, — я-то на это никогда не отваживаюсь. Ну, как тебе это дитя — выросла, правда? Совсем взрослая, да?

Все еще держа Хелен за руку, он обнял Рэчел за плечи, заставив обеих оказаться в несколько неловкой близости, но Хелен продолжала смотреть в сторону.

— Как думаешь, она не подкачет? — спросил Уиллоуби.

— Конечно, нет, — сказала Хелен.

— Ведь мы ожидаем от нее великих дел. — Он сжал плечо дочери, а затем выпустил ее из объятий. — Ну, а теперь о тебе. — Они уселись рядом на диванчике. — Как твои дети, надеюсь, в добром здравии? Они уже, кажется, в школу пойдут, да? На кого похожи, на тебя или на Эмброуза? Готов поспорить, они у вас на редкость смышленые!

Тут Хелен заметно оживилась и рассказала, что ее сыну шесть лет, а дочери — десять. Все говорят, что мальчик похож на нее, а девочка — на Ридли. Что касается смышлености, то им палец в рот не клади, это точно; и она, немного смущаясь, позволила себе припомнить смешной случай со своим сыном, как он, на минуту оставленный без присмотра, схватил пальцами кусок масла и побежал с ним к камину, чтобы бросить масло в огонь, просто так, ради интереса, — и этот интерес был ей так понятен.

— Но ты дала сорванцу понять, что такие шутки никуда не годятся?

— Шестилетнему ребенку? Я не думаю, что это так серьезно.

— Ну, я старомодный отец.

— Вздор, Уиллоуби, вот Рэчел лучше меня поймет.

Уиллоуби явно ожидал от дочери поддержки, но не дождался; в ее глазах ничего нельзя было рассмотреть, как в темной воде, руки по-прежнему играли с окаменелой рыбой, на лице застыло отсутствующее выражение. Старшие стали обсуждать, что необходимо сделать для удобства Ридли: стол поставить так, чтобы обязательно было видно море, но подальше от котлов и чтобы мимо не ходили люди. Если он не отдохнет от работы сейчас, когда все его книги запакованы, то не отдохнет уже никогда; ведь там, в Санта-Марине, Хелен знала по опыту, он станет работать целые дни напролет; все его ящики, сказала она, битком набиты книгами.

— О, тут положись на меня — положись на меня! — воскликнул Уиллоуби, очевидно намереваясь сделать больше, чем она от него хотела. Тут, однако, в дверях показались Ридли и мистер Пеппер.

— Приветствуя, Винрэс, — сказал Ридли, протягивая вялую руку, с таким видом, будто их встреча должна была нагнать тоску на них обоих, но больше, конечно, на него самого.

Уиллоуби проявил ту же сердечность, что и к Хелен, но несколько сдерживаемую почтением. Некоторое время никто ничего не говорил.

— Мы видели, как вы хотели, — нарушила молчание Хелен. — Мистер Пеппер, должно быть, рассказал хороший анекдот.

— Вздор. Все его анекдоты были плохи, — проворчал ее муж.

— Ты все так же строг в суждениях, Ридли? — вступил мистер Винрэс.

— Мы так вам надоели, что вы ушли, — сказал Ридли, обращаясь к жене.

Поскольку это было правдой, Хелен не стала спорить, только спросила:

— Но когда мы ушли, анекдоты стали лучше?

И это оказалось излишним, потому что ее муж еще больше помрачнел и сказал:

— Они стали еще хуже, если это возможно.

Теперь все присутствующие почувствовали изрядную неловкость, последовала длинная напряженная пауза. Обстановку разрядил мистер Пеппер, который вдруг бросился на стул и поджал под себя ноги, будто старая дева, увидевшая мышь, — все из-за того, что по его щиколоткам прошелся сквозняк. Так, нахмурившись, обняв колени руками, мистер Пеппер стал похож на статую Будды; с этого возвышения, посасывая сигару, ни к кому отдельно не обращаясь, потому что никто не просил его об этом, он принял глубокомысленно рассуждать о неведомых глубинах океана. Он признался, что удивлен, как это у мистера Винрэса целых десять кораблей регулярно курсируют между Лондоном и Буэнос-Айресом, и ни один из них не отражен для изучения бледных глубоководных тварей.

— Ну уж нет! — засмеялся Уиллоуби. — С меня хватает и тварей земных.

— Бедные козочки! — вздохнула Рэчел.

— Без этих коз не было бы музыки, моя дорогая. Музыка тоже не может без коз, — довольно резко отозвался ее отец, а мистер Пеппер продолжил описание белых, скользких, слепых чудищ, свернувшихся кольцами на песчаных гребнях дна морского; вытащенные на поверхность, они лопаются — из-за разницы в давлении их тело разрывается на куски и внутренности высекают наружу; здесь он был особенно осведомлен и натуралистичен, так что Ридли, почувствовав отвращение, попросил его прекратить.

Из всего этого Хелен сделала свои выводы, которые оказались довольно мрачными. Пеппер — зануда; Рэчел — неотесанная девица, она, без сомнения, жаждет найти, кому бы излить свои секреты, и самым первым признанием, конечно, будет: «Знаете, мы с отцом совсем не понимаем друг друга». Уиллоуби, как всегда, интересуется только своим делом и занят построением собственной империи. Да, среди этих людей ее неизбежно ждут скука и тоска. Будучи, однако, женщиной деятельной, она поднялась и объявила, что не знает, как другие, а она идет спать. В дверях она невольно оглянулась на Рэчел, полагая, что, если в комнате две

женщины, им следует покидать ее вместе. Рэчел встала, без выражения поглядела на Хелен и проговорила, чуть заикаясь:

— Я выйду, п-потягаюсь с ветром.

Худшие подозрения миссис Эмброуз подтверждались; она пошла по коридору, пол под ногами ходил ходуном, приходилось отталкиваться руками то от одной стены, то от другой, и при каждом броске она с чувством восклицала: «О черт!»

Глава 2

В первую ночь болтало и сильно пахло солью, отчего, должно быть, всем вновь прибывшим пассажирам пришлось весьма неуютно, по крайней мере, мистеру Пепперу, — бедняге, ко всему прочему, достались слишком короткие простыни. Зато за завтраком все были вознаграждены открывшимся великолепием. Путешествие началось, и началось удачно — с ласкового голубого неба и спокойного моря. Дух нерастренных возможностей, невысказанности всего, что еще предстоит сказать друг другу, придавал особое значение этому часу, которым, наверное, и впредь станет вспоминаться все путешествие, да еще, пожалуй, с добавлением отголосков ночных сирен на реке.

Хлеб, яблоки и яйца, разложенные на столе, радовали глаз. Передавая Уиллоуби масло, Хелен посмотрела на него и подумала: «И все-таки она за тебя вышла, и была, вероятно, счастлива».

В ее голове потекла привычная цепь размышлений, происходивших всегда от одного и того же вопроса: «Почему все-таки Тереза вышла замуж за Уиллоуби?»

«В общем, все понятно, — продолжала рассуждать она, имея в виду очевидные качества: он большой и сильный, у него громоподобный голос, тяжелые кулаки и твердая воля. — Но...» — И тут она углубилась в анализ потаенных черт его личности, главную из которых она называла «сентиментальностью», подразумевая, что он никогда не бывал открытым и никогда честно не выражал своих чувств. К примеру, он очень редко говорил об умерших, но все годовщиныправлял с чрезвычайной торжественностью. Она подозревала его в тайных жестокостях по отношению к дочери, так же как с давних пор подозревала, что он тиранил свою жену. Затем Хелен, как обычно, стала сравнивать свою судьбу с судьбой своей подруги, ведь жена Уиллоуби была, пожалуй, единственной, кого она могла так назвать; подобные сравнения часто составляли тему их бесед. Ридли был ученым, а Уиллоуби — человеком дела. Когда Ридли выпускал третий том Пиндара, Уиллоуби снаряжал свой первый корабль. Они построили фабрику в тот же год, когда издательство Университета опубликовало — так, что же это было? — да — комментарии к Аристотелю. «И Рэчел», — Хелен поглядела на девушку, которая, по ее мнению, не шла ни в какое сравнение с ее собственными детьми, тем самым нарушая довольно строгое равновесие и решая этот старый спор. «Ей будто лет шесть, не больше», — подумала Хелен, однако это, скорее, относилось к мягким и нечетким очертаниям лица девушки, а не к каким-то ее способностям — если бы Рэчел могла думать, чувствовать, смеяться, выражать свои мысли и чувства вместо того, чтобы капать с высоты молоком в чашку, наблюдая за формой капель, ее, пожалуй, можно было бы назвать интересной, хотя красивой — вряд ли. На свою мать она походила, как отражение в пруду тихим летним днем походит на живое румяное лицо, склонившееся над водой.

Тем временем Хелен тоже кое-кто оценивал, но не Уиллоуби и не Рэчел. Это был мистер Пеппер; размышления, посетившие его, пока он разрезал поджаренный хлебец на кусочки и аккуратно обмазывал их маслом, расшевелили целый ворох воспоминаний. Одного буравящего взгляда мистеру Пепперу было достаточно, чтобы убедиться: вчера вечером он был прав, Хелен — красавица. Он с учтивым видом передал ей джем. Она говорила чепуху, но не большую, чем обычно говорят люди за завтраком, ведь излишняя мозговая деятельность в этот час, как он знал по собственному опыту, до добра не доводит. Ни с одним из ее высказываний он не соглашался — из принципа, поскольку никогда не уступал женщинам. Тут-то, опустив глаза в тарелку, он и предался воспоминаниям. Он не женился по той веской причине, что так и не встретил женщину, которая вызвала бы у него уважение. Судьба обрекла его провести самую

чувствительную пору юности на железнодорожной станции в Бомбее, где он встречал только цветных женщин, женщин-военных и женщин-чиновников, его же идеалом была та, что читала бы по-гречески, а желательно — еще и по-персидски, обладала бы безупречной красотой и прощала бы ему всякие мелочи, вроде разбросанных при переодевании деталей туалета. Кроме того, он приобрел некоторые привычки, которых ни в малой мере не стыдился. Каждый день он выкраивал несколько минут для заучивания наизусть; он никогда не брал билета, не посмотрев на его номер; январь он посвящал Петронию, февраль — Катуллу, а март, ну, например, — этрусским вазам; так или иначе, в Индии он хорошо потрудился, и сожалеть ему в жизни было не о чем, если не считать кое-каких природных недостатков, о которых не сожалеет ни один здравомыслящий человек, держащий в руках свою судьбу. Придя к такому заключению, он вдруг поднял глаза и улыбнулся. Рэчел поймала его взгляд.

«Ну что, сделал свои тридцать семь жевательных движений?» — подумала она, но вслух вежливо спросила:

— Как ваши ноги, мистер Пеппер, сегодня не беспокоят?

— Вы хотите сказать, мои лопатки? — переспросил он, болезненно поводя плечами. — Красота не имеет действия на мочевую кислоту, о которой мне не дано забыть. — Он вздохнул и поглядел на круглое окно напротив, за которым голубели небо и море. При этом он вытащил из кармана и положил на стол маленький томик в пергаментном переплете. Это действие явно было рассчитано на то, чтобы вызвать реакцию окружающих, и Хелен спросила, как называется книжка. Она получила ответ, но вместе с ним — пространный экскурс на тему, как следует строить дороги. Начав с греков, которым, по словам мистера Пеппера, приходилось преодолевать многочисленные трудности, он продолжил римлянами, а затем перешел к Англии и единственноциальному английскому методу, впрочем быстро превратившемуся в неправильный, и здесь мистер Пеппер обрушился на современных дорожных строителей вообще и в особенности — на тех, что работают в Ричмондском парке, где мистер Пеппер имеет обыкновение ежеутренне прогуливаться перед завтраком; обличия его были так свирепы, что даже ложечки зазвенели в кофейных чашках, а содержимое по меньшей мере четырех булочек образовало кучку около его тарелки.

— Галька! — заключил он, со злостью бросив на кучку очередной хлебный катышек. — В Англии дороги починяют галькой! Я им говорю: «После первого же дождя ваша дорога превратится в болото». Снова и снова мои слова подтверждаются. Но, вы думаете, они меня слушают, когда я это им говорю, когда я указываю на последствия, на последствия для общественного кошелька, когда я советую им почитать Корифея? [6] Ни секунды! У них другие интересы. Нет, миссис Эмброуз, вы не составите себе истинного представления о человеческой глупости, пока не побываете на заседании муниципального совета! — Человечек уставился на Хелен взглядом, полным неистовой энергии.

— У меня перебывало несколько слуг, — сказала миссис Эмброуз, придав лицу сосредоточенное выражение. — Сейчас у меня няня. Она хорошая женщина, не хуже других, но вот — далось ей заставлять моих детей молиться. До сих пор, благодаря моим усилиям, Бог для них был чем-то вроде экзотического зверя, но теперь — стоило мне потерять бдительность... Ридли, — она повернулась к мужу, — что делать, если, когда мы вернемся, они встретят нас чтением «Отче наш»?

Ридли издал неопределенный звук, что-то вроде: «Пфш!»

Но Уиллоуби, чье недовольство услышанным выразилось в каком-то переваливающемся движении его большого тела, проговорил с неловкостью:

— Ну, Хелен, уж верно, немного религии никому не повредит.

— Нет, по мне лучше, чтобы мои дети лгали! — ответила Хелен и, пока Уиллоуби отмечал

про себя, что его невестка еще эксцентричнее, чем она ему запомнилась, резко отодвинула стул назад и взбежала наверх. Через мгновение оставшиеся за столом услышали ее голос:

— Ах, смотрите! Мы в открытом море!

Все последовали за ней на палубу. Дома и дым города пропали бесследно, вокруг лежало широкое пространство моря, свежего и чистого, только слегка бледного в свете раннего утра. А Лондон они оставили сидеть в его грязи. Тонкая сужающаяся линия суши тенью маячила на горизонте, казалось — слишком хрупкая, чтобы выдержать грузное бремя Парижа, который тем не менее где-то там на ней покоился. Они освободились от дорог, от всего человечества, и каждый теперь чувствовал приятное возбуждение. Судно пролагало свой путь через мелкие волны, плескавшие и шипевшие у бортов, как игристое вино, и по обе стороны за кораблем тянулись тонкие шлейфы пузырьков и пены. Выцветшее октябрьское небо было слегка подернуто облаками, похожими на остатки развеявшегося древесного дыма, кристальный воздух пах солью. Стоять без движения было холодно. Миссис Эмброуз взяла мужа под руку, и они двинулись прочь, и по тому, как ее щека приблизилась к его щеке, стало ясно, что Хелен хочет что-то сказать Ридли наедине. Рэчел увидела, как, отойдя немножко, они поцеловались.

Она стала смотреть вниз, в глубину моря. «Евфросина», проходя, слегка тревожила его поверхность, но там, ниже, был покойный зеленый сумрак, и чем глубже, тем сумрачнее, до самого еле различимого песка на дне. Едва можно было разглядеть черные ребра затонувших кораблей, спиральные башни, которые оставляют гигантские угри, вбуравливаясь в песок, и гладкие, поблескивающие зелеными боками, неведомые создания.

— Так, Рэчел, а если я кому понадоблюсь, то я занят до часу дня, — сказал ее отец, по своему обыкновению при разговоре с дочерью подтверждая слова легким похлопыванием по ее плечу. — До часу, — повторил он. — Ты ведь найдешь себе занятие, правда? Гаммы, французский, немного немецкого, так? Тут у нас мистер Пеппер — во всей Европе нет большего знатока отделяемых приставок, ведь так? — И он, смеясь, ушел. Рэчел тоже засмеялась, как смеялась, сколько себя помнила, не от чего-либо смешного, а просто потому, что восхищалась своим отцом.

Рэчел уже собралась пойти искать себе занятие, но тут путь ей преградила женщина столь толстая и необъятная, что если уж такая встанет на пути, то не перегородить его просто не сможет. Ее осторожность и робкая манера двигаться, а также строгое черное платье говорили о подчиненном положении. Тем не менее она приняла монументальную позу, огляделась и, убедившись, что больше никого из господ рядом нет, произнесла настоящую речь: она касалась состояния простыней и прозвучала весьма серьезно и даже торжественно.

— Как мы переживем это плавание, мисс Рэчел, я прямо даже и не знаю, — начала она, качая головой. — Белья и так едва хватает, а у господина простыня до того прорвалась, что в дырки палец можно просунуть. Да и покрывала... Вы покрывала эти видели? Я тут подумала, даже бедняк постыдился бы таких. Тем, что я дала мистеру Пепперу, и собаку-то едва прикроешь... Нет, мисс Рэчел, починить их уже нельзя! Их теперь только если на тряпки. Уж и так себе все пальцы исколола, а в следующую стирку мне ни за что не справиться.

Ее голос дрожал от обиды, будто она вот-вот заплачет.

Ничего не оставалось, как сойти вниз и заняться пересмотром белья, сваленного горой на столе. Миссис Чейли обращалась с простынями так, будто каждая из них была ее старой знакомой. На некоторых виднелись желтые пятна, попадались и ветхие места, но для стороннего глаза простыни выглядели, как обычно они и выглядят — очень свежими, белыми, прохладными и безупречно чистыми.

Внезапно миссис Чейли, скав кулаки на вершине бельевой горы, но будто совершенно позабыв о простынях, заявила:

— И вообще, невозможно требовать от живого создания жить там, где поселили меня!

Миссис Чейли отвели каюту достаточного размера, но слишком близко от машинного отделения, так что через пять минут пребывания там несчастная почувствовала, что сердце ее «выскакивает»; тут она положила руку на это самое сердце и добавила, что такого миссис Винрэс, мать Рэчел, никогда бы не допустила, — миссис Винрэс знала каждую простыню в своем доме и требовала от людей лучшего, на что они способны, но не больше.

Для Рэчел не было ничего легче, чем предоставить ей другую каюту, и тут же трагедия простыней чудесно разрешилась бы сама собой, а их пятна и дыры оказались не такими уж безнадежными, но...

— Ложь! Ложь! Ложь! — с негодованием воскликнула хозяйка, взбегая на палубу. — Только зачем лгать мне?

Ее гнев вызвало не само это происшествие, а то, что пятидесятилетняя женщина ведет себя, как ребенок, и заискивает перед девушкой только для того, чтобы переселиться, куда она хочет, не имея на то разрешения; впрочем, разложив перед собой ноты, Рэчел очень скоро позабыла и о пожилой служанке, и о ее простынях.

Миссис Чейли сложила простыни, однако на лице ее были написаны тоска и уныние. В этом мире теперь никому до нее нет дела, на корабле — не дома. Вчера, когда зажглись фонари и матросы стали топать у нее над головой, она заплакала; и сегодня вечером она опять будет плакать, и завтра тоже. Ведь она так далеко от дома. А пока она начала расставлять свои безделушки в каюте, доставшейся ей так легко. Это были вещицы довольно странные для морского путешествия: китайские мопсики, миниатюрные чайные сервизы, чашки с красочным гербом города Бристоль, коробочки для булавок с инкрустациями в виде трилистника, головки антилоп из раскрашенного гипса, а также множество маленьких фотографий, запечатлевших простых рабочих в выходных костюмах и женщин, держащих младенцев в белоснежных кружевах. Был там еще один портрет в позолоченной раме, для которого требовался гвоздь, и, перед тем как начать поиски гвоздя, миссис Чейли надела очки и прочла то, что было написано на приклеенной сзади бумажной табличке.

«Этот портрет ее хозяйки подарен Эмме Чейли Уиллоуби Винрэсом в знак благодарности за тридцать лет преданной службы».

Слезы застлали ее глаза, смазав буквы и шляпку гвоздя.

— Сколько смогу быть полезной вашей семье, сколько смогу! — проговорила миссис Чейли, ударяя по гвоздю, и тут из коридора донесся мелодичный голос:

— Миссис Чейли! Миссис Чейли!

Чейли мгновенно одернула платье, привела в порядок лицо и открыла дверь.

— Я в затруднении, — сказала миссис Эмброуз; она раскраснелась и запыхалась. — Вы знаете этих мужчин! Стулья слишком высоки, столы слишком низки, от двери до пола целых шесть дюймов. Что мне нужно: молоток, старое стеганое одеяло и — не найдется ли у вас обычного кухонного стола? Только никому ничего не говорите... — Тут она распахнула дверь в каюту, предназначенную для кабинета ее мужа, где, наморщив лоб и подняв воротник, взад-вперед ходил Ридли.

— Они будто специально задались целью издеваться надо мной! — выкрикнул он, внезапно остановившись. — Можно подумать, я пустился в это плавание лишь для того, чтобы подцепить ревматизм или воспаление легких! Да, следовало больше думать, слушая Винрэса. Дорогая, — Хелен в этот момент ползала на коленях под столом, — ты только перепачкаешься, нам лучше просто признать, что мы обречены на шесть недель невыразимых мучений. Поехать вообще было верхом глупости, но, раз уж мы здесь, полагаю, я смогу встретить это как мужчина. Конечно, недуги мои усугубятся, я уже чувствую себя хуже, чем вчера, но винить нам некого,

кроме самих себя, а дети благополучно...

— С дороги! С дороги! — закричала на мужа Хелен, преследуя его из угла в угол со стулом наперевес, будто ловя курицу. — Не мешайся под ногами, Ридли, и через полчаса, увидишь, все будет готово.

Она выставила его из каюты, и его стоны и проклятия теперь доносились из коридора.

— Осмелюсь предположить, он, видно, не очень-то крепок здоровьем, — проговорила миссис Чейли, сочувственно глядя на миссис Эмброуз и помогая ей передвигать и переносить мебель.

— Всё книги, — вздохнула Хелен, поднимая с пола и расставляя на полке охапку угрюмых фолиантов. — Греческий с утра до ночи. Молитесь, Чейли, чтобы мисс Рэчел достался неграмотный муж.

Неудобства и суровости быта, которые обычно весьма досаждают в начале морского путешествия и делают его таким безрадостным, скоро были преодолены, и дальше дни потекли вполне приятной чередой. Октябрь был в самом разгаре, но он выдался таким ровно теплым, что по сравнению с ним даже первые месяцы лета казались ненадежными и капризными, как ветреная юность. Великие пути земли лежали под осенним солнцем, и вся Англия, от вересковых пустошей до корнуэльских скал, с рассвета до заката купалась в его теплых лучах, подставляя им свои равнины — желтые, зеленые и пурпурные. Даже большие города радостно сверкали своими крышами. В тысячах маленьких садиков цвели миллионы темно-красных цветов, покуда старушки, так нежно за ними ухаживавшие, не подбирались к ним с ножницами, и не срезали их сочные стебли, и не укладывали их на холодные каменные плиты в деревенских церквях. Бесчисленные компании возвращались на закате с пикников, восклицая: «Есть ли на свете что прекраснее этого дня?!» «Это ты!» — шептали юноши. «Ах нет, это ты», — отвечали им девушки. Всех старииков и многих больных вытаскивали на воздух, быть может всего на шаг или два от крыльца, и они предсказывали этому миру доброе будущее. И уже вовсе было не счастье признаний и излияний любви, что слышались не только в полях среди ржи, но и в освещенных желтым светом комнатах, где перед окнами, широко открытыми в сад, мужчины с сигарами целовали женщин с проседью в волосах. Одни говорили, что это ясное небо похоже на жизнь, которую они прожили, а другие — что оно предвещает им ясную жизнь впереди. Длиннохвостые птицы кричали и тараторили и перелетали с дерева на дерево, сверкая золотыми глазками в оперении.

И в это время на суще мало кто вспоминал о море. Само собой разумелось, что море спокойно; когда за окном бушует непогода и плющ хлещет листьями в окно спальни, во многих домах любящие перед поцелуем шепчут друг другу: «Вспомни о кораблях в夜里», — или: «Хвала небу, я не служу на маяке!» — но теперь в этом не было нужды. В их воображении корабли, уходящие за горизонт, исчезали, таяли, как снег на воде. Представления взрослых на этот счет на самом деле были не намного яснее, чем представления маленьких созданий в купальных костюмчиках, шлепавших по морской пене вдоль всего побережья Англии и зачерпывавших полные ведерки соленой воды. Они видели белые паруса и клочья дыма, проплыvавшие над горизонтом, но скажи им, что это смерчи или лепестки белых морских цветов, — и они поверили бы.

Однако люди на кораблях не менее странно представляли себе Англию. Она казалась им не просто островом, маленьким островом, но островом стремительно уменьшающимся, где люди были пленниками, бесцельно снующими муравьями, теснящими и едва не выталкивающими друг друга за край, производящими пустой, неразличимый гомон, который то походил на перебранку, то вовсе замолкал. В конце концов, когда земля скрылась из виду, стало ясно, что население Англии совершенно онемело. А затем тот же недуг начал поражать и другие части

суши: Европа уменьшилась, съежились Азия, Африка и Америка, пока вообще не стало казаться маловероятным, что корабль когда-нибудь набредет на какой-либо из этих сморщеных кусочков земной тверди. Но зато само судно теперь преисполнилось особым достоинством, оно превратилось в самостоятельного обитателя великого мира, в котором были лишь единицы ему подобных, день за днем во всех направлениях бороздивших пустынную Вселенную. И все, что впереди, и все, что позади, скрывала непроницаемая завеса. Судно было теперь гораздо более одиноко, чем караван в песках, и тайна его была гораздо значительнее, ведь оно двигалось лишь благодаря собственной внутренней силе и собственным запасам. Море могло покарать его смертью или одарить несравненным счастьем, но ни о том, ни о другом никто не узнал бы. «Евфросина» была невестой, спешившей к суженому, девой, не знавшей мужа, в своей мощной силе и незапятнанной чистоте она могла быть уподоблена всему самому прекрасному на свете, ибо жила своей и только своей чудесной жизнью.

Конечно, если бы небеса не благословили путешественников такой прекрасной погодой и чередой ласковых, безупречных дней, когда ничто в обозримом пространстве не смущало гладкий круг океана, миссис Эмброуз затосковала бы очень скоро. А так она поставила на палубе свои пяльцы и рядом с ними — маленький столик, на котором лежал раскрытый философский том в черном переплете. Она выбирала нить из многоцветного клубка, который держала на коленях, и вплетала красный проблеск в кору дерева или желтый — в речной поток. Миссис Эмброуз вышивала большую картину — тропический лес, река, скоро там должны были появиться пятнистые олени, пасущиеся среди изобилия бананов, апельсинов и гигантских гранатов, и голые туземцы, швыряющие дротики. Между стежками она через плечо заглядывала в книгу и читала фразу-другую о Реальности Материи или о Естестве Добра. Вокруг нее люди в синих робах ползали на коленях и драли палубу или насиживали, перегнувшись через поручни, а невдалеке сидел мистер Пеппер и резал перочинным ножиком сущеные коренья. Остальные, кто — где, занимались каждый своим делом: Ридли — греческим, и уже он не мог представить себе лучшего места для занятий; Уиллоуби — бумагами, он всегда в плаваниях избавлялся от недоделок; а Рэчел... Хелен между философскими сентенциями не раз спрашивала себя, а что же все-таки делает Рэчел? Ей даже — правда, не очень сильно — хотелось пойти и посмотреть. С первого вечера они едва сказали друг другу несколько слов; встречаясь, бывали вежливы, но не было и намека на какое-то сближение между ними. Рэчел, судя по всему, была в очень хороших отношениях с отцом — даже, на взгляд Хелен, слишком хороших — и не выказывала никаких попыток нарушить покой Хелен, как и Хелен — ее.

А Рэчел в это время сидела в своей комнате, не делая совершенно ничего. Когда судно заполнялось пассажирами, этому помещению давали какое-нибудь величественное название, и оно становилось прибежищем для страдавших морской болезнью пожилых дам, а палуба предоставлялась молодому поколению. Поскольку в комнате стоял рояль и на полу горой лежали книги, Рэчел считала ее своей и просиживала здесь часами — разыгрывала труднейшие музыкальные пассажи, немного читала по-немецки или, не больше, по-английски, смотря по настроению, а порой — как сейчас — просто бездельничала.

Кроме некоторой природной тяги к праздности, тому причиной было, конечно, и полученное ею образование, обычное для девушек конца девятнадцатого века. Кроткие пожилые учителя, невзыскательные доктора различных наук преподали ей начатки примерно десяти отраслей знаний, но заставить ее упорно заниматься было для них так же трудно, как упрекнуть ее в том, что у нее грязные руки. Час или два учения в неделю проходили с приятностью, отчасти благодаря другим ученицам, отчасти потому, что окна класса выходили на зады магазина — зимой так интересно было наблюдать за прохожими, сновавшими на фоне его красных окон, — а еще из-за смешных случаев, которые всегда происходят, если больше двух

человек собираются вместе. Но ни одного предмета она не знала сколько-нибудь глубоко. Ее ум походил на ум интеллектуала в начале правления королевы Елизаветы: она верила практически во все, что ей говорили, и могла выдумать объяснение всему, что говорила сама. Форма Земли, мировая история, отчего двигаются поезда, как следует обращаться с капиталом, каким законам подчиняется общество, что вообще людям нужно от жизни и зачем, самые простые представления о современном порядке вещей — ничему из этого не научили ее ни преподаватели, ни классные дамы. Впрочем, в этой системе образования было одно неоспоримое преимущество: она ничему не учila, но и не препятствовала развитию ни одного из дарований, которые ученику посчастливилось иметь от природы. Рэчел была музыкальна, поэтому ей было позволено не заниматься всерьез ничем, кроме музыки, и она погрузилась в нее с головой. Все силы, которые могли бы быть отданы языкам, науке, литературе, приобретению друзей, познанию мира, тратились только на музыку. Поняв ограниченность учителей, она практически училась сама. В двадцать четыре года она понимала в музыке столько, сколько обычно люди начинают понимать к тридцати, и могла играть в полную силу своего дара, и с каждым днем становилось яснее, что природа была к ней поистине щедра. Пусть этот один столь явный талант и сопровождался мыслями и грезами нелепыми, неразумными, какая мудрость могла бы его заменить?

Жизнь Рэчел, подобно ее образованию, также ничем особенным не выделялась. Она была единственным ребенком в семье, и ей не пришлось переносить насмешки и притеснения братьев и сестер. Мать умерла, когда Рэчел было одиннадцать лет, и ее растили две тетки, сестры отца, жившие — ради свежего воздуха — в Ричмонде [7], в просторном и удобном доме. Ее, конечно, воспитывали с преувеличенным вниманием и заботой, что шло ей на пользу, пока она была ребенком, но сильно задержало развитие ее самосознания в пору взросления. Очень долго она и понятия не имела о таких вещах, как женская нравственность. Кое-что об этом она искала и находила в старых книгах, но всегда в невероятно неуклюжем виде, впрочем, книги ее мало интересовали, и поэтому она никогда не задумывалась о той цензуре, что проводили сначала тетки, а потом и отец. Кое-что можно было бы узнать от подруг, но их у нее почти не было — до Ричмонда слишком долго добираться, — а единственная более или менее близкая ей девушка была сверх всякой меры религиозна и в минуты откровенности могла говорить только о Боге да о том, как всякому следует нести свой крест, а эти темы мало волновали Рэчел, чей ум был занят совсем иным.

Полулежа в кресле, одну руку положив под голову, а другую сжимая шарик на подлокотнике, Рэчел напряженно размышляла. Вообще, ее ненавязчивое учение оставляло ей довольно много времени для размышлений. Взгляд ее был прикован к шару на корабельных поручнях, и, если бы что-то его случайно загородило на мгновение, это испугало и встревожило бы девушку. Размышления начались с того, что она рассмеялась, прочитав строфу из перевода «Тристана»:

Робко съежась, весь дрожит,
Тщетно скрыть пытаясь стыд.
К августейшему дяде подходит
И невесту обмершую подводит.
Разве рассказ мой на бессмыслицу походит? [8]

— Вот именно, походит! — воскликнула Рэчел и отшвырнула книжку. Затем она открыла «Письма» Каупера [9], предписанные ей отцом для чтения «из классики», но они нагоняли на

нее тоску, и, прочитав одно предложение, где говорилось об аромате ракитника в саду автора, она представила засыпанную цветами небольшую переднюю в Ричмонде в день похорон ее матери; цветы пахли так сильно, что с тех пор аромат любых цветов неизбежно вызывал у нее только это жуткое воспоминание. Затем, уже почти не видя и не слыша окружавшего ее настоящего, она пустилась один за другим перебирать образы прошлого. Тетя Люси расставляет цветы в гостиной.

— Тетя Люси, — набирается смелости Рэчел, — я не люблю запах ракитника. Сразу вспоминаю похороны.

— Ерунда, Рэчел, — отвечает тетя Люси. — Не говори глупостей, милая. По-моему, ракитник — растение особенно жизнерадостное.

Сидя под жаркими солнечными лучами, Рэчел сосредоточилась на характерах своих теток, на их взглядах, образе жизни. Этот мысленный путь она продельвала уже сотни раз, прогуливаясь по утрам в Ричмондском парке и за размышлениями не замечая ни деревьев, ни людей, ни оленей. Почему они живут так, а не иначе, и что они чувствуют, и какой во всем этом смысл? Опять она слышит голос тети Люси, которая обращается к тете Элинор. В это утро тете Люси вздумалось обсудить поведение служанки:

— И конечно, в пол-одиннадцатого утра горничная должна подметать лестницу, а как же иначе?

Как странно! Как невыразимо странно! Но и сама себе она не может объяснить, почему, как только тетя Люси заговорила, вся картина их жизни вдруг показалась Рэчел чужой и непонятной, а сами тетки — вроде случайных вещей, стульев или зонтиков, разбросанных где попало, без всякого смысла. Однако вслух она только спрашивает, как всегда чуть заикаясь:

— Тетя Люси, в-вы любите тетю Элинор?

На что та отвечает со своим нервным квохчующим смешком:

— Милое дитя, что за вопросы ты задаешь?

— А как любите? Очень? — настаивает Рэчел.

— Пожалуй, я никогда и не задумывалась, очень или не очень, — говорит мисс Винрэс. — Кто любит, об этом не думает, Рэчел.

Это уже камешек в огород племянницы, от которой тетки никогда не получали столько тепла, сколько им хотелось бы.

— Ноты знаешь, как я тебя люблю, милая, правда? Ты дочь своей матери, хотя бы поэтому, но не только поэтому, не только. — Она притягивает к себе Рэчел и целует ее, слегка расчувствовавшись, и суть их разговора сразу теряется, безвозвратно растекается в пространстве, словно пролитое на пол молоко.

Так Рэчел дошла до той стадии размышлений, если это еще можно назвать размышлениями, когда глаза уже не могут оторваться от шара на поручнях, а губы перестают шевелиться. Ее попытки понять своих теток только обижали их, из чего следовало, что лучше даже и не пытаться. Пусть эти странные мужчины и женщины — тетки, семейство Хантов, Ридли, Хелен, мистер Пеппер и все остальные — будут символами, безликими, но преисполненными достоинства и значительности, символами старости или юности, материнства или учености, пусть они будут даже красивы — красотою актеров на сцене. Получалось, что, произнося слова, люди не выражают ни своих мыслей, ни чувств, — но для этого как раз и существует музыка. Можно видеть и чувствовать реальность, но не говорить о ней, пусть жизнь течет сама по себе, как нравится другим, об этом можно вовсе не думать, просто отдавать себе отчет в том, что внешние формы жизни людей отчего-то странны и нелепы. Поглощенная музыкой, она принимала свой удел вполне благосклонно, срываясь на раздражение не чаще раза-двух в месяц, всегда уступая, как она уступила сейчас. Мысли ее

стали путаться, уже не в силах вырваться из паутины сна, а сознание будто стало шириться, шириться, чудесным образом сливаясь с духом всего, что ее окружало: белесых досок на палубе, духом моря, бетховенского опуса 112 и даже духом бедного Уильяма Каупера в далеком Олни. И вот оно уже клочком пуха летит над морем, то прикасаясь к воде, то поднимаясь в воздух, пока совсем не скрывается из виду. При его взлетах и падениях Рэчел начала клевать носом, а когда он исчез, она заснула.

Десять минут спустя миссис Эмброуз открыла дверь и посмотрела на Рэчел. Хелен не удивило, каким образом та проводит свои утренние часы. Она оглядела комнату: рояль, книги, беспорядок. Сначала Хелен оценила вид Рэчел с эстетической точки зрения: в своей беззащитности она походила на жертву, выпавшую из когтей хищной птицы; однако, если посмотреть на нее просто как на девушку двадцати четырех лет, — картина наводила на размышления. Миссис Эмброуз задумалась иостояла так не меньше двух минут. Затем она улыбнулась и бесшумно вышла; ей вовсе не хотелось разбудить спящую и оказаться перед неловкой необходимостью с ней разговаривать.

Глава 3

Назавтра рано утром сверху донеслось громыхание, будто там протаскивали тяжелые цепи; мерное биение сердца «Евфросины» стало замедляться и умолкло, и Хелен, высунув нос на палубу, увидела замок, твердо стоящий на твердом, неподвижном холме. Они бросили якорь в устье Тежу, и, вместо того чтобы рассекать все новые и новые волны, борта судна теперь терпели набеги одних и тех же отступавших и возвращавшихся прибрежных волн.

Сразу после завтрака Уиллоуби, с коричневым кожаным чемоданчиком в руках, покинул корабль, прокричав через плечо, что все предоставлены самим себе и могут делать, что кому вздумается, поскольку дела продержат его в Лиссабоне до пяти вечера.

Он вернулся действительно около пяти, все с тем же чемоданчиком, жалуясь на усталость, раздражение, голод, жажду, холод, и потребовал немедленно подавать чай. Растирая руки, он стал всем рассказывать о приключениях минувшего дня: как он заявил к бедному старому Джексону, когда тот причесывал усы перед конторским зеркалом и совсем не ожидал его прихода, как заставил Джексона с утра повкалывать, что для того не очень-то привычно, а потом пригласил его пообедать, с шампанским и дичью; как затем нанес визит миссис Джексон, которая, бедняжка, еще растолстела и так любезноправлялась о Рэчел, а Джексону, Бог ты мой, пришлось признаться, что он дал-таки слабину, — да нет, ничего, вреда особенного в том нет, но какой смысл делать распоряжения, если они тут же нарушаются? Ведь Уиллоуби ясно дал ему понять, что в этот рейс пассажиров не возьмет. Тут он стал шарить по карманам и, наконец выудив карточку, положил ее на стол перед Рэчел. Она прочитала: «Мистер и миссис Дэллоуэй, Мэйфэр, Браун-стрит, 23».

— Мистер Ричард Дэллоуэй, — продолжал Винрэс, — судя по всему, полагает, что, раз он когда-то был членом парламента, да еще женат на дочери пэра, то ему все подавай по первому требованию. Во всяком случае, они смогли уломать бедного старого Джексона. Заявили, что у них есть право требовать содействия, показали письмо от лорда Гленауэя, который просит меня взять их на борт как о личной услуге; в общем, все это пересилило возражения Джексона (хотя вряд ли их было так уж много), и теперь, похоже, нам ничего не остается, кроме как уступить.

Между тем было очевидно, что Уиллоуби отчего-то по душе эта уступка, хотя он и ворчит для вида.

А дело было в том, что мистер и миссис Дэллоуэй оказались в Лиссабоне в довольно затруднительном положении. Они уже несколько недель путешествовали по континенту, главным образом — с целью расширить кругозор мистера Дэллоуэя. В этом году из-за политических превратностей мистер Дэллоуэй не мог послужить родине в парламенте, поэтому он изо всех сил старался сделать это вне парламента. Латинские страны для этого вполне подходили, хотя, конечно, Восток был бы куда предпочтительнее.

— Теперь ждите вестей обо мне из Петербурга или Тегерана, — сказал он, обернувшись на прощанье на ступенях клуба «Тревеллерз». Однако на Востоке разразилась какая-то эпидемия, в России свирепствовала холера, и вести о нем, что, конечно, было уже не столь романтично, пришли из Лиссабона. Но сначала чета пересекла Францию, где останавливалась в промышленных городах, мистер Дэллоуэй представлял рекомендательные письма, и ему показывали фабрики и заводы, а он делал записи в своем блокноте. В Испании они с миссис Дэллоуэй оседлали мулов, потому что хотели понять жизнь крестьян. Например, созрели они для бунта или нет? После этого миссис Дэллоуэй настояла на том, чтобы провести день-два в Мадриде и посмотреть картины. В конце концов, они добрались до Лиссабона, где прожили шесть дней, о которых впоследствии, в изданных для своего круга путевых заметках, отзывались

как о днях «исключительно интересных». Ричарда принимали министры, и он предрекал скорый кризис, поскольку «столпы правительства погрязли в коррупции; но как можно винить...» и так далее; Кларисса же тем временем посетила королевские конюшни и сделала несколько снимков, на которых запечатлела людей, теперь изгнанных, и окна, теперь выбитые. Еще она сфотографировала могилу Филдинга и там же освободила пташку, пойманную в силки каким-то негодяем, потому что, как гласили путевые записи, «омерзительна даже мысль о том, что там, где похоронены англичане, бьется в неволе живое существо». Путь их следования весьма отличался от общепринятых маршрутов и не был должным образом продуман заранее. В значительной степени его определяли иностранные корреспонденты «Таймс». Мистер Дэллоуэй желал взглянуть на кое-какие пушки — он придерживался мнения, что берег Африки значительно менее колонизирован, чем принято считать на родине. Поэтому им нужно было неторопливое судно «для любопытных», комфортабельное, поскольку мореплаватели они были никудышные, но не роскошное, которое останавливалось бы на день-два то в одном порту, то в другом для заправки углем, давая Дэллоуэям возможность осмотреть, что им захочется. Но в Лиссабоне они застряли: все никак не находилось подходящего для них корабля, да такого, чтобы на него еще можно было проникнуть. Они прослышили о «Евфросине», но им сказали, что она была судном по преимуществу грузовым, возившим мануфактуру на Амазонку и обратно — каучук, а также, что пассажиров на ее борт брали только по особой договоренности. Однако слова «по особой договоренности» весьма вдохновили супругов, ведь они принадлежали к тому кругу, в котором почти все делалось или при необходимости могло быть сделано именно по особой договоренности. Ричард лишь написал краткое письмо лорду Гленаузю, главе рода Гленаузев, да навестил бедного старого Джексона, которому поведал, что миссис Дэллоуэй — урожденная такая-то, что сам он тоже в свое время был тем-то и тем-то и что сейчас они нуждаются в том-то и том-то. Дело было сделано. Они расстались, обмениваясь любезностями и при полном взаимном расположении. И вот, неделю спустя, из сумерек показалась державшая курс на судно шлюпка с Дэллоуэями на борту, а через три минуты оба стояли на палубе «Евфросины». Разумеется, их прибытие вызвало некоторую суматоху, и уже несколько пар глаз заметили, что миссис Дэллоуэй — женщина высокая и тонкая, укутанная в меха и вуали, а мистер Дэллоуэй — джентльмен среднего роста и крепкого телосложения, одетый, как охотник в осенний сезон. Вскоре их окружило множество туго набитых кожаных чемоданов благородного темно-коричневого цвета; кроме того, мистер Дэллоуэй держал в руках портфель, а его жена — несессер, в котором, судя по всему, она хранила бриллиантовые ожерелья и уйму пузырьков с серебряными крышечками.

— Ах, прямо как у Уистлера! — воскликнула миссис Дэллоуэй, кивнув в сторону берега, одновременно здороваясь за руку с Рэчел; Рэчел только успела глянуть на серые холмы сбоку, как Уиллоуби уже представил гостью миссис Чейли, которая увела леди в ее каюту.

Хотя вторжение Дэллоуэев будто бы прошло незаметно, оно всех вывело из равновесия, от стюарда мистера Грайса до самого Ридли. Через несколько минут Рэчел проходила мимо курительной комнаты, в которой увидела Хелен, двигавшую кресла. Та была поглощена перестановкой и, заметив Рэчел, доверительно сообщила:

— Главное — чтобы мужчинам было где посидеть. Кресла, вот что важно. — И она опять стала перекатывать их на колесиках с места на место. — Ну что, все еще похоже на вокзальный буфет?

Она сдернула со стола плюшевую скатерть. Комната на удивление преобразилась в лучшую сторону.

Прибытие чужаков окончательно убедило Рэчел в том, что надо переодеться к ужину, час которого приближался. Звон большого корабельного колокола застал ее сидящей на краю своей

койки. Маленькое зеркало над умывальником отражало ее голову и плечи. Лицо, смотревшее из зеркала, было преисполнено болезненным унынием — после прибытия Дэллоуэев Рэчел пришла к неутешительному выводу, что ее лицо совсем не такое, какого ей хотелось бы, и, скорее всего, никогда таким не станет.

Так или иначе, ей с детства внушали, что опаздывать нельзя, поэтому следовало выйти к ужину с тем лицом, какое было.

За эти несколько минут Уиллоуби, загибая пальцы на руке, вкратце описал Дэллоуэям всех, с кем им предстояло познакомиться.

— Здесь мой зять, Эмброуз, ученый (полагаю, вы о нем слышали), его жена, мой старый друг Пеппер, тихий малый, но, говорят, знает все на свете. Вот и все. Компания очень небольшая. Я их оставлю на побережье.

Миссис Дэллоуэй, чуть склонив голову набок, постаралась вспомнить, кто такой Эмброуз — это ведь фамилия? — но не смогла. После того что она услышала, она почувствовала себя самую малость не в своей тарелке. Она знала, что ученые женятся на ком попало — на девушках из деревень, где они читают популярные лекции, или на маленьких женщинах с окраин, которые всегда недовольно бурчат: «Знаю, я вам не нужна, вам муж мой нужен».

Но тут вошла Хелен, и миссис Дэллоуэй с облегчением отметила, что, хотя в облике миссис Эмброуз просматривается некоторая эксцентричность, она опрятна, хорошо держится, а в голосе ее звучит та особая струна, которую Кларисса считала признаком настоящей леди. Мистер Пеппер не побеспокоился сменить свой чистый, но гадкий нарядец.

«В конце концов, — думала Кларисса, входя вслед за Винрэсом в столовую, — любой человек безусловно интересен».

За столом ей эта уверенность пригодилась, особенно когда появился Ридли, который опоздал, выглядел откровенно неряшливо и тут же угрюмо уткнулся в тарелку с супом.

Муж и жена обменялись незаметными для посторонних сигналами, означавшими, что они владеют положением и намерены стойко держаться друг друга. Почти не допустив паузы, миссис Дэллоуэй повернулась к Уиллоуби и начала:

— Что на меня в море навевает тоску, так это отсутствие цветов. А представляете: поля роз и фиалок посреди океана! Это было бы божественно!

— Да, но чревато опасностями для мореплавания, — вступил басом Ричард, будто фагот после изящной скрипичной трели. — Ведь водоросли порой доставляют большие неприятности, правда, Винрэс? Помню, как-то мы пересекали Атлантику на «Мавритании», и я спросил капитана Ричардса, вы знали его? — «Скажите, капитан Ричардс, каких опасностей для своего корабля вы страшитесь больше всего?» — ожидая услышать об айсбергах, «Летучем Голландце», о тумане и всяких таких штуках. Ничего подобного. Я навсегда запомнил его ответ. «*Sedgus aquatici*», — вот что он сказал; это, кажется, что-то вроде ряски.

Мистер Пеппер стрельнул своим быстрым взглядом и уже собирался задать какой-то вопрос, но беседу продолжил Уиллоуби:

— Да, нелегко им приходится, этим капитанам! Три тысячи душ на борту!

— Да-да, правда. — Кларисса со значительным видом повернулась к Хелен. — Не правы те, кто считает, что больше всего изнуряет труд. Ответственность — вот что действительно тяжело. Думаю, по той же причине повару всегда платят больше, чем горничной.

— Ну, тогда няням следует платить вдвое, но не платят же, — сказала Хелен.

— Верно, но подумайте, какое удовольствие проводить все время с детьми, а не с кастрюлями! — Миссис Дэллоуэй с большим интересом посмотрела на Хелен, заподозрив, что у той есть дети.

— Я бы предпочла быть поваром, чем няней, — ответила Хелен. — Ни за что не возьму на

себя ответственность за детей.

— Матери всегда преувеличивают, — вступил Ридли. — Хорошо воспитанный ребенок не требует никакой ответственности. Мы с нашим проехали всю Европу. И ничего, только пеленай потоплей да укладывай в люльку.

Хелен рассмеялась. Миссис Дэллоуэй воскликнула, глядя на Ридли:

— Вы настоящий отец! Мой муж точно такой же. И после этого еще говорят о равенстве полов.

— Кто говорит? — вставил мистер Пеппер.

— Да-да, есть такие! — прокричала Кларисса. — Во время прошлой сессии мужу приходилось каждый день проходить мимо одной гневной дамы, которая только об этом и вешала.

— Она сидела у здания парламента, было так неловко, — подтвердил Дэллоуэй. — В конце концов, я набрался смелости и сказал ей: «Милейшая, вы тут только мешаете. Мне не даете пройти и себе вред причиняете!»

— Тогда она ухватила его за пальто и чуть не выщипала ему глаза, — добавила миссис Дэллоуэй.

— Ну-у, это уж преувеличение, — сказал Ричард. — Нет, признаюсь, мне жаль этих людей. Сидеть на ступеньках, вероятно, страшно неудобно и утомительно.

— Так и поделом им, — коротко высказался Уиллоуби.

— О, здесь я с вами совершенно согласен, — отзвался Дэллоуэй. — Крайняя глупость и бессмыслица подобного поведения вряд ли у кого вызовут большее осуждение, чем у меня. А что касается этой шумихи, то, знаете ли, дай мне Бог сойти в могилу раньше, чем женщины в Англии получат избирательное право! Это все, что я могу сказать.

Торжественность, с которой ее муж произнес последние слова, подействовала на Клариссу, и она приняла серьезный вид.

— Немыслимо! — сказала она. — Но вы ведь не сторонник равноправия, правда? — обратилась она к Ридли.

— Да мне абсолютно все равно, — ответил Эмброуз. — Если люди так наивны, что полагают, будто избирательное право хоть чем-то улучшит их жизнь, так пусть получат его. Тогда скоро сами поймут, что к чему.

— Вижу, вы не политик, — улыбнулась Кларисса.

— Слава Богу, нет.

— Боюсь, ваш муж меня не одобряет, — сказал Дэллоуэй в сторону, обращаясь к миссис Эмброуз. Тут она вдруг вспомнила, что он ведь раньше был членом парламента.

— Неужели это дело никогда не казалось вам скучным? — спросила она, толком не зная, что ей следует говорить.

Ричард простер перед собой руки, как будто ответ был начертан на его ладонях.

— Вы меня спрашиваете, казалось ли мне когда-нибудь это дело скучным, и я, пожалуй, отвечу: да, бывало. Если же вы меня спросите, какую из всевозможных карьер для мужчины я считаю, беря в целом, со всеми за и против, самой увлекательной, самой завидной, не говоря уже о более серьезных ее сторонах, то я, конечно, скажу: карьеру политика.

— Да, согласен, — кивнул Уиллоуби. — В адвокатуре и в политике усилия вознаграждаются как нигде.

— Реализуются все способности человека, — продолжал Ричард. — Может быть, я сейчас затрону опасную тему, но что я, в общем, думаю о поэтах, художниках: когда речь идет о вашем деле — тут, конечно, с вами не потягаешься, но в любой другой области — увы, приходится делать скидки. А я вот ни за что не примирился бы с мыслью, что кто-то для меня делает

скидку.

— Я не вполне с тобой согласна, Ричард, — сказала миссис Дэллоуэй. — Вспомни Шелли. В «Адонаисе», мне кажется, можно найти все и обо всем.

— Очень хорошо, читай «Адонаиса», — согласился Ричард. — Но всегда, услышав о Шелли, я повторяю про себя слова Мэтью Арнольда: «Что за круг! Что за круг!»

Это привлекло внимание Ридли.

— Мэтью Арнольд! Самонадеянный сноб! — фыркнул он.

— Пусть сноб, — отозвался Ричард, — но, с другой стороны, человек, живший в реальном мире. Мы, политики, несомненно, кажемся вам, — он с чего-то решил, что Хелен представляет искусство, — толпой пошлых обывателей, но мы-то видим и другую сторону, мы можем быть несколько неуклюжи, но мы стараемся охватить жизнь в целом, во всей ее полноте. Когда ваши художники видят, что мир погружен в хаос, они пожимают плечами, отворачиваются и возвращаются в свой мир — возможно, прекрасный, — но хаос-то остается. Мне это кажется уходом от ответственности. Кроме того, не все рождаются с художественными способностями.

— Ужасно! — промолвила миссис Дэллоуэй, которая о чем-то размышляла, пока ее муж говорил. — Когда я общаюсь с художниками, я так остро чувствую, как это чудесно — отгородиться от всего в своем собственном маленьком мире, где картины и музыка и все так прекрасно, но потом я выхожу на улицу, и при виде первого же нищего ребенка с грязным и голодным лицом я встрыхиваю головой и говорю себе: «Нет, не могу я отгородиться, не могу я жить в собственном мирке. Я бы отменила и живопись, и литературу, и музыку, пока такое не исчезнет навсегда». Вы не ощущаете, — она повернулась к Хелен, — что жизнь — это вечное противоречие?

Хелен на мгновение задумалась.

— Нет, — сказала она. — Едва ли.

Последовала довольно неловкая пауза. Миссис Дэллоуэй слегка поежилась и попросила принести ее меховую накидку. Кутая шею в мягкий коричневый мех, она решила сменить тему.

— Признаться, мне никогда не забыть «Антигону». Я видела ее в Кембридже много лет назад, и с тех пор она не оставляет меня. Вы согласны, нет произведения более современного? — спросила она Ридли. — Я знаю, пожалуй, не меньше двух десятков Клитемнестр. Например, престарелая леди Дитчлинг. Я ни слова не смыслю по-гречески, но слушать могу бесконечно...

Тут внезапно подал голос мистер Пеппер:

В мире много сил великих,
Но сильнее человека
Нет в природе ничего.
Мчится он, непобедимый,
По волнам седого моря,
Сквозь ревущий ураган... [\[10\]](#)

Миссис Дэллоуэй смотрела на него, поджав губы. Когда он закончил, она сказала:

— Я бы отдала десять лет жизни, чтобы выучить греческий.

— Я могу обучить вас алфавиту за полчаса, — предложил Ридли. — А через месяц вы уже будете читать Гомера. Почел бы за честь позаниматься с вами.

Хелен была вовлечена мистером Дэллоуэем в беседу о том, что раньше в палате общин существовал обычай, теперь забытый, цитировать древних греков; про себя же она отметила —

будто сделала запись в большой книге памяти, которая всегда, чем бы мы ни были заняты, лежит перед нами раскрытой, — что все мужчины, даже такие, как Ридли, питают слабость к роскошным женщинам.

Кларисса воскликнула, что не представляет большего удовольствия. Она тут же вообразила себя в своей гостиной на Браун-стрит с томиком Платона на коленях — Платона в греческом оригинале. Клариссе всегда казалось, что, если за нее серьезно возьмется истинный знаток, он сможет заложить древнегреческий ей в голову без особого труда.

Они договорились с Ридли приступить к занятиям завтра же.

— Но только если ваш корабль нас побережет! — воскликнула миссис Дэллоуэй, втягивая в игру Уиллоуби. Тот кивнул головой — ради гостей, тем более таких почтенных, он был готов поручиться даже за волны.

— Я ужасно переношу качку. Муж тоже не очень, — вздохнула Кларисса.

— Я никогда по-настоящему не страдаю морской болезнью, — пояснил Ричард. — Если со мной это и случалось, то один раз, не больше, — поправился он. — Как-то по пути через Ла-Манш. Однако, честно говоря, при неспокойном море, особенно в сильное волнение, я чувствую себя довольно неуютно. Тут главное — не отказываться от еды. Смотришь на нее и говоришь себе: «Нет, не могу», но все-таки кладешь что-то в рот, хотя Бог знает, как это проглотить, но надо заставить себя, и тогда обычно дурнота уходит безвозвратно. Моя жена трусиха.

Все начали отодвигать стулья. Женщины в нерешительности остановились у двери.

— Давайте-ка я вас поведу, — сказала Хелен, проходя вперед.

Рэчел последовала за ней. Она совсем не принимала участие в беседе, да никто к ней и не обращался, зато вот она ловила каждое слово. Она во все глаза смотрела то на мистера Дэллоуэя, то на его жену. Кларисса и в самом деле представляла собой пленительное зрелище. На ней было белое платье и длинные сверкающие бусы. Этот наряд и лицо, казавшееся особенно румяным в сочетании с седоватыми волосами, делали ее поразительно похожей на портрет восемнадцатого века — шедевр кисти Рейнольдса или Ромни. Рядом с ней Хелен и все остальные выглядели грубовато и неопрятно. Она сидела прямо, но непринужденно, и казалось, будто она управляет миром, как ей вздумается, будто огромный и тяжелый земной шар вертится туда, куда его направят ее пальчики. А ее муж! Мистер Дэллоуэй, игравший своим сочным, хорошо поставленным голосом, был уже совершенно неотразим. Он словно только что вышел из самого сердца гудящего, лоснящегося маслом великого механизма, где слаженно крутятся шестерни и дружно ходят туда-сюда поршни; он схватывал все так легко, но так цепко; остальные рядом с ним казались старомодными, никчемными, несерезными. Рэчел завершала процессию дам, идя будто в трансе; необыкновенный запах фиалок, шедший от миссис Дэллоуэй, смешивался с легким шуршанием ее юбок и позвякиванием украшений. Рэчел с презрением думала о себе, обо всей своей жизни, о знакомых. «Она сказала, что мы живем в собственном мирке. Это так. Мы смешны, нелепы».

— Вот здесь мы сидим, — сказала Хелен, открывая дверь салона.

— Вы играете? — спросила миссис Дэллоуэй, подбирай со стола партитуру «Тристана».

— Племянница играет. — Хелен положила руку на плечо Рэчел.

— О, как я вам завидую! — Кларисса впервые обратилась к Рэчел. — Помните это? Не правда ли, божественно? — И она сыграла пару тактов согнутыми пальцами по странице. — А потом вступает Тристан — вот — и Изольда, ах, как это меня волнует! Вы были в Байрёите?

— Нет, не была, — ответила Рэчел.

— Значит, побываете. Никогда не забуду моего первого «Парсифalia»: августовская жара, старые толстые немки в тесных роскошных платьях, темный театр, наконец начинает звучать музыка, и невозможно удержаться от слез. Помню, какой-то добряк вышел и принес мне воды, а

я только и могла, что плакать у него на плече! Вот здесь перехватило. — Она показала на горло. — Ничто в мире с этим не сравнится! А где же ваше пианино?

— В другой комнате, — объяснила Рэчел.

— Но вы ведь нам поиграете? — с надеждой спросила Кларисса. — Что может быть чудеснее, чем сидеть при луне и слушать музыку? Ах, я говорю, как школьница! А знаете, — она повернулась к Хелен, — думаю, музыка не так уж благотворна для человека, скорее — наоборот.

— Слишком большое напряжение? — спросила Хелен.

— Я бы сказала, слишком много чувств. Это сразу становится заметно, когда молодой человек или девушка избирают музыку своей профессией. Сэр Уильям Бродли мне говорил то же самое. Терпеть не могу, как некоторые напускают на себя при упоминании о Вагнере. — Кларисса воздела глаза к потолку, хлопнула в ладоши и изобразила на лице восторг и упоение. — При этом вовсе не обязательно, что они его понимают, мне всегда в таких случаях кажется, что как раз наоборот. Люди, действительно чувствующие искусство, меньше всех выставляют это напоказ. Вы знаете художника Генри Филипса?

— Видела, — ответила Хелен.

— Посмотреть на него, так он больше похож на преуспевающего биржевого маклера, чем на одного из величайших художников своего времени. Вот это мне по душе.

— На свете много действительно преуспевающих маклеров, можно смотреть на них, если нравится, — сказала Хелен.

Рэчел неистово захотелось, чтобы ее тетка перестала быть такой колючей и упрямой.

— Когда вы видите музыканта с длинными волосами, разве интуиция не подсказывает вам, что музыкант он плохой? — спросила Кларисса, повернувшись к Рэчел. — Уоттс и Иоахим [11] на вид ничем не отличались от нас с вами.

— А как бы им пошли выющиеся волосы! — сказала Хелен. — Вы, видимо, решили ополчиться на красоту?

— Опрятность! — провозгласила Кларисса. — Я хочу, чтобы мужчина выглядел опрятно!

— Под опрятностью вы понимаете хорошо скроенное платье.

— Джентльмена видно сразу, но трудно сказать, что тут главное.

— Ну а вот мой муж, он выглядит как джентльмен?

Такой вопрос для Клариссы был уже просто дурным тоном. «Вот уж чего не скажешь!» — подумала она, но, не найдя, что ответить вслух, только рассмеялась.

— Во всяком случае, — обратилась она к Рэчел, — завтра я от вас не отстану, пока вы мне не поиграете.

В ней, в ее манерах было нечто такое, что сразу заставило Рэчел в нее влюбиться.

Миссис Дэллоуэй подавила зевок, выдав его лишь легким расширением ноздрей.

— Ах, знаете, — сказала она, — невероятно хочется спать! Это морской воздух. Пожалуй, я исчезну.

Спугнул ее резкий мужской голос, судя по всему, мистера Пеппера, который с кем-то ожесточенно спорил.

— Спокойной ночи, спокойной ночи! — попрощалась Кларисса. — Умоляю, не беспокойтесь, я знаю дорогу! Спокойной ночи!

Но зевок ее был, скорее, притворным. Придя к себе, она не дала волю зевоте, не сдернула с себя и не свалила кучей одежду, не растянулась блаженно во всю длину кровати, а вместо этого спокойно переоделась в пеньюар, украшенный бесчисленными оборками, и, обернув ноги пледом, уселась с блокнотом на коленях. Тесная каютка уже успела превратиться в будуар знатной дамы. Везде были расставлены и разложены бутылочки, пузырьки, яички, коробочки,

щеточки, булавки. Судя по всему, ни один участок ее тела не обходился без специального инструментика. Воздух был напитан тем самым ароматом, что заворожил Рэчел. Удобно устроившись, миссис Дэллоуэй начала писать. Она делала это так, словно ласкала бумагу пером, словно гладила и нежно щекотала котенка.

«Вообрази нас, дорогая, в море, на борту самого странного корабля, какой ты только можешь себе представить. Хотя дело не в корабле, а в людях. Хозяин пароходства по фамилии Винрэс — большой, очень милый англичанин — говорит мало — ты, конечно, встречала таких. Что касается остальных — они все будто выползли из старого номера „Панча“. Похожи на игроков в крокет шестидесятых годов. Не знаю уж, сколько они просидели, затворившись на этом корабле, сдается — многие годы, во всяком случае, поднявшись на борт, чувствуешь, что попал в обособленный мирок, кажется, они вообще никогда не сходили на берег и никогда не жили, как другие нормальные люди. Я всегда говорила: с литераторами найти общий язык труднее, чем с кем бы то ни было. Хуже всего то, что эти люди — муж, жена и их племянница — могли бы быть как все, я это чувствую, если бы их не засосали Оксфорд, Кембридж и так далее, отчего они тронулись головой. Он — просто чудо (если б еще постриг ногти), у нее довольно приятное лицо, только одевается, конечно, в мешок из-под картофеля, и прическа у нее, как у продавщицы из „Либерти“ [\[12\]](#). Они разговаривают об искусстве и считают нас болванами за то, что мы вечером переодеваемся. Ничего, однако, поделать не могу — я скорее умру, чем выйду к ужину, не переодевшись, ты тоже, правда? Ведь это гораздо важнее супа. (Даже странно, насколько эти вещи действительно важнее того, что всеми считается важным. Я охотнее дам отрубить себе голову, чем, например, надену фланель на голое тело.) Еще тут есть милая застенчивая девочка — бедное создание, так бы хотелось, чтобы кто-нибудь вытащил ее из этого болота, пока еще не поздно. У нее чудные глаза и волосы, но и она, конечно, со временем станет нелепой. Эстер, мы должны организовать общество просвещения молодежи — это было бы куда полезнее, чем миссионерство! Ах да, я забыла, здесь есть еще противный гном по имени Пеппер. Совершенно соответствует своему имени. Он невообразимо ничтожен и ведет себя непредсказуемо, бедный уродец! Это все равно что сидеть за одним столом с беспризорным фокстерьером, только вот, в отличие от собаки, его не причешешь и не обсыпешь порошком. Иногда жалеешь, что с людьми нельзя обращаться, как с собачками. Что здесь хорошо — нет газет, и Ричард может по-настоящему отдохнуть. В Испании было не до отдыха...»

— Ты струсила! — сказал Ричард, заполнивший своим плотным телом почти всю каюту.

— Я исполнила свой долг за ужином! — вскрикнула Кларисса.

— Так или иначе, ты ввязалась в историю с греческим алфавитом.

— О Господи! Кто он такой, этот Эмброуз?

— Кажется, преподавал в Кембридже, а теперь живет в Лондоне, издает античных классиков.

— Ты видел когда-нибудь столько сумасшедших вместе? Эта женщина спросила меня, похож ли ее муж на джентльмена!

— Да, за обедом трудновато было поддерживать беседу. И почему в этом сословии женщины настолько чуднее мужчин?

— Вид у них, конечно, куда приличнее, только — какие они странные!

Оба засмеялись, подумав об одном и том же, — им даже ни к чему было обмениваться впечатлениями.

— Пожалуй, мне много о чем стоит поговорить с Винрэсом, — сказал Ричард. — Он знает Саттона и весь этот круг. Может многое порассказать о нашем кораблестроении на Севере.

— Ах, я рада. Мужчины действительно настолько лучше женщин!

— Конечно, с мужчиной всегда есть о чем поговорить. Но и ты, Кларисса, можешь очень даже бойко порассуждать о детях.

— А у нее есть дети? По виду не скажешь.

— Двое. Мальчик и девочка.

Зависть кольнула иголкой сердце миссис Дэллоуэй.

— Нам нужен сын, Дик, — проговорила она.

— Бог мой, сейчас у молодых людей столько возможностей! — Эта тема навела Дэллоуэя на размышления. — Полагаю, такого широкого поля для деятельности не было со времен Питта.

— И оно тебя ждет! — сказала Кларисса.

— Руководить людьми — прекрасное дело, — провозгласил Ричард. — Боже мой, что за дело!

Его грудь медленно выпятилась под жилетом.

— Знаешь, Дик, меня не оставляют мысли об Англии, — раздумчиво произнесла Кларисса, положив голову на грудь мужу. — Отсюда, с этого корабля видится намного яснее, что на самом деле значит быть англичанином. Думаешь обо всем, чего мы достигли, о нашем военном флоте, о наших людях в Индии, в Африке, о том, как мы век за веком шли все дальше, посылая вперед наших деревенских ребят, и о таких, как ты, Дик, — и вдруг понимаешь, как это, наверное, невыносимо не быть англичанином! И свет, идущий от нашего парламента, Дик! Сейчас, стоя на палубе, я будто видела это зарево. Вот что значит для нас Лондон.

— Связь времен! — торжественно заключил Ричард. Слушая жену, он живо представил себе английскую историю, череду королей, премьер-министров, череду законов. Он окинул мысленным взором всю политику консерваторов, тянувшуюся, словно нить, от Альфреда к лорду Солсбери [\[13\]](#) и будто петлей захватывавшую один за другим внушительные куски обитаемой суши.

— Понадобилось много времени, но мы почти закончили; осталось только закрепить достигнутое.

— А эти люди не понимают! — воскликнула Кларисса.

— Бывают разные люди и разные мнения, — ответил ее муж. — Без оппозиции не было бы правительства.

— Дик, насколько ты лучше меня! Ты смотришь широко, а я вижу только то, что здесь. — Кларисса ткнула пальцем в тыл его кисти.

— В этом моя задача, что я и пытался растолковать за обедом.

— Что мне в тебе нравится, Дик, — продолжала она, — ты всегда одинаковый, а я — существо, целиком подвластное настроениям.

— Как бы то ни было, ты существо обворожительное, — сказал он, взглянув на нее потеплевшими глазами.

— Ты правда так думаешь? Тогда поцелуй меня.

Он поцеловал ее со всей страстью, так что ее недописанное письмо соскользнуло на пол. Ричард поднял его и, не спросив разрешения, прочитал.

— Где твое перо? — спросил он и приписал снизу своим мелким мужским почерком:

«Р. Д. loquitur [\[14\]](#): Кларисса забыла упомянуть, что за обедом она выглядела особенно обворожительно и кое-кого завоевала, из-за чего ей теперь придется учить греческий алфавит. Пользуясь случаем, хочу добавить, что мы прекрасно проводим время в заморских краях, а для того, чтобы это путешествие стало настолько же приятным, насколько обещает быть полезным, нам не хватает лишь наших друзей (то есть тебя и Джона)...»

В конце коридора послышались голоса. Мистер Эмброуз говорил слишком тихо, зато Уильям Пеппер вполне отчетливо и едко произнес:

— К такого рода дамам я не испытываю ни малейшей симпатии. Она...

Но ни Ричард, ни Кларисса так и не узнали его приговора, потому что как раз в тот момент, когда стоило прислушаться, Ричард зашуршал бумагой.

«Я часто сомневаюсь, — размышляла Кларисса в постели над белым томиком Паскаля, который она всюду брала с собой, — действительно ли хорошо для женщины жить с человеком, который нравственно выше ее, ведь так и есть у нас с Ричардом. Становишься настолько зависимой. Кажется, я чувствую к нему то же, что моя мать и женщины ее поколения чувствовали к Христу. Это лишь доказывает, что человеку необходимо нечто...» Затем она погрузилась в сон, как всегда, очень здоровый, дарующий новые силы, разве что в эту ночь ее посещали фантастические видения греческих букв, кравшихся по каюте, — Кларисса проснулась и рассмеялась, вспомнив, что греческие буквы были одновременно теми самыми людьми, что спали сейчас совсем рядом. Потом, представив, как за бортом плещет под луной темное море, она поежилась и подумала, что и муж, и эти люди — ее спутники в плавании. Сны не были ее безраздельным достоянием, но кочевали из одной головы в другую. Этой ночью мореплаватели видели во сне друг друга, что было не удивительно — учитывая, какие тонкие разделяли их перегородки и как странно оказались они оторванными от земли, столь близкими друг к другу посреди океана и вынужденными пристально всматриваться друг другу в лицо и слышать любое случайно оброненное слово.

Глава 4

На следующее утро Кларисса встала раньше всех. Она оделась и вышла на палубу подышать свежим воздухом спокойного утра. Совершая второй круг по судну, она налетела на тощего стюарда мистера Грайса. Кларисса извинилась и тут же попросила просветить ее: что это за медные стойки, наполовину стеклянные сверху? Она гадала-гадала, но так и не догадалась. Когда он объяснил ей, она воскликнула с воодушевлением:

— Я искренне считаю, что на свете нет ничего лучше, чем быть моряком!

— А что вы знаете об этом? — спросил мистер Грайс, ни с того ни с сего рассердившись. — Извините, но что вообще знает о море любой человек, выросший в Англии? Он делает вид, что знает, но не более.

Горечь, с которой он говорил, оказалась предвестницей того, что затем последовало. Он завел миссис Дэллоуэй в свое обиталище, где она примостилась на краешке отделанного медью стола, став удивительно похожей на чайку — это впечатление усиливали белое платье, заостренные очертания фигуры и тревожное узкое лицо, — и ей пришлось слушать тирады стюарда-фанатика. Для начала, понимает ли она, какую малую часть мира составляет суша? Как в сравнении с ней покойно, прекрасно и благодатно море? Если завтра все наземные животные падут от мора, водные глубины смогут полностью обеспечить Европу пищей. Мистер Грайс припомнил жуткие картины, которые он наблюдал в богатейшем городе мира: мужчины и женщины в многочасовых очередях за миской мерзкой похлебки. «А я думал о добротном мясе, которое плавает в море и ждет, чтобы его поймали. Я не то чтобы протестант, и не католик, конечно, но почти готов молиться о возвращении папства — ради постов».

Говоря, он выдвигал ящики и доставал стеклянные баночки. В них содержались сокровища, которыми одарил его великий океан — бледные рыбы в зеленоватых растворах, сгустки студня со струящимися щупальцами, глубоководные рыбины с фонариками на головах.

— Они плавали среди костей, — вздохнула Кларисса.

— Вы вспомнили Шекспира, — сказал мистер Грайс, снял томик с полки, тесно уставленной книгами, и прочитал гнусаво и многозначительно:

— «Отец твой спит на дне морском...» [\[15\]](#) Душа-человек был Шекспир, — добавил он, ставя книжку на место.

Клариссу это заявление обрадовало.

— Какая у вас любимая пьеса? Интересно, та же, что у меня?

— «Генрих Пятый», — ответил мистер Грайс.

— Надо же! — вскрикнула Кларисса. — Та же!

В «Гамлете» мистер Грайс видел слишком много самоанализа, сонеты были для него слишком страстными, зато Генриха Пятого он считал за образец английского джентльмена. Однако больше всего он любил Гексли, Герберта Спенсера и Генри Джорджа [\[16\]](#), тогда как Эмерсона и Томаса Харди читал для отдыха. Он принял высказывание миссис Дэллоуэй свои взгляды на нынешнее состояние Англии, но тут колокол так властно позвал на завтрак, что ей пришлось удалиться, с обещанием прийти опять и посмотреть его коллекцию водорослей.

Компания людей, показавшихся ей такими нелепыми накануне, уже собралась за столом, сон еще не совсем отпустил их, поэтому они были необщительны. Впрочем, появление Клариссы заставило всех чуть встрепенуться, как от дуновения ветерка.

— У меня сейчас была интереснейшая беседа! — воскликнула она, садясь рядом с Уиллоуби. — Вы знаете, что один из ваших подчиненных — философ и поэт?

— Человек он очень интересный — я всегда это говорил, — отозвался Уиллоуби, поняв, что

речь идет о мистере Грайсе. — Хотя Рэчел считает его занудой.

— Он и есть зануда, когда рассуждает о течениях, — сказала Рэчел. Ее глаза были полны сна, но миссис Дэллоуэй все равно казалась ей восхитительной.

— Еще ни разу в жизни не встречала зануду! — заявила Кларисса.

— А по-моему, в мире их полно! — воскликнула Хелен, но ее красота, которая лучилась в утреннем свете, противоречила ее словам.

— Я считаю, что человек не может отозваться о человеке хуже, — сказала Кларисса. — Насколько лучше быть убийцей, чем занудой! — добавила она со своей характерной многозначительностью. — Я могу представить, как можно симпатизировать убийце. С собаками — то же самое. Некоторые собаки — такие зануды, бедняжки.

Рядом с Рэчел сидел Ричард. Его присутствие, его внешность вызывали у нее странное ощущение — ладно скроенная одежда, похрустывающая манишка, манжеты, перехваченные синими кольцами, очень чистые пальцы с квадратными кончиками, перстень с красным камнем на левом мизинце...

— У нас была собака-зануда, которая сознавала это, — сказал он, обращаясь к Рэчел прохладно-непринужденным тоном. — Скайтерьер — знаете, они такие длинные, с маленькими лапками, которые выглядывают из-под шерсти. На гусениц похожи — нет, скорее, на диванчики. Одновременно мы держали и другую собаку, черного живого пса. Кажется, эта порода называется шипперке. Большего контраста представить невозможно. Скайтерьер был медлителен, нетороплив, как престарелый джентльмен в клубе, будто говорил: «Неужели вы это серьезно?» А шипперке был стремителен, как нож. Признаюсь, мне скайтерьер нравился больше. В нем чувствовался какой-то пафос.

В рассказе вроде не было изюминки.

— И что с ним стало? — спросила Рэчел.

— Это очень печальная история, — тихо сказал Ричард, очищая яблоко. — Моя жена поехала на автомобиле, он увязался за ней и был сбит жестоким велосипедистом.

— Он погиб? — спросила Рэчел.

Но это уже расслышала на своем конце стола Кларисса.

— Не говорите об этом! — закричала она. — Я до сих пор не могу об этом вспоминать.

Неужели в ее глазах действительно показались слезы?

— Это самое печальное в домашних животных, — сказал мистер Дэллоуэй. — Они умирают. Первым горем, которое я помню, была смерть сони. С прискорбием должен признаться, что я на нее сел. Хотя это печали вовсе не убавляет. «Здесь покоится утка, на которую Сэмюэл Джонсон сел» [\[17\]](#), помните? Я был крупным мальчиком. Потом были канарейки, — продолжил он, — пара вяхирей, лемур, однажды даже ласточка.

— Вы жили за городом? — спросила Рэчел.

— Мы жили за городом по шесть месяцев в году. Мы — это четыре сестры, брат и я. Нет ничего лучше, чем рести в большой семье. Особенную радость доставляют сестры.

— Дик, тебя страшно баловали! — прокричала Кларисса через стол.

— Нет, нет, ценили, — возразил Ричард.

У Рэчел на языке вертелись вопросы совсем о другом, точнее — один большой вопрос, хотя она не знала, как облечь его в слова. И беседа казалась для этого вопроса слишком легковесной.

«Пожалуйста, расскажите мне — всё!» — вот, что она хотела бы сказать. Ричард будто лишь чуть-чуть отодвинул занавес и показал ей изумительные сокровища. Ей казалось невероятным, чтобы такой человек пожелал говорить с ней. У него были сестры, домашние животные, когда-то он жил за городом. Она все размешивала и размешивала чай в своей чашке. Пузырьки кружились и собирались стайками, и ей представилось, что они олицетворяют

родство человеческих душ.

Тем временем нить беседы ускользнула от нее, и, когда Ричард вдруг шутливо произнес:

— Я уверен, что мисс Винрэс тайно тяготеет к католицизму, — она понятия не имела, что ответить, а Хелен не удержалась от смешка над тем, как она вздрогнула.

Однако завтрак был окончен, и миссис Дэллоуэй поднялась.

— Мне всегда казалось, что религия подобна коллекционированию жуков, — сказала она, подводя итог дискуссии, когда поднималась по лестнице вместе с Хелен. — Одному черные жуки нравятся, другому — нет, а спорить об этом без толку. Какой черный жук есть у вас?

— Наверное, мои дети, — сказала Хелен.

— Ах, это совсем другое, — возразила Кларисса с придыханием. — Расскажите. У вас мальчик, да? Разве не ужасно оставлять их?

Будто синяя тень легла на озеро. Их глаза стали глубже, голоса потеплели.

Рэчел не стала вместе с ними прогуливаться по палубе: благополучные матроны возмутили ее — она вдруг почувствовала себя сиротой, не допущенной к их миру. Рэчел резко повернулась и пошла прочь. Хлопнув дверью своей каюты, она достала ноты. Они были старые — Бах и Бетховен, Моцарт и Перселл — пожелтевшие страницы, с шероховатыми на ощупь гравюрами. Через три минуты она погрузилась в очень трудную, очень классическую фугу ля мажор, а ее лицо приняло странное выражение, в котором смешивались отрешенность, волнение и удовлетворенность. Иногда она и запиналась, и сбивалась, так что ей приходилось проигрывать один такт дважды, но все же ноты были как будто пронизаны незримой нитью, из которой рождались форма и общая конструкция. Совсем не легко было понять, как эти звуки должны сочетаться между собой, работа требовала от Рэчел напряжения всех ее способностей, и она была поглощена ею настолько, что не услышала стука. Дверь распахнулась, в каюту вошла миссис Дэллоуэй. Она не затворила за собой дверь, и в проеме были видны кусок белой палубы и синего моря. Конструкция фуги рухнула.

— Не позволяйте мне мешать вам! — взмолилась Кларисса. — Я услышала вашу игру и не смогла устоять. Обожаю Баха!

Рэчел покраснела и неловко сложила руки на коленях, а затем так же неловко встала.

— Слишком трудная, — сказала она.

— Но вы играли блистательно! Зря я вошла.

— Нет, — сказала Рэчел.

Она убрала с кресла «Письма» Каупера и «Грозовой перевал» [18], тем самым приглашая Клариссу сесть.

— Какая милая комнатка! — сказала та, осматриваясь. — О, «Письма» Каупера! Никогда не читала. Как они?

— Довольно скучны, — сказала Рэчел.

— Но писал он ужасно хорошо, правда? — спросила Кларисса. — Для тех, кто это любит, — как он заканчивал фразы и все такое. «Грозовой перевал»! Вот это мне ближе. Я жить не могу без сестер Бронте! Вы их любите? Хотя, вообще-то мне легче было бы прожить без них, чем без Джейн Остен.

Она говорила вроде бы вполне беспечно, первое, что придет в голову, но сама ее манера выражала огромную симпатию и желание подружиться.

— Джейн Остен? Не люблю Джейн Остен, — сказала Рэчел.

— Вы чудовище! — воскликнула Кларисса. — Могу лишь простить вас. Скажите почему?

— Она такая... Она похожа на туго заплетенную косу, — с трудом нашла слова Рэчел.

— А, понимаю, о чем вы. Но я не согласна. И вы измените мнение с возрастом. В ваши годы я любила только Шелли. Помню, как рыдала над ним в саду.

Он выше нашей ночи заблужденья;
Терзанья, зависть, клевета, вражда...

Помните?

К нему не прикоснутся никогда.
Мирской заразы в вольном нет следа [\[19\]](#).

Божественно! А с другой стороны, какой вздор! — Она мимолетно оглядела каюту. — Я всегда думала, что главное — это жить, а не умереть. Я отношусь с большим уважением к какому-нибудь надутому старому маклеру, который всю жизнь день за днем считает деньги в столбик, а потом едет на свою виллу в Брикстоне, где у него дряхлый мопс — объект поклонения — и нудная маленькая жена, сидящая на другом конце стола, а еще он ездит на пару недель в Маргит [\[20\]](#). Поверьте, я знаю таких множество. Так вот, они мне кажутся гораздо благороднее, чем поэты, которых все боготворят только за то, что они гении и умерли молодыми. Но я не жду, что вы согласитесь со мной!

Она сжала плечо Рэчел.

— М-м... — цитирование продолжилось:

Тревога, что зовется — наслажденье...

В моем возрасте вы поймете, что мир *переполненвещами*, доставляющими радость. Думаю, молодые так ошибаются, не позволяя себе быть счастливыми! Иногда мне кажется, что счастье — это единственное, что имеет смысл. Я недостаточно знаю вас, чтобы говорить, но я догадываюсь, что вам стоило бы — при вашей молодости и привлекательности — уделять чуть больше внимания — да, я скажу это! — всему, что дарит нам жизнь. — Она огляделась, как бы добавляя: «а не только нудным книжкам и Баху». — Мне так хочется порасспрашивать вас, — продолжила она. — Вы меня так интересуете! Если я несносна, скажите сразу!

— И у меня... У меня тоже есть вопросы, — сказала Рэчел с таким жаром, что миссис Дэллоуэй пришлось сдержать улыбку.

— Вы не против прогуляться? — сказала она. — Воздух восхитителен.

Когда они вышли на палубу и закрыли за собой дверь, Кларисса засопела, как беговая лошадь.

— Ну не прекрасно ли жить?! — воскликнула она и потянула Рэчел за руку. — Смотрите, смотрите! Какое великолепие!

Берега Португалии уже начали терять свою вещественность, хотя суша еще была сушей, только далекой. Можно было разглядеть городки, рассыпанные в складках холмов, и тонкие пряди дыма. Селения казались очень маленькими по сравнению с огромными лиловыми горами позади них.

— Хотя, честно говоря, — сказала Кларисса, насмотревшись, — я не люблю виды. Они слишком бесчеловечны.

Они пошли дальше.

— Как странно! — с чувством продолжила Кларисса. — Вчера в это же время мы были не знакомы. Я собирала вещи в тесном гостиничном номере. Нам совершенно ничего не известно

друг о друге, и все же — у меня такое чувство, будто я знаю вас!

— У вас есть дети, ваш муж был в парламенте?

— В школе вы не учились, а живете...

— С тетушками, в Ричмонде.

— В Ричмонде?

— Тетушки любят парк. Им нравится тишина.

— А вам — нет! Понимаю! — засмеялась Кларисса.

— Я люблю одна гулять в парке, но не с собаками, — сказала Рэчел.

— Конечно. Но некоторые люди — что собаки, да? — сказала Кларисса, будто угадывая какую-то тайну. — Но не все — о, не все!

— Не все, — сказала Рэчел и остановилась.

— Представляю, как вы гуляете в одиночестве. И думаете. Погруженная в свой маленький мир. Но будет иначе, вся радость впереди!

— Радость от прогулки с мужчиной? Вы об этом? — спросила Рэчел, испытующе глядя на миссис Дэллоуэй своими большими глазами.

— Я имела в виду не только мужчину, — сказала Кларисса. — Но и это будет.

— Нет. Я никогда не выйду замуж, — решительно заявила Рэчел.

— Не разделяю вашу уверенность, — сказала Кларисса. По ее взгляду, брошенному искоса, Рэчел поняла, что она находит ее привлекательной, хотя не без удивления.

— Зачем люди женятся? — спросила Рэчел.

— Вот это вам и предстоит узнать, — засмеялась Кларисса.

Рэчел проследила за ее взглядом и заметила, что он на секунду остановился на крепкой фигуре Ричарда Дэллоуэя, который пытался зажечь спичку о подошву своего ботинка, пока Уиллоуби простиенно излагал что-то, по-видимому, весьма интересное им обоим.

— С этим ничто не сравнится, — заключила Кларисса. — Расскажите мне об Эмброузах. Или я задаю слишком много вопросов?

— Мне легко с вами говорить, — сказала Рэчел.

Однако краткое описание четы Эмброузов получилось у нее довольно формальным и содержало практически один только факт, что мистер Эмброуз — ее дядя.

— Брат миссис Винрэс, вашей матери?

Когда имя человека не произносится долгое время, даже его мимолетное упоминание действует особенно сильно. Миссис Дэллоуэй продолжала:

— Вы похожи на мать?

— Нет, она была другая, — сказала Рэчел.

Ее охватило желание рассказать миссис Дэллоуэй то, что она никому еще не рассказывала и даже сама до сих пор не осознавала.

— Я одинока, — начала она. — Я хочу... — Она не знала, чего хочет, и поэтому не смогла закончить фразу. Но губы ее задрожали.

Однакоказалось, что миссис Дэллоуэй способна все понимать без слов.

— Я знаю, — сказала она, беря Рэчел под руку. — В вашем возрасте мне тоже этого хотелось. Никто не понимал меня, пока я не встретила Ричарда. Он дал мне все, чего я хотела. В нем соединены и мужчина, и женщина. — Ее глаза опять остановились на мистере Дэллоуэе, который стоял, прислонившись к перилам, и что-то говорил. — Не думайте, что я говорю так лишь потому, что я его жена. Я вижу его недостатки яснее, чем чьи бы то ни было. От человека, с которым живешь, ждешь прежде всего, чтобы он сделал тебя лучше. Я часто удивляюсь, чем я заслужила такое счастье! — По щеке Клариссы скатилась слеза. Она вытерла ее, скжала руку Рэчел и воскликнула: — Как хороша жизнь!

В это мгновение, глядя на сверкающие под солнцем волны, чувствуя на щеках свежий бриз и руку миссис Дэллоуэй на своей руке, Рэчел подумала, что, возможно, жизнь, которая раньше была ей неизвестна, и в самом деле бесконечно прекрасна, хотя в это так трудно поверить.

Мимо прошла Хелен. Она удивилась и почувствовала легкое раздражение, увидев, что Рэчел стоит об руку с мало знакомой ей женщиной и выглядит взволнованной. Но тут к ним присоединился Ричард, который получил удовольствие от очень интересной беседы с Уиллоуби и был в настроении пообщаться.

— Посмотрите на мою панаму, — сказал он, прикасаясь к полям своей шляпы. — Вы знаете, мисс Винрэс, как сильно можно улучшить погоду соответствующим головным убором? Я решил, что сегодня жаркий летний день, и предупреждаю вас, что вы ничем не сможете поколебать моей уверенности. Посему я намереваюсь сесть. И советую вам последовать моему примеру. — Он указал на три кресла, стоящие в ряд.

Откинувшись на спинку, Ричард взорвался на волны.

— Чудесный синий цвет, — сказал он. — Хотя его многовато. Для красоты вида важнее всего разнообразие. Например, если холмы — должна быть река, если река — нужны холмы. На мой вкус, самый лучший вид в мире открывается в погожий день с Борз-Хиллз — повторяю, день должен быть погожим. Плед? Спасибо, дорогая. В этом случае вы также имеете возможность предаться воспоминаниям, погрузиться в прошлое...

— Дик, ты хочешь поговорить, или мне почитать вслух?

Вместе с пледами Кларисса принесла книгу.

— «Доводы рассудка» [21], — объявил Ричард, прочитав заглавие.

— Это для мисс Винрэс, — сказала Кларисса. — Она не выносит нашу любимую Джейн.

— Осмелюсь предположить, это оттого, что вы ее не читали, — сказал Ричард. — Она, безусловно, величайшая из наших писательниц. Да, она величайшая, — продолжил он, — и поэтому она не пытается писать, как мужчина. В отличие от остальных женщин, которых я из-за этого не читаю. Приведите свои доводы, мисс Винрэс, — он сложил руки пальцем к пальцу, — я готов обратиться в вашу веру.

Рэчел попыталась оправдать свой пол, но тщетно.

— Боюсь, он прав, — сказала Кларисса. — Он обычно бывает прав, негодяй! Я взяла «Доводы рассудка», решив, что они зачитаны меньше, чем остальные романы. А с твоей стороны, Дик, нехорошо делать вид, будто ты знаешь Джейн наизусть — учитывая, что ты всегда от нее засыпаешь!

— После трудов на ниве законодательства я имею право поспать, — сказал Ричард.

— О пушках ты думать не будешь, — заявила Кларисса, увидев, что его взгляд, поднявшись над волнами, задумчиво блуждает в поисках суши. — И о военном флоте, и об империях, и обо всем остальном. — Она открыла книгу и начала читать: — «Сэр Уолтер Эллиотт из Келлинч-Холла, что в Сомерсетшире, был человеком, который ради собственного удовольствия не читал никакой другой книги, кроме „Книги баронетов“. Вы не знаете сэра Уолтера? „Она развлекала его в часы досуга, утешала в часы печали“. Все-таки хорошо пишет, правда? „А еще...“»

Она читала непринужденно и немного иронично. Она решила, что сэр Уолтер должен вытеснить из головы ее мужа мысли о пушках и Британии и увлечь его в изысканный, странный, жизнерадостный и слегка нелепый мир. Через некоторое время в реальном мире солнце скрылось, и очертания предметов стали мягче. Рэчел подняла глаза, чтобы посмотреть, чем вызвана такая перемена. Веки Ричарда опускались и поднимались. Громкое сопение возвестило, что он больше не властен над производимым им впечатлением, то есть спит.

— Победа! — прошептала Кларисса, дочитав фразу. Тут она резко подняла руку, останавливая матроса, который подошел к ним и теперь стоял в нерешительности. Кларисса

отдала книгу Рэчел и тихонько отошла, чтобы выслушать послание: «Мистер Грайс спрашивает, удобно ли...» и так далее. Она последовала за матросом. Ридли, который прокрадывался мимо на цыпочках, пошел быстрее, вдруг остановился, а затем, с жестом отвращения, удалился в направлении своего кабинета. Спящий политик остался на попечении Рэчел. Она прочла одно предложение и посмотрела на него. Во сне он был похож на одежду, брошенную на спинку кровати: складки, рукава, штанины — все выглядело так, будто уже не наполнено руками и ногами. В такой момент легче судить о состоянии и возрасте наряда. Рэчел смотрела на него, пока ей не показалось, что он был бы против, если бы знал об этом.

Ему было лет сорок; вокруг глаз собирались морщины, а по щекам проходили глубокие борозды. Он выглядел слегка потрепанным, но упрямо-крепким и в расцвете сил.

— Сестры, соня, канарейки... — шептала Рэчел, не отрывая от него глаз. — Интересно, интересно... — Она умолкла, положив подбородок на руку, но все так же смотрела на Ричарда. Затем он открыл глаза, которые еще несколько мгновений были похожи на глаза близорукого человека, затерявшего очки. Ему пришлось подавить в себе неловкость оттого, что он хрюпал, а возможно, и бормотал во сне при девушке. То, что он проснулся наедине с ней, его также слегка смущило.

— Кажется, я задремал, — сказал он. — А куда все делись? Где Кларисса?

— Миссис Дэллоуэй пошла посмотреть морскую коллекцию мистера Грайса, — ответила Рэчел.

— Я мог бы догадаться, — сказал Ричард. — Обычная история. Ну, а вы провели время с пользой? Обратились?

— Я не прочла ни строчки, — сказала Рэчел.

— Я всегда прихожу к тому же. Вокруг слишком много интересного. Я считаю, что природа отлично стимулирует работу мозга. Лучшие мысли приходят ко мне на воздухе.

— Когда вы гуляете?

— Гуляю, катаюсь верхом, на яхте. Пожалуй, самые важные беседы в моей жизни происходили во время прогулок по большому двору в Тринити-Колледже. Я учился в обоих университетах. Причуда моего отца. Он считал, что это способствует широте взглядов. Пожалуй, я с ним согласен. Помню — как давно это было! — мы закладывали будущие основы государства с нынешним министром по делам Индии. Мы казались себе очень мудрыми. Не уверен, что мы ошибались. Мы были счастливы, мисс Винрэс, и молоды — а это способствует мудрости.

— Вы сделали то, о чем говорили? — спросила Рэчел.

— Строгий вопрос. Отвечаю: и да и нет. С одной стороны, я не совершил того, что намеревался совершить — а кто совершил? — с другой стороны, могу прямо заявить: я не уронил своих идеалов.

Он решительно посмотрел на чайку, как будто его идеалы располагались на ее крыльях.

— А что такоевавши идеалы? — спросила Рэчел.

— Вы хотите слишком много, мисс Винрэс, — игриво сказал Ричард.

Она смогла лишь заметить, что ей просто интересно, и Ричард с видимым удовольствием ответил:

— Что тут сказать? Если одним словом — Единство. Единство цели, власти, прогресса. Распространение лучших идей на возможное большее пространство.

— Английских?

— Я признаю, что англичане в целом выглядят более остальных людей, а их прошлое — чище. Но, Бога ради, не думайте, что я не вижу изъянов, мерзостей, немыслимых вещей, имевших место в нашей среде! У меня нет иллюзий. Полагаю, что мало у кого иллюзий меньше,

чем у меня. Вы бывали на каком-нибудь заводе, мисс Винрэс? Полагаю, нет — лучше сказать, надеюсь, что нет.

Рэчел действительно по бедной улице проходила всего несколько раз, и всегда в сопровождении отца, горничной или тетушек.

— Я хотел сказать, что, если бы вы хоть раз увидели, что творится вокруг вас, вы бы поняли, почему я и подобные мне становятся политиками. Вы вот спросили, сделал ли я то, что намеревался сделать. Обозревая мою жизнь, я вижу один факт, которым — признаю — горжусь: благодаря мне тысячи девушек в Ланкашире — и еще многие тысячи в будущем — могут каждый день находиться по часу на свежем воздухе, тогда как еще их матери должны были проводить и этот час над ткацкими станками. Честно говоря, я горжусь этим больше, чем гордился бы, напиши я все стихи Китса, да и Шелли в придачу!

Рэчел стало горько, что она принадлежит к тем, кто пишет стихи Китса и Шелли. Ричард Дэллоуэй был ей симпатичен, и все, что он говорил, находило в ней живой отклик. А говорил он, судя по всему, серьезно.

— Ничего-то я не знаю! — воскликнула она.

— Вам гораздо лучше ничего не знать, — отечески сказал он. — Кроме того, вы, конечно, ошибаетесь. Говорят, вы чудесно играете, и я не сомневаюсь, что вы прочли гору умных книжек.

Покровительственное подщучивание уже не могло остановить ее.

— Вы говорите «единство», — сказала она. — Вы должны мне объяснить.

— Никогда не разрешаю моей жене говорить о политике, — серьезно заявил он. — Вот по какой причине. Для людей, какие они есть, невозможно одновременно иметь идеалы и бороться. Если я и сохранил мои идеалы — а это в значительной степени так, за что я благодарен судьбе, — то лишь потому, что вечером я мог прийти домой, к жене, которая весь день посвятила визитам, музенированию, играм с детьми, домашним заботам и так далее. Ее иллюзии не развеялись. Она дает мне мужество идти дальше. Общественное поприще — это тяжкое бремя, — добавил он.

Эта речь представила его изнуренным мучеником, который каждый день, служа человечеству, отрывается от себя и дарит ему чистейшее золото.

— Не могу вообразить, — воскликнула Рэчел, — как люди этим занимаются!

— Что вы имеете в виду, мисс Винрэс? — спросил Ричард. — Этот вопрос я хотел бы прояснить.

Он проявлял исключительную доброту, и Рэчел решилась не упустить возможность, которую он ей давал, хотя само то, что она говорит с таким заслуженным и влиятельным человеком, заставляло ее сердце биться быстрее, чем обычно.

— Мне кажется так... — начала она, изо всех сил стараясь вспомнить и изложить свои зыбкие видения. — Старая вдова сидит в своей комнате, где-нибудь, ну, скажем, в предместьях Лидса.

Ричард кивнул, показывая, что вдову он допускает.

— Вы в Лондоне тратите жизнь на разговоры, составление документов, законопроектов, лишая себя того, что кажется естественным. В результате вдова подходит к своему буфету и обнаруживает в нем чуть больше чая, несколько кусочков сахара — или меньше чая и газету. Я думаю, так живут вдовы по всей стране. И все-таки душу вдовы, ее чувства вы оставляете незатронутыми. А свою душу тратите.

— Если вдова подойдет к буфету и он окажется пустым, — ответил Ричард, — ее мироощущение, скорее всего, будет затронуто. Если вы мне позволите, мисс Винрэс, указать на некоторые изъяны в вашей философии, которая не лишена и достоинств, то я замечу, что человек — это не набор ячеек, это организм. Воображение, мисс Винрэс, используйте ваше

воображение. Вот где у вас, молодых либералов, слабое место. Представляйте мир в целом. Теперь ваш второй довод. Когда вы утверждаете, что я, стараясь навести порядок в доме ради молодого поколения, зря трачу мои силы, годные на нечто большее, — я с вами совершенно не согласен. Не могу вообразить более возвышенной цели, чем быть гражданином империи. Посмотрите на это вот как, мисс Винрэс. Представьте, что государство — сложный механизм; мы, граждане, — детали этого механизма. Кто-то выполняет более важные функции, другие (возможно, я среди них) служат только для связи незначительных деталей, скрытых от глаз общества. И все же — если самый ничтожный винтик откажет, работа всего механизма будет поставлена под угрозу.

Образ худой вдовы в черном, которая выглядывает из окна и мечтает с кем-нибудь поговорить, никак не вязался с образом огромной машины, как ее видят в Южном Кенсингтоне [22], — с шестернями и поршнями в постоянном движении. Попытка общения не увенчалась успехом.

— Кажется, мы не понимаем друг друга, — сказала Рэчел.

— Позволите мне сказать то, что вас сильно рассердит? — спросил Ричард.

— Не рассердит.

— Так вот: ни одна женщина не обладает тем, что я называю политическим чутьем. У вас есть великие достоинства — я первый признаю это, — но я не встречал женщины, которая понимает, что такая государственная деятельность. Я рассержу вас еще больше. Надеюсь, я такой женщины никогда и не встречу. Ну что, мисс Винрэс, теперь мы враги на всю жизнь?

Самолюбие, раздражение и упорное желание быть понятой заставили ее сделать еще одну попытку.

— Под мостовыми, в трубах, в проводах, в телефонах есть какая-то своя жизнь — вы об этом? В мусорных фургонах, в дорожных ремонтниках... Это чувствуешь каждый раз, когда идешь по Лондону, когда отворачиваешь кран и течет вода?

— Конечно, — сказал Ричард. — Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что в основе современного общества лежат коллективные усилия. Если бы больше людей осознавало это, мисс Винрэс, было бы меньше одиноких старых вдов!

Рэчел задумалась.

— Вы либерал или консерватор? — спросила она.

— Я называю себя консерватором — ради удобства, — с улыбкой сказал Ричард. — Но между этими партиями больше общего, чем принято думать.

Последовала пауза, но не потому, что Рэчел было нечего сказать: как всегда, ей было трудно себя выразить, а сейчас ее к тому же смущало, что время беседы, скорее всего, истекает. Ее осуждали нелепые, сбивчивые мысли: если все всегда было разумно и обычно — как вышло, что мамонты, которые паслись на месте Хай-стрит в Ричмонде, сменились мостовыми, коробками с лентами и ее тетками?

— Вы говорили, что в детстве жили за городом? — спросила она.

Хотя ее манеры и казались Ричарду грубоватыми, он был польщен. Не было сомнений, что она испытывает к нему искренний интерес.

— Жил, — улыбнулся он.

— И что там было? Или я задаю слишком много вопросов?

— Я польщен, уверяю вас. А что там было? Дайте вспомнить. Ну, верховая езда, уроки, сестры. А еще, помню, там была пленительная куча мусора, богатая самыми диковинными штуками. Детей порой влекут такие странные вещи! Это место до сих пор стоит у меня перед глазами. Зря многие думают, будто дети счастливы. Наоборот — они несчастны. Я никогда так не страдал, как в детстве.

— Почему? — спросила Рэчел.

— Я не ладил с отцом, — суховато ответил Ричард. — Он был человек замечательный, но жесткий. Такой пример убеждает побороть этот грех в себе. Дети никогда не забывают несправедливость. Они прощают многое, что взрослые не терпят, но этот грех — непростителен. Учите — я признаю, что был нелегким ребенком. Однако как подумаю, сколь открыта была моя душа! И все же мои грехи были хуже, чем этот. А потом я пошел в школу, где проявил себя недурно; затем, как я уже говорил, отец послал меня в оба университета... Знаете, мисс Винрэс, вы заставили меня задуматься. Как мало, в сущности, человек может рассказать другим о своей жизни! Вот сижу я, вот вы — не сомневаюсь, что мы оба пережили много интересного, полны мыслей, чувств — но как передать это другому? Я рассказал вам то же самое, что вы услышите от каждого второго.

— Не думаю, — сказала Рэчел. — Важно как рассказывать, а не что, разве нет?

— Верно, — сказал Ричард. — Совершенно верно. — Он сделал паузу. — Оглядываясь на свою жизнь — а мне сорок два, — какие я вижу выдающиеся события? Какие прозрения, если можно так выразиться? Страдания бедных и... — Он помедлил, откидываясь на спинку кресла. — Любовь!

Это слово он произнес тише, но именно оно будто отверзло для Рэчел небеса.

— Неловко говорить это молодой девушке, — продолжил он, — но понимаете ли вы, что я хочу этим сказать? Нет, конечно нет. Я не применяю это слово в общепринятом смысле. Я имею в виду именно то, что имеют в виду молодые люди. Девушек держат в неведении, не так ли? Возможно, это разумно — возможно. Вы ведь не знаете, что это?

Он говорил так, словно перестал осознавать, что говорит.

— Нет, не знаю, — сказала Рэчел, едва способная произносить слова от участившегося дыхания.

— Военные корабли, Дик! Вон там! Смотри!

К ним, жестикулируя, спешила Кларисса, которая только что освободилась от мистера Грайса и была под впечатлением от его водорослей.

Она заметила два зловещих серых судна с низкой посадкой, лишенных всякой внешней оснастки, отчего они казались лысыми. Корабли шли близко один за другим и были похожи на безглазых хищников в поисках добычи. Ричард мгновенно пришел в себя.

— Ух ты! — воскликнул он, загораживая глаза от солнца.

— Наши, Дик? — спросила Кларисса.

— Средиземноморский флот.

«Евфросина» медленно приспустила флаг, салютуя. Ричард снял шляпу. Кларисса судорожно сжала руку Рэчел.

— Вы рады, что вы англичанка? — спросила миссис Дэллоуэй.

Военные корабли прошли мимо, распространяя над водами атмосферу суровости и печали, и, лишь когда они скрылись из виду, люди снова смогли говорить друг с другом как обычно. За обедом речь шла о доблести, смерти и о блестательных качествах английских адмиралов. Кларисса процитировала одного поэта, Уиллоуби — другого. Они согласились, что жизнь на борту военного судна прекрасна, а моряки, когда их встречаешь, исключительно милы и просты в общении.

Поэтому никому не понравилось, когда Хелен заметила, что, по ее мнению, вербовать и держать моряков так же дурно, как держать зоопарк, а что касается смерти на поле боя, то давно пора прекратить воспевание доблести. «И писать об этом плохие стихи», — буркнул Пеппер.

При этом Хелен была озадачена тем, что Рэчел за обедом сидела молча и с таким странным выражением на раскрасневшемся лице.

Глава 5

Впрочем, она не смогла продолжить свои наблюдения или прийти к каким-либо выводам, потому что течение их жизни было нарушено одним из тех происшествий, которые так обыкновенны в море.

Уже когда они пили чай, пол вздымался под ногами и проваливался слишком низко, а во время обеда судно стонало и напрягалось, как будто его стегали бичами. «Евфросина», напоминавшая широкозадую ломовую лошадь, на чьем крупе могут танцевать клоуны, — сейчас превратилась в жеребенка, скачущего по полю. Тарелки отъезжали от ножей, и лицо миссис Дэллоуэй на секунду побледнело, когда она захотела взять себе гарнир и увидела, что картофелины перекатываются туда-сюда. Уиллоуби, разумеется, превозносил достоинства «Евфросины» и повторял то, что говорили о ней знатоки и всякие именитые пассажиры, — он очень любил свой корабль. Тем не менее ужин прошел напряженно, а как только дамы остались одни, Кларисса призналась, что ей гораздо лучше будет в постели, и ушла, храбро улыбаясь.

Наутро шторм бушевал вовсю, и против него были бессильны любые приличия. Миссис Дэллоуэй осталась в своей каюте. Ричард явился на три трапезы и каждый раз героически ел, но на третий раз вид скользкой спаржи, плававшей в масле, доконал его.

— Это выше моих сил, — сказал он и удалился.

— Ну вот, мы опять одни, — заметил Уильям Пеппер, оглядывая сидящих за столом; однако никто не проявил желания поддержать беседу, и обед завершился в молчании.

На следующий день люди встречались — но как летающие листья встречаются в воздухе. Их не мучило, но ветер загонял их в помещения, толкал вниз по лестницам. Видя друг друга на палубе, они проходили не останавливаясь, хватая ртом воздух, за столом им приходилось кричать. Они надели шубы, а Хелен нигде не появлялась без косынки на голове. Стремясь к удобству, они искали убежища в своих каютах, где, получше упервшись ногами, терпели толчки и броски корабля. Они чувствовали то же, что чувствует картофель в мешке, который привязан к седлу скачущей лошади. Мир за бортом превратился в бурную серую неразбериху. Два дня мореплаватели могли отдыхать от своих обычных ощущений. У Рэчел хватало сил лишь на то, чтобы представлять себя взъерошенным осликом на пустынном холме во время бури с градом; потом она превратилась в засохшее дерево, которое без устали клонит к земле соленый ветер с океана.

Хелен была настроена иначе: она добралась до каюты миссис Дэллоуэй, постучала, что было бесполезно из-за хлопанья дверей и воя ветра, и вошла.

Разумеется, там стояли тазики. Миссис Дэллоуэй полулежала на подушке, глаз она не открыла, а только пробормотала:

— Дик, это ты?

Хелен закричала — потому что в этот момент ее швырнуло на умывальник:

— Как вы?

Кларисса открыла один глаз, что придало ее лицу невероятно разгульное выражение.

— Ужасно! — выдохнула она. Ее губы побелели изнутри.

Широко расставив ноги, Хелен изловчилась налить шампанского в бокал, из которого торчала зубная щетка.

— Шампанское, — сказала она.

— Там зубная щетка, — проговорила Кларисса и улыбнулась, хотя с такой же гримасой можно было бы и зарыдать.

Она выпила.

— Гадость, — прошептала она, указывая на тазики. Остатки юмора, словно блеклые лунные лучи, осветили ее лицо.

— Еще хотите?! — прокричала Хелен. Дар речи опять покинул Клариссу. Ветер заставил трепещущее судно лечь на борт. Дурнота волнами накатывала на миссис Дэллоуэй. Когда занавески приподнимались, ее фигуру озарял серый свет. Между ударами шторма Хелен закрепила занавески, взбила подушки, расправила простыни, смочила разгоряченные ноздри и лоб холодными духами.

— Вы так добры! — вздохнула Кларисса. — Здесь жуткий беспорядок.

Она попыталась извиниться за нижнее белье, разбросанное по полу. Открыв один глаз на секунду, она увидела, что в каюте прибрано, и сказала:

— Как это мило.

Хелен оставила ее. В глубине души она чувствовала что-то вроде симпатии к миссис Дэллоуэй. Она не могла не уважать ее присутствие духа и стремление к порядку в спальне даже в муках морской болезни. Ее нижние юбки, правда, задрались выше колен.

Довольно внезапно шторм ослабил напор. Это случилось во время чаепития: ожидаемый пароксизм бури достиг апогея и вдруг иссяк, выдохся, а судно, вместо того чтобы, как обычно, совершить нырок, пошло прямо. Нарушилась однообразная череда взлетов и падений, грохота и краткого затишья, и каждый из сидевших за столом поднял голову и почувствовал, как внутри что-то отпустило. Напряжение спало, и человеческие чувства начали понемногу входить в свои права, как бывает, когда в конце темного тоннеля покажется свет.

— Давай попробуем прогуляться, — предложил Ридли Рэчел.

— Это глупо! — крикнула Хелен, но они уже шли, борясь с качкой, вверх по лестнице. Едва не задохнувшись ветром, они воспряли сердцем: на горизонте среди серой мешанины виднелась туманная золотая прогалина. Мгновенно мир обрел форму; они уже чувствовали себя не атомами, летающими в пустоте, но людьми, которые пересекают море на борту корабля-победителя. Пришло избавление от ветра и бездны; мир плавал, как яблоко в ведре, а человеческий разум, который тоже было сорвался с якоря, опять прикрепил себя к привычной вере.

С трудом сделав два круга по судну, получив от ветра немало безжалостных ударов, они заметили отчетливый золотой отсвет на лице матроса. Обернувшись, они увидели чистый и желтый солнечный диск. Через минуту его перечеркнули стремительные пряди облаков, а затем он и вовсе скрылся. Однако на следующее утро, к завтраку, небо совершенно очистилось, волны, хотя еще и высокие, стали синими, а люди, недавно походившие на призраки подземного мира, с утроенной энергией продолжили свою жизнь среди чайников и кусков хлеба.

Ричард и Кларисса, однако, все еще пребывали на грани бытия. Она лежала в постели и даже не пыталась сесть. Ее муж встал, посмотрел на свои жилет и брюки, покачал головой и лег обратно. У него в голове все по-прежнему вздымалось и падало — как бутафорское море на театральной сцене. В четыре часа он проснулся и увидел живой солнечный зигзаг на красных плюшевых занавесках и своих серых твидовых брюках. Привычный внешний мир проник в его сознание, и, когда Ричард оделся, он был уже опять английским джентльменом.

Ричард стоял рядом с лежащей женой. Она притянула его к себе за лацкан пиджака, поцеловала и минуту не отпускала.

— Иди подыши воздухом, Дик, — сказала она. — У тебя измотанный вид... Как хорошо ты пахнешь!.. И будь учтив с этой женщиной. Она была ко мне так добра.

Вслед за этим миссис Дэллоуэй передвинулась на прохладную часть своей подушки, до крайности сплющенной, но все-таки державшей форму.

Ричард застал Хелен беседующей с зятем; перед ними на двух тарелках лежали желтый

кекс и куски хлеба, покрытые ровным слоем масла.

— Вы выглядите очень больным! — воскликнула она. — Садитесь и выпейте чаю.

Ричард отметил красоту рук, летавших над чашками.

— Я слышал, вы были очень добры к моей жене, — сказал он. — Ей пришлось тяжко. А вы навестили ее, напоили шампанским. Вы сами избавлены от этой муки?

— Я? О, меня не мутит уже лет двадцать. Я имею в виду, от морской болезни.

— Я всегда говорю, что есть три стадии выздоровления, — бодро вступил Уиллоуби. — Молочная стадия, стадия хлеба с маслом и стадия ростбифа. Думаю, вы сейчас в стадии хлеба с маслом. — Он протянул Ричарду тарелку. — Рекомендую как следует напиться чая и быстрым шагом пройтись по палубе. К обеду вы потребуете мяса! — Он засмеялся и ушел, сославшись на неотложные дела.

— Чудесный человек! — сказал Ричард. — Неизменно чем-то воодушевлен.

— Да, — согласилась Хелен. — Он всегда был таким.

— Его предприимчивость восхищает, — продолжил Ричард. — И, полагаю, дело не ограничится кораблями. Мы еще увидим его в парламенте, если я не ошибаюсь. Нам в парламенте нужны как раз такие люди — те, кто делает дело.

Но для Хелен зять был не слишком интересен.

— У вас, наверное, болит голова? — спросила она, наливая Ричарду вторую чашку.

— Болит, — сказал он. — Унизительно убеждаться, насколько мы в рабстве у своего тела. Знаете, я не могу работать без горячего чайника. Чай я пью не так уж часто, но я должен знать, что смогу его выпить, если захочу.

— Это очень вредно, — сказала Хелен.

— Это укорачивает жизнь; но, думаю, миссис Эмброуз, мы, политики, не имеем права бояться этого. Политику приходится гореть на работе, иначе...

— У него ничего не выгорит! — сообразила Хелен.

— Мы не можем заставить вас принимать нас всерьез, миссис Эмброуз, — возразил Ричард. — Позвольте спросить, чему вы отдаете свое время? — Он взглянул на ее книгу. — Чтению, философии? — Затем он воскликнул: — Метафизика и рыбная ловля! Если бы начинать жизнь сначала, думаю, я посвятил бы себя тому или другому. — Он начал листать страницы.

— «Таким образом, добро неопределимо», — прочитал он вслух. — Как приятно сознавать, что все это продолжается! «До сих пор, насколько мне известно, лишь один автор, пишущий об этике — профессор Генри Сиджвик, — отчетливо признал и установил этот факт» [\[23\]](#). Как раз о таких вещах мы любили поговорить в юности. Помню, мы с Даффи — теперь он министр по делам Индии — спорили до пяти утра, делая круг за кругом по галереям, пока не поняли, что спать ложиться уже не имеет смысла, и не поехали кататься верхом. Пришли мы к какому-либо заключению или нет — это уже другой вопрос. Ведь суть — в самом споре. Такие моменты запоминаются на всю жизнь. Ничего более яркого у меня с тех пор не было. Да, философы, ученыe, — продолжил он, — вот кто хранит огонь, поддерживает пламя, дающее всем нам жизнь. Не всякий политик к этому слеп, миссис Эмброуз.

— Разумеется, не всякий, — сказала Хелен. — Вы не помните, ваша жена пьет с сахаром?

Она взяла поднос и отправилась с ним к миссис Дэллоуэй.

Ричард дважды обернулся шею шарфом и с усилием понес себя наверх, на палубу. Его тело, ставшее белым и нежным в темном помещении, все затрепетало на свежем воздухе. Ричард снова почувствовал себя мужчиной в расцвете сил. Он стоял, твердо снося порывы ветра, и в глазах его блестела гордость. Затем он наклонил голову, обогнулся угол и пошел прямо против ветра. Тут случилось столкновение. Секунду он не мог понять, на кого налетел. «Простите!» —

«Простите!» Извинявшейся оказалась Рэчел. Они оба засмеялись, потому что говорить не давал ветер. Она открыла дверь своей каюты и вступила в ее спокойный мирок. Чтобы обратиться к Рэчел, Ричард был вынужден последовать за ней. Вокруг них завертелся вихрь, бумаги полетели по кругу, дверь громко хлопнула. Смеясь, они упали в кресла. Ричард сел на Баха.

— Боже мой! Ну и буря! — воскликнул он.

— Здорово, правда? — сказала Рэчел. Борьба со стихией определенно добавила ее облику решимости, которой ему недоставало: румянец заиграл на щеках, волосы растрепались.

— Надо же, как смешно! — закричал Ричард. — На чем это я сижу? Это ваша каюта? Чудесно!

— Сюда, сядьте сюда, — скомандовала Рэчел. Каупер опять упал.

— Как приятно снова встретиться, — сказал Ричард. — Кажется, сто лет прошло. «Письма» Каупера... Бах... «Грозовой перевал»... Значит, здесь вы размышляете о мире, чтобы потом выйти и задавать политикам вопросы? Когда морская болезнь слегка отпускала, я много думал о нашей беседе, поверьте — вы натолкнули меня на некоторые мысли.

— Я?! Каким образом?

— Я подумал, что мы — одинокие айсберги, мисс Винрэс! Как поверхностно наше общение! Я хотел бы так много рассказать вам, а потом узнать ваше мнение. Например, вы читали Бёрка? [\[24\]](#)

— Бёрка? — переспросила она. — Кто такой Бёрк?

— Не читали? Что ж, тогда я вам обязательно вышлю одну из его книг. «Речь о Французской революции», «Американский мятеж»? Что же лучше? — Он что-то пометил в своей записной книжке. — А потом вы должны написать мне, что вы думаете. Скрытность, разобщенность — вот что отличает современную жизнь! Ну, расскажите мне о себе. Какие у вас интересы, занятия? Я предполагаю, что вы человек с очень глубокими интересами. Ну, разумеется! Боже правый! Только подумать, в какой век мы живем, сколько он дает возможностей, сколько дорог открывает! Сколько можно сделать, сколько радостей испытать! И почему нам дается не десять жизней, а лишь одна? Но — давайте о вас.

— Видите ли, я женщина, — сказала Рэчел.

— Я понимаю, понимаю. — Ричард откинул голову и потер пальцами глаза. — Как, наверное, странно быть женщиной! Молодой и красивой женщиной, — многозначительно продолжил он. — Весь мир — у ваших ног. Это правда, мисс Винрэс. Вы обладаете неизмеримой силой, годной и для добра, и для зла. Что вы не можете, так это... — Он осекся.

— Что? — спросила Рэчел.

Корабль накренился, отчего Рэчел немного подалась вперед. Ричард обнял ее и поцеловал. Объятия его были крепкими, поцелуй — страстным, Рэчел почувствовала, какое плотное у него тело и как шероховата щека, прижатая к ее щеке. Она откинулась назад, сердце забилось сильно и тяжело, и от каждого удара по глазам проходила черная волна. Ричард сжал руками свой лоб.

— Вы меня искушаете, — сказал он. Его голос звучал пугающе. Он задыхался, как после схватки. Обоих била дрожь. Рэчел встала и вышла. Ее сознание будто оцепенело, колени тряслись, а волнение причиняло ей такую физическую боль, что она могла идти только в перерывах между приступами сердцебиения. Облокотясь на палубное ограждение, она, по мере того как холод пронизывал ее тело и душу, постепенно приходила в себя. Вдалеке на волнах качались небольшие черно-белые птицы. Изящно и плавно поднимаясь и опускаясь во впадины между волнами, они казались особенно отстраненными и безучастными.

— Вам-то спокойно, — сказала Рэчел. Ее тоже обял покой, смешанный с непривычным воодушевлением. Ей казалось, что жизнь полна неисчислимых возможностей, о которых она раньше не подозревала. Она перегнулась через леер и стала смотреть на неспокойные серые

воды, на волны, исчерченные прерывистыми солнечными бликами, пока не замерзла и совершенно не успокоилась. И все-таки в ее жизни произошло что-то чудесное.

Однако за ужином она чувствовала не возбуждение, а лишь неловкость, как будто они с Ричардом увидели нечто скрываемое в обыденной жизни, и поэтому теперь им было неловко смотреть друг на друга. Один раз Ричард скользнул по ней смущенным взглядом и больше не смотрел на нее. Формальные банальности произносились с трудом, зато Уиллоуби был полон энтузиазма.

— Говядина для мистера Дэллоуэя! — крикнул он. — Прошу вас — после прогулки вы перешли в стадию мяса, Дэллоуэй!

Последовали чудные мужские рассказы о Брайте [25] и Дизраэли, о коалиционных правительствах — чудные рассказы, от которых присутствовавшие за столом люди представали безликими и ничтожными. После ужина, сидя под большой висячей лампой рядом с Рэчел, Хелен была поражена ее бледностью. Опять она подумала, что в поведении девушки есть нечто странное.

— У тебя утомленный вид. Ты устала? — спросила Хелен.

— Нет, не устала, — сказала Рэчел. — А, да, наверное, устала.

Хелен посоветовала ей лечь в постель, и Рэчел ушла, так больше и не увидев Ричарда. Вероятно, она действительно была сильно утомлена, потому что заснула сразу, час или два проспала без сновидений, но потом все-таки увидела сон. Ей снилось, что она идет по длинному туннелю, который постепенно становится таким узким, что она может дотронуться до кирпичных стен по обе стороны. А потом туннель превратился в подземный зал, и Рэчел не могла найти из него выхода — куда бы она ни повернулась, везде натыкалась на кирпичную стену, к тому же наедине с ней в зале был уродливый коротышка с длинными ногтями, который сидел на корточках и бессвязно бормотал. Его рябое лицо было похоже на звериную морду. Стена за ним источала влагу, которая собиралась в капли и стекала вниз. Рэчел лежала, неподвижная и объятая мертвенным холодом, боясь пошевельнуться, пока наконец она не прервала эту муку, бросив свое тело поперек кровати, и не проснулась с криком.

Свет показал ей знакомые вещи: одежду, упавшую со стула, и блестящий белый кувшин с водой. Однако ужас оставил ее не сразу. Рэчел все еще казалось, что ее кто-то преследует, поэтому она встала и заперла дверь. Стонущий голос звал ее, глаза желали ее. Ночью рослые берberы заполонили судно; они шаркали по проходам, останавливались у ее двери и сопели. Ей опять не спалось.

Глава 6

— В этом трагедия жизни — я всегда говорю! — сказала миссис Дэллоуэй. — Все, что начинаешь, приходится заканчивать. И все же этому не позволю закончиться, если вы не против.

Было утро, море было спокойно, и судно опять стояло на якоре невдалеке от берега, хотя уже другого. Кларисса была одета в длинное меховое манто, ее лицо скрывала вуаль, и вновь рядом одна на другой стояли роскошные коробки — все выглядело так же, как несколько дней назад.

— Вы думаете, мы когда-нибудь встретимся в Лондоне? — с иронией спросил Ридли. — Вы забудете о моем существовании, как только окажетесь вон там.

И он указал на берег небольшой бухты, где были видны редкие деревья с качающимися ветками.

— Вы кошмарный человек! — засмеялась Кларисса. — В любом случае Рэчел меня навестит — сразу, как вы вернетесь, — сказала она, сжимая руку Рэчел. — И никаких отговорок!

Серебряным карандашом она написала свое имя и адрес на форзаце «Доводов рассудка» и подарила книгу Рэчел. Матросы подняли багаж на плечо, и люди стали собираться. На палубе еще стояли капитан Кобболд, мистер Грайс, Уиллоуби, Хелен и незаметный учтивый человек в синем шерстяном костюме.

— Ах, пора, — сказала Кларисса. — Ну, до свидания. Вы мне очень нравитесь, — шепнула она, целуя Рэчел. Люди, оказавшиеся между Рэчел и Ричардом, освободили его от необходимости пожать ей руку. Он сумел посмотреть на нее очень холодно за секунду до того, как последовал за своей женой вниз, прочь с борта корабля.

Отделившись от судна, шлюпка взяла курс на берег, и Хелен, Ридли и Рэчел еще несколько минут следили за ней, перегнувшись через ограждение. Один раз миссис Дэллоуэй обернулась и помахала, но шлюпка все уменьшалась и уменьшалась и, наконец, перестала скакать на волнах, и ничего уже не было видно, кроме двух прямых спин.

— Вот и все, — сказал Ридли после долгой паузы. — Мы никогда их больше не увидим, — добавил он, поворачиваясь, чтобы удалиться к своим книгам. Женщин охватили ощущение пустоты и печаль. В глубине души они знали, что действительно расстались с новыми знакомыми навсегда, и это угнетало их сильнее, чем следовало бы, учитывая, сколь непродолжительным было общение. Как только шлюпка отчалила, они почувствовали, что место Дэллоуэев занимают другие образы и звуки, и это ощущение было столь неприятно, что они попытались ему воспротивиться. Как будто иначе их самих ожидало бы такое же забвение.

После отъезда гостей Хелен твердо вознамерила привести жизнь в прежний порядок — ею завладело почти то же настроение, что и миссис Чейли, которая внизу сметала с туалетного столика засохшие розовые лепестки. Рэчел была легкой добычей — из-за своей вялости и апатии, — и Хелен изобрела что-то вроде ловушки. Теперь она была вполне уверена, что произошло нечто важное; кроме того, она решила, что отчуждение между ними уже пора преодолеть. Она хотела узнать девушку поближе, в том числе и потому, что Рэчел не проявляла к этому никакого расположения. Когда они отвернулись от леера, Хелен сказала:

— Идем, поговорим, а позанимаешься потом, — и направилась на защищенную от ветра сторону, где под солнцем стояли шезлонги.

Рэчел безразлично пошла за ней. Ее голова была занята Ричардом, крайней странностью происшедшего и множеством дотоле незнакомых чувств. Она не слишком прислушивалась к

словам Хелен, тем более что та позволила себе начать разговор с банальностями. Пока миссис Эмброуз расправляла вышивку и вставляла нитку в иголку, Рэчел смотрела на горизонт, откинувшись в шезлонг.

— Тебе понравились эти люди? — как бы между делом спросила Хелен.

— Да, — безучастно ответила Рэчел.

— Ты с ним говорила?

Рэчел с минуту помолчала.

— Он поцеловал меня, — сказала она тем же тоном.

Хелен вздрогнула и посмотрела на Рэчел, но не смогла понять, что та чувствует.

— М-м-да, — вымолвила Хелен после паузы. — Я подозревала, что он из таких мужчин.

— Из каких?

— Из напыщенных и сентиментальных.

— Мне он понравился, — сказала Рэчел.

— Значит, ты была не против?

Впервые за все время, что Хелен знала Рэчел, в глазах девушки появился огонь.

— Я не была против, — горячо сказала она. — Мне снились сны, я не могла спать.

— Как это было? — спросила Хелен. Слушая Рэчел, ей приходилось сдерживать улыбку.

Рассказ был изложен страстно, с величайшей серьезностью, без намека на юмор.

— Мы говорили о политике. Он рассказывал о том, что сделал для каких-то бедняков. Я задавала разные вопросы. Он вспоминал свою жизнь. Позавчера, после шторма, он зашел ко мне. Тогда это и случилось, довольно внезапно. Он поцеловал меня. Не знаю почему. — Румянец на ее щеках становился все ярче. — Я была сильно взволнована. Но против я не была — до тех пор, пока... — она запнулась, вспомнив наглого уродца, — пока мне не стало страшно.

По ее взгляду было ясно, что ее опять охватил страх. Хелен, всерьез растерявшись, не знала, что и сказать. О воспитании Рэчел она знала немного, но могла предположить, что относительно вопросов пола ту держали в неведении. Хелен всегда стеснялась обсуждать эти темы именно с женщинами, поэтому она не могла все рассказать Рэчел прямо как есть. Она избрала другую тактику и постаралась умалить значимость события.

— Что ж, — сказала она. — Он глупец, и на твоем месте я об этом больше не думала бы.

— Нет, — ответила Рэчел, садясь прямо. — Наоборот. Я буду об этом думать весь день и всю ночь, пока не выясню точно, что это значит.

— Ты что, совсем не читала книг? — осторожно спросила Хелен.

— «Письма» Каупера и все в этом роде. Мне дают книги отец или тетушки.

Хелен едва сдержалась от того, чтобы ясно выразить свое отношение к человеку, который вырастил двадцатичетырехлетнюю дочь, не знающую о влечении мужчины к женщине и поэтому пришедшую в ужас от поцелуя. Не исключено, что Рэчел при этом вела себя весьма нелепо.

— Среди твоих знакомых мало мужчин, да? — спросила Хелен.

— Мистер Пеппер, — с иронией сказала Рэчел.

— И никто не делал тебе предложения?

— Никто, — последовал простодушный ответ.

Хелен рассудила, что на основании сказанного ею Рэчел остыньше додумает сама и это ей хоть как-то поможет.

— Не стоит пугаться, — начала Хелен. — Это самое естественное из всего, что есть на свете. Мужчины хотят целовать женщин так же, как жениться на них. Плохо, когда нарушаются пропорции. Это все равно что обращать внимание на звуки, производимые людьми во время еды, или замечать, как они плюют — одним словом, замечать любую мелочь, действующую на

нервы.

Но Рэчел как будто не слышала ее объяснений.

— Скажите, — вдруг спросила она, — а что это за женщины стоят на Пикадилли?

— На Пикадилли? Проститутки, — сказала Хелен.

— Это ужасно, это мерзко! — заявила Рэчел, как будто ее отвращение относилось и к Хелен.

— Да, — сказала Хелен, — но...

— Он мне правда нравился, — тихо и задумчиво, будто сама себе, сказала Рэчел. — Мне хотелось говорить с ним, хотелось узнать о его делах. Женщины в Ланкашире...

Она вспомнила ту беседу, и ей показалось, что в Ричарде было что-то милое, в попытке их дружбы — что-то хорошее, а в расставании — что-то странно-печальное.

Настроение Рэчел явно смягчилось, и Хелен это заметила.

— Видишь ли, — сказала она. — Надо принимать все как есть. Хочешь водить дружбу с мужчинами — будь готова к риску. Лично я, — она не сдержала улыбку, — думаю, что дело того стоит; я не против, чтобы меня целовали; и я, пожалуй, даже очень завидую, что мистер Дэллоуэй тебя поцеловал, а меня — нет. Хотя, — добавила она, — на меня он нагнал порядочную скуку.

Но Рэчел не улыбнулась в ответ и не выбросила всю историю из головы, как хотела бы Хелен. Ум девушки работал быстро, непоследовательно и мучительно. Слова Хелен будто обрушили привычные высокие ограждения, и все оказалось залито новым холодным светом. Посидев какое-то время с остановившимся взглядом, Рэчел выпалила:

— Вот почему мне нельзя гулять одной!

В этом новом свете она впервые увидела свою жизнь как жалкое, прижатое к земле и отгороженное от всего мира создание, которое осторожно ведут между высоких стен, заставляя то свернуть в сторону, то погрузиться в темноту; убогое и уродливое существо — это ее жизнь, единственная, другой не будет... Тысячи слов и действий стали вдруг ей понятны.

— Потому что мужчины — животные! Ненавижу мужчин! — воскликнула она.

— Ты же сказала, что он тебе понравился, — сказала Хелен.

— Понравился, и, когда он меня целовал, мне тоже понравилось, — ответила Рэчел, с таким видом, как будто все это лишь еще больше затрудняло положение.

Потрясение и растерянность Рэчел были настолько искренни, что Хелен была немало удивлена, но не могла придумать иного способа разрешить ситуацию, кроме как с помощью беседы. Она хотела разговорить племянницу и понять, почему этот довольно скучный, благодушный, респектабельный политик произвел на нее такое глубокое впечатление, — ведь считать это естественным для двадцатичетырехлетнего возраста было нельзя.

— А миссис Дэллоуэй тебе тоже понравилась? — спросила она.

При этих словах Рэчел покраснела: она вспомнила все сказанные ею самой глупости, а еще ей пришло в голову, что она весьма дурно поступила с этой замечательной женщиной, ведь миссис Дэллоуэй говорила, что любит мужа.

— Она довольно мила, хотя мозги у нее куриные, — продолжила Хелен. — В жизни не слышала подобной чепухи! Щебечет, щебечет — рыба, греческий алфавит — других не слушает — ворох идиотских теорий, как надо воспитывать детей, — по мне куда лучше беседовать с ним. Он, конечно, надутый, но хоть понимает, что ему говорят.

Незаметно очарование и Ричарда, и Клариссы поблекло. Оказывается, в глазах зрелого человека они были вовсе не такими уж чудесными.

— Трудно понять, каковы люди на самом деле, — сказала Рэчел, и Хелен с удовольствием отметила, что она говорит уже естественнее. — Наверное, я обманулась.

В этом для Хелен не было никаких сомнений, но она сдержалась и громко сказала:

— Иногда надо экспериментировать.

— Все-таки они правда очень милые, — сказала Рэчел. — И очень интересные. — Она постаралась вызвать в памяти представленный Ричардом образ мира как живого организма, в котором трубы — вместо нервов, а дурные дома подобны лишаям на коже. Она вспомнила его слова-монументы — «Единство», «Воображение» — и стайку пузырьков в своей чашке, которые она видела, когда он рассказывал о сстрахах, канарейках, детстве и о своем отце, от чего ее маленький мир так восхитительно расширялся.

— Но не все люди одинаково интересны, правда? — спросила миссис Эмброуз.

Рэчел объяснила, что до сих пор многие люди в ее представлении сводились к символам, но когда они начинали говорить с ней, то переставали быть символами и превращались...

— Я могла бы слушать их вечно! — воскликнула она. Затем вскочила, исчезла внизу и через минуту вернулась с толстой красной книгой. — «Кто есть кто», — сказала она, кладя книгу на колени Хелен и начиная листать страницы. — Тут краткие биографии разных людей. Например: «Сэр Роланд Бил; родился в 1852; родители — из Моффатта; учился в Рагби; поступил в инженерные войска; женился в 1878 на дочери Т. Фишвика; в 1884—85 гг. принимал участие в Бечуаналендской экспедиционной кампании (заслуги отмечены). Клубы: „Юнайтед сервис“, Военно-морской и Военный. Увлечения: заядлый игрок в керлинг».

Она села на палубу у ног Хелен и стала дальше переворачивать страницы и читать биографии банкиров, писателей, священнослужителей, моряков, врачей, судей, профессоров, государственных деятелей, издателей, филантропов, торговцев и актрис; кто в какие были записан клубы, где жил, в какие игры играл и сколькими акрами земли владел.

Книга увлекла ее.

Тем временем Хелен вышивала и думала о том, что они сказали друг другу. Вывод она сделала такой: ей очень хочется показать племяннице, если это будет возможно, как надо жить, или — ее словами — как быть разумным человеком. Ей казалось, что возникла досадная путаница между политикой и поцелуями политика, и тут необходима помощь старшего.

— Я совершенно согласна, — сказала Хелен, — что люди интересны, только... — Тут Рэчел, заложив книгу пальцем, подняла голову и вопросительно посмотрела на Хелен. — Только я думаю, надо быть разборчивой, — закончила Хелен. — Обидно сблизиться с людьми, а потом понять, что они... ну, посредственны, как Дэллоуэй.

— Но как понять это сразу? — спросила Рэчел.

— Ох, не могу тебе сказать, — честно ответила Хелен, на мгновение задумавшись. — Это тебе придется выяснить самой. Но ты попробуй и... Может, будешь называть меня «Хелен»? — добавила она. — «Тетя» — неприятное обращение. Мои тетки никогда не вызывали у меня теплых чувств.

— Да, я хотела бы называть вас «Хелен», — ответила Рэчел.

— Ты считаешь меня очень черствой?

Рэчел припомнила моменты, когда Хелен была не способна что-то понять. Причиной, как правило, была почти двадцатилетняя разница между ними, из-за которой миссис Эмброуз относилась к некоторым важным вопросам слишком иронично и спокойно.

— Нет, — сказала Рэчел. — Кое-что вы не понимаете, конечно...

— Конечно, — согласилась Хелен. — Ну вот, теперь ты можешь быть сама собой, — добавила она.

Образ своей собственной личности как чего-то существенного и постоянного, отличного от всего остального, непоглотимого, как море или ветер, — этот образ возник в сознании Рэчел, и ее охватили волнение и радость от мысли, что она живет на свете.

— Я м-могу быть сама с-собой, — заикаясь, начала она, — независимо от вас, от Дэллоуэев, и от мистера Пеппера, и от отца, и от моих тетушек, и от всех них? — И она провела рукой по странице, населенной политиками и военными.

— Независимо ни от кого, — серьезно сказала Хелен. Затем она воткнула иголку и изложила план, который пришел ей в голову во время разговора. Вместо того чтобы тащиться по Амазонке до какого-то раскаленного тропического порта, где надо лежать весь день взаперти и отгонять веером насекомых, было бы разумнее пожить с Эмброузами на их приморской вилле, где среди других преимуществ будет и сама миссис Эмброуз, которая окажется весьма кстати, чтобы... — В конце концов, Рэчел, — оборвала она сама себя, — глупо делать вид, что из-за этих двадцати лет разницы мы с тобой не можем разговаривать как люди.

— Может, потому, что мы по душе друг другу, — сказала Рэчел.

— Да, — согласилась миссис Эмброуз.

Сей факт и еще несколько других стали ясными благодаря двадцатиминутной беседе, хотя из чего именно они вытекали, сказать было невозможно.

Но это было так, и через пару дней обе вполне серьезно решили, что миссис Эмброуз стоит разыскать зятя. Он сидел в своей каюте и работал — с важным видом водил толстым синим карандашом по тонкой бумаге. Стопки бумаги лежали повсюду — справа и слева от него, а огромные конверты были так набиты бумагой, что извергали ее на стол. Над Уиллоуби висела фотография — голова женщины. Из-за того, что ей пришлось неподвижно сидеть перед фотографом-кокни, она собрала губы в смешной сморщеный кружочек, а глаза по той же причине смотрели так, будто все происходившее казалось ей нелепым. Тем не менее это было лицо интересной женщины с ярко выраженной индивидуальностью, и она, несомненно, отвернулась бы и посмеялась бы над Уиллоуби, если бы могла встретиться с ним взглядом. Он, однако, посмотрев на фотографию, тяжело вздохнул. Всю свою деятельность — большие заводы в Халле, которые ночью были похожи на горы, корабли, точно по расписанию, пересекавшие океан, хитроумные замыслы, как соединить одно с другим, чтобы наладить надежное и мощное дело, — все свои успехи он считал приношением ей; кроме того, он постоянно думал, как воспитать дочь, чтобы это понравилось Терезе. Он был очень честолюбивым человеком, и, хотя при жизни жены, как думала Хелен, был не слишком добр к ней, теперь он верил, что Тереза смотрит на него с небес и пробуждает все хорошее, что в нем есть.

Миссис Эмброуз извинилась за вторжение и спросила, нельзя ли обсудить с ним кое-какой план. Разрешит ли он дочери остаться с ними на побережье вместо того, чтобы брать ее на Амазонку?

— Мы о ней позаботимся, — добавила Хелен, — и будем очень рады.

Уиллоуби с торжественно-серезным видом аккуратно отодвинул в сторону свои бумаги.

— Она славная девочка, — наконец сказал он. — Сходство есть? — Он со вздохом кивнул на фотографию Терезы.

Хелен посмотрела на Терезу, поджавшую губы перед фотографом-кокни. У нее был неуместно живой и забавный вид, и Хелен вдруг очень захотелось пошутить.

— У меня никого нет, кроме нее, — вздохнул Уиллоуби. — Год за годом мы избегаем разговоров на эти темы... — Он замолчал. — Но так лучше. Только тяжеловато.

Хелен стало жаль Уиллоуби, и она похлопала его по плечу, но ей всегда бывало неловко, когда зять выражал свои чувства, поэтому она нашла убежище в похвалах по адресу Рэчел и объяснениях, почему план кажется ей удачным.

— Верно, — сказал Уиллоуби, когда она закончила. — Бытовые условия будут, скорее всего, убогие. Я буду часто отсутствовать. Я согласился, потому что она этого хотела. И потом, я, разумеется, полностью доверяю тебе... Видишь ли, Хелен, — продолжил он, переходя на

конфиденциальный тон, — я хочу воспитать ее так, как пожелала бы ее мать. Я не поддерживаю этих современных взглядов — как и ты, правда? Она милая тихая девушка, погруженная в свою музыку — хотя этого было бы не вредно чуть поменьше. Но музыка доставляет ей радость, мы ведь в Ричмонде ведем жизнь очень тихую. Я хочу, чтобы она начала больше общаться с людьми. Вернемся домой — буду чаще брать ее с собой. Даже подумываю снять дом в Лондоне, сестер оставить в Ричмонде, а ее вывезти, чтобы она познакомилась с людьми, которые будут к ней добры. Я начинаю понимать, — продолжил он, потягиваясь, — что все идет к парламенту, Хелен. Это единственный способ добиться того, что считаешь нужным. Я говорил об этом с Дэллоуэем. Если это будет, я, конечно, захочу, чтобы Рэчел принимала большее участие в жизни. Придется что-то устраивать — званые ужины, а иногда и веселительный вечер. Избирателей надо подкармливать, я полагаю. В этих делах Рэчел может оказать мне большую помощь. Так что, — заключил он, — я буду очень рад, если мы договоримся об этом визите (на деловой основе, конечно), если ты как-то поможешь моей девочке преодолеть застенчивость — сейчас она немного робкая, — пробудить в ней женщину — такую, какой Рэчел хотела бы видеть ее мать. — Он опять качнул головой в сторону фотографии.

Эгоизм Уиллоуби, хотя и соединенный с искренней любовью к дочери, добавил Хелен решимости оставить девушку при себе — даже если придется пообещать, что она преподаст ей полный курс женских добродетелей. Рэчел — хозяйка в доме политика-тори! Хелен не могла без смеха это себе представить, и она ушла, удивляясь поразительной слепоте отца.

После разговора с Рэчел стало ясно, что та воодушевлена идеей меньшего, чем хотелось бы Хелен. Сейчас она выражала готовность, а через минуту сомневалась. Ее пленяли образы великой реки, то синей, то желтой под тропическим солнцем, с пролетающими над ней яркими птицами, то белой в лунном свете, то погруженной в тень, с качающимися деревьями и каноэ, которые отделяются от береговых зарослей. Реку Хелен ей пообещала. Тогда Рэчел не захотела расставаться с отцом. Это чувство тоже казалось вполне искренним, но в конце концов Хелен победила, хотя после этого уже она преисполнилась сомнениями и опять пожалела, что связала себя с судьбой другого человека.

Глава 7

Издалека «Евфросина» казалась очень маленькой. Люди, стоявшие на палубах огромных рейсовых кораблей, наводили на нее подзорные трубы и бинокли и говорили, что это грузовое суденышко-бродяга или один из тех жалких пароходов, на которых пассажиры теснятся вперемешку со скотом. Муравьиные фигурки Дэллоуэев, Эмброузов и Винрэсов также подвергались насмешкам, и в силу своей малости, и в силу сомнения, которое могли рассеять лишь самые сильные оптические приборы, — действительно ли это живые существа или просто детали оснастки. Мистера Пеппера, со всей его ученостью, принимали за баклана, а потом, столь же несправедливо, превращали в корову. Вечером, когда в каютах-компаниях гремели вальсы, а одаренные пассажиры декламировали стихи, кораблик — съежившийся до нескольких точек света среди темных волн и одной — чуть повыше, на мачте — казался разгоряченным парам, отдыхавшим от танца, чем-то пленительным и таинственным. «Евфросина» становилась кораблем, плывущим в ночи, — символом человеческого одиночества, поводом для странных признаний и внезапных излияний симпатии.

Судно шло и шло вперед, днем и ночью, следуя своей стезей, пока не забрезжило утро, открывшее землю на его пути. Постепенно берег потерял свою призрачность, стал изрезанным и скалистым, затем окрасился в серый и лиловый цвета, потом на нем обозначилась россыпь белых кубиков, они медленно отделились друг от друга и превратились в дома и улицы — зрелище было похоже на то, что увидел бы человек, смотрящий в бинокль, у которого непрерывно растет увеличение. К девяти часам «Евфросина» встала посреди большой бухты и бросила якорь; тут же, как будто она была лежащим великаном, которого надо изучить, вокруг нее зароились лодочки. Она громко подала голос; на борт стали взбираться люди, по палубе затоптали ноги. Одинокий островок подвергся вторжению одновременно со всех сторон; после четырехнедельной тишины человеческая речь звучала непривычно. Одна миссис Эмброуз не обращала на все это внимания. Она побледнела от тревоги, когда к судну приближалась шлюпка с почтовыми мешками. Поглощенная письмами, Хелен не заметила, как покинула борт «Евфросины», и не почувствовала никакой грусти, когда судно подало голос и трижды проревело, точно корова, разлученная с теленком.

— Дети здоровы! — воскликнула Хелен. Мистер Пеппер, сидевший напротив нее с горой сумок и свертков на коленях, сказал:

— Приятно слышать.

Рэчел, для которой конец плавания оказался связан с полной переменой планов, была слишком озадачена приближающимся берегом, чтобы осознать, какие дети здоровы и о чем приятно слышать. Хелен продолжила чтение.

Маленькая шлюпка продвигалась вперед очень медленно, взлетая до смешного высоко на каждой волне, но наконец она все-таки подошла к полукругу белого песка. За ним простиралась вдаль зеленая долина, с довольно высокими холмами по обе стороны. Справа на склоне холма лепились белые домики с коричневыми крышами, напоминавшие морских птиц на гнездах, промежутки между ними были расчерчены черными вертикалями кипарисов. На заднем плане, заслоняя друг друга, вздымались краснобокие горы с голыми остроконечными вершинами. Поскольку час был еще ранний, весь вид дышал светом и воздушной легкостью; голубизна неба и зелень деревьев были сочны, но не зноны. Чем ближе становился берег, тем больше можно было различить на нем подробностей, — после четырех недель в море суша с ее бесчисленными мелочами, разнообразием цветов и форм захватила все внимание людей, и поэтому они молчали.

— Три сотни с лишним лет, — наконец задумчиво проговорил мистер Пеппер.

Поскольку никто не спросил: «Что?» — он лишь достал пузырек и проглотил пилюлю. Зачахший в зародыше рассказ должен был поведать о том, что триста лет назад там, где теперь стояла «Евфросина», бросили якорь пять елизаветинских барков. Испанские галеоны, в том же количестве, лежали наполовину вытащенными на берег, без присмотра, потому что край этот еще был девствен и неизведен. Подобравшись к ним с воды, английские моряки забрали серебряные слитки, кипы льняной ткани, кедровую древесину и золотые распятия, инкрустированные изумрудами. Когда испанцы, закончив попойку, вернулись к своим кораблям, завязалась драка; оба отряда, вспахивая песок, пытались столкнуть противника в прибойные волны. Испанцы, разжиревшие от легкой жизни среди плодов чудесной страны, гибли один за другим, а закаленные англичане, смуглые от долгого плавания, волосатые из-за отсутствия бритв, с железными мышцами, с клыками, жадными до плоти, и руками, алчными до золота, добили раненых, утопили умирающих и вскоре привели туземцев в суеверное изумление. Было основано поселение; из-за моря доставили женщин; пошли дети. Вроде бы все благоприятствовало расширению Британской империи, и, будь во времена Карла Первого люди, подобные Ричарду Дэллоуэю, карта, несомненно, стала бы красной там, где теперь она неприятно зеленого цвета. Но видимо, политическим умам той эпохи не хватало воображения, и та искра, из которой должен был разгореться великий пожар, потухла из-за нехватки всего нескольких тысяч фунтов и нескольких тысяч людей. С континента пришли голые индейцы с коварными ядами и раскрашенными идолами; с моря нагрянули мстительные испанцы и хищные португальцы; осаждаемое этими врагами (хотя климат оказался действительно ласковым, а почва плодородной), английское поселение стало таять, а потом и совсем исчезло. Где-то в середине семнадцатого века одинокий шлюп выбрал момент, чтобы подойти, а к ночи ускользнуть обратно, унося на борту все, что осталось от большой британской колонии: нескольких мужчин, нескольких женщин и дюжину смуглых детей. В английской истории отсутствуют всякие упоминания об этом месте. По каким-то причинам цивилизация смешила свой центр на четыре-пять миль к югу, и теперь Санта-Марина имеет не намного больший размер, чем триста лет назад. В жилах здешнего населения течет смешанная кровь: португальские мужчины женились на индейских женщинах, а их дети вступали в браки с испанцами и испанками. Хотя плуги поставляют сюда из Манчестера, одежда производится из шерсти местных овец, шелк — из местныхшелковичных червей, а мебель — из местных кедров, так что в смысле ремесел и промышленности дело недалеко ушло от елизаветинских времен.

Причины, по которым англичане в течение последних десяти лет потянулись за море в маленькую колонию, не так просто выявить, и вряд ли они будут описаны в учебнике истории. По-видимому, среди англичан, имевших возможность покойно путешествовать, выгодно торговать и тому подобное, зародилось некоторое неудовлетворение давно известными странами, которые предлагали туристам горы резного камня, крашеного стекла и броских коричневых картин. Движение в поисках нового было, конечно, ничтожно и вовлекло в себя лишь горстку обеспеченных людей. Началось с нескольких школьных учителей, которые отправились в Южную Америку, нанявшись казначеями на бродячие грузовые пароходы. Учителя вернулись к летнему семестру, и тогда их рассказы о великолепии и трудностях морской жизни, об уморительности капитанов, о чудесах ночей и рассветов и о заморских прелестях подействовали на несведущих слушателей и даже проникли в печать. Описание самой страны требовало от рассказчиков всего красноречия, на которое они были способны: по их словам, она была больше Италии и благороднее Греции. Также они утверждали, что туземцы отличаются необычной красотой, высоким ростом, смуглы, страстны и скоры на поножовщину. Создавалось впечатление, что этот край богат новизной вообще и новыми формами красоты, в

доказательство чего рассказчики демонстрировали платки, которые тамошние женщины носят на голове, и примитивную резьбу по дереву, ярко раскрашенную в зеленый и синий цвета. Так или иначе, пошла мода. Старый монастырь был быстро переделан в гостиницу, а знаменитое пароходство изменило свои маршруты для удобства пассажиров.

Случилось так, что самый непутевый из братьев Хелен Эмброуз за несколько лет до того был послан на заработки — во всяком случае, подальше от скачек — в то самое место, которое ныне приобрело столь большую популярность. Часто, прислонившись к колонне веранды, он наблюдал, как в бухту заходили английские пароходы с учительями-казначеями. Поскольку Санта-Марина надоела ему до тошноты, он, заработав себе на отпуск, предложил сестре свою виллу на склоне холма. Хелен тоже заинтриговали рассказы о новом мире, где всегда солнце, а тумана вообще не бывает, и, когда речь зашла о поездке на зиму за границу, представившаяся возможность показалась слишком удачной, чтобы ее упустить. Поэтому, когда Уиллоуби предложил ей даровое путешествие на его судне, она решила согласиться, детей оставить с дедом и бабкой и провести все предприятие продуманно и тщательно, раз уж она за него взялась.

Усевшись в повозку, запряженную длиннохвостыми лошадьми с фазаньими перьями между ушами, Эмброузы, мистер Пеппер и Рэчел потряслись прочь от гавани. По мере того как они поднимались по склону холма, дневная жара набирала силу. Дорога пролегала через город; там они увидели мужчин, бивших в медные тарелки и кричавших: «Вода!», мулов, загородивших проезд и разогнанных бичами и проклятиями, босых женщин с корзинами на головах и калек, торопливо выставлявших обрубки своих конечностей; дальше пошли зеленые поля на крутых склонах — впрочем, не слишком зеленые, потому что сквозь всходы проглядывала земля. Большие деревья бросали тень на всю дорогу, кроме самой середины; горный ручей — такой мелкий и быстрый, что он разделялся на несколько струй, — бежал вдоль обочины. Повозка поднималась все выше; Ридли и Рэчел слезли и пошли за ней пешком; последовал поворот в переулок, усыпанный камнями, где мистер Пеппер поднял свою трость и молча указал на куст, в негустой листве которого виднелся крупный лиловый цветок; наконец шаткое громыхание и подпрыгивание завершило последний этап пути.

Вилла оказалась просторным белым домом, который, как это обычно бывает с континентальными постройками, представлялся английскому глазу ненадежным, хлипким, нелепо легкомысленным, больше похожим на чайный павильон, чем на здание, где люди должны спать. Сад решительно нуждался в услугах садовника. Кусты простирали ветки над дорожками, а редкие травинки, между которыми проглядывала голая почва, можно было пересчитать. На круглой земляной площадке перед верандой стояли две потрескавшиеся вазы, из которых свешивались красные цветы, между вазами был каменный фонтан, сейчас раскаленный от солнца. Круглый сад переходил в длинный сад, где ножницы садовника бывали и вовсе редко — лишь когда ему требовалось срезать цветок для возлюбленной. Несколько высоких деревьев создавали тень, круглые кусты с цветами будто из воска стояли в ряд. Сад, ровно выстланный дерном, разделенный густыми живыми изгородями, с приподнятыми клумбами ярких цветов — вроде тех, что мы пестуем в пределах Англии, — был бы неуместен на склоне этого диковатого холма. Здесь не надо было отгораживаться от окружающего уродства — с виллы, поверх поросшего оливами гребня, открывался вид на море.

Неухоженность жилища произвела на миссис Чейли тяжелое впечатление. На окнах не было штор, правда, не было и сколько-нибудь приличной мебели, которая могла бы пострадать от солнца. Стоя посреди голой каменной передней, оглядывая широкую, но потрескавшуюся и лишенную ковра лестницу, она предположила, что здесь есть и крысы — не меньше английских терьеров, наверное, — и если как следует топнуть, то пробьешь пол. Что касается горячей воды

— тут ее находки и вовсе лишили ее дара речи.

— Бедняжка! — прошептала она, когда желтокожая креольская девушка-служанка вышла навстречу вместе с курами и свиньями. — Неудивительно, что она едва похожа на человека!

Мария приняла комплимент с изысканным испанским тактом. По мнению миссис Чейли, было бы куда разумнее, если бы они остались на борту английского корабля, но никто лучше ее не понимал, что долг приказывает ей присоединиться.

Когда они устроились и начали искать себе повседневные занятия, имело место некоторое непонимание причин, заставивших мистера Пеппера остаться на берегу и поселиться в доме Эмброузов. Еще за несколько дней до высадки были предприняты определенные усилия с целью очаровать его перспективой путешествия по Амазонке.

— Великий поток! — начинала Хелен, смотря вдаль, будто перед ней вставало видение водопада. — Я сама очень хотела бы поехать с тобой, Уиллоуби, жаль, не могу. Представляю: вечерние зори, восходы луны, — наверное, цвета невообразимые.

— Там есть дикие павлины, — отваживалась вставить Рэчел.

— И удивительные водяные твари, — уверенно продолжала Хелен.

— Там можно открыть новое пресмыкающееся, — поддерживала Рэчел.

— Это будет революция в биологии — точно, — убеждала Хелен.

Действенность этих уловок была слегка ослаблена Ридли, который, оглядев мистера Пеппера, громко вздохнул и сказал: «Бедняга!» — а про себя посетовал на безжалостность женщин.

Однако мистер Пеппер шесть дней пребывал в довольстве, забавляясь с микроскопом и тетрадью в одной из скромно обставленных мебелью гостиных, на седьмой же день за ужином проявил большее беспокойство, чем обычно. Стол был установлен между двух окон, которые, по распоряжению Хелен, остались не занавешенными. Тьма, как и полагается на этой широте, сваливалась на мир внезапно, и город проступал внизу окружностями и прямыми линиями светящихся точек. Здания, незаметные днем, ночью заявляли о себе, и море наступало на сушу, судя по колеблющимся огням пароходов. Вид из окна выполнял ту же задачу, что и оркестр в лондонском ресторане, — служил оправой для тишины. Уильям Пеппер некоторое время созерцал его, даже надел очки, чтобы рассмотреть получше.

— Я узнал большой дом слева, — заметил он, указывая вилкой на ряды огней в форме квадрата, и добавил: — Полагаю, можно надеяться, что они умеют готовить овощи.

— Гостиница? — спросила Хелен.

— Раньше там был монастырь, — сказал мистер Пеппер.

В тот раз больше ничего сказано не было, но на следующий день после полуденной прогулки мистер Пеппер молча остановился перед Хелен, которая читала на веранде.

— Я снял там номер, — сказал он.

— Вы что, серьезно? — воскликнула она.

— В целом — да. Ни один частный повар не умеет готовить овощи.

Зная о его нелюбви к расспросам, которую Хелен до некоторой степени разделяла, она не стала его пытать. И все же в ней шевельнулось неприятное подозрение, что Уильям скрывает рану. Хелен покраснела при мысли о том, что слова, сказанные ею самой, ее мужем или Рэчел, могли задеть его за живое. Она чуть было не закричала: «Не надо, Уильям! Объясните!» — и вернулась бы к этой теме за обедом, если бы Уильям не вел себя непроницаемо и холодно. Он поддел кончиком вилки немного салата, с таким видом, будто это водоросли, на которых можно разглядеть песок и заподозрить микробов.

— Если вы все умрете от тифа, я не отвечаю. — В тоне его слышалось раздражение.

«Я тоже — если ты умрешь от скуки», — ответила Хелен про себя.

Она вспомнила, что так и не спросила его, любил ли он когда-нибудь. Они отходили от этой темы все дальше и дальше, вместо того, чтобы приближаться к ней, и Хелен не могла скрыть от себя облегчение, когда Уильям Пеппер, со всеми его знаниями, микроскопом, тетрадями, искренним добросердечием и развитым здравым смыслом, хотя и с некоторой душевной сухостью, удалился прочь. А еще она не смогла избежать грусти от того, что дружеские отношения всегда заканчиваются именно так, хотя в этом случае освободившаяся комната добавила удобства, и Хелен попыталась утешить себя мыслями, что никогда не известно, насколько глубоко люди чувствуют то, что им чувствовать вроде бы полагается.

Глава 8

Минуло несколько месяцев, как, бывает, минуют годы, — без определенных событий, и все-таки, если происходит резкий поворот, становится ясно, что эти месяцы или годы имели свой, неповторимый характер. Три прошедших месяца подвели людей к началу марта. Климат оправдал ожидания, и переход от зимы к весне был едва заметен, так что Хелен, сидевшая в гостиной с пером в руке, могла не закрывать окон, хотя рядом с ней в камине жарко пылали дрова. Море внизу было еще синим, а крыши бело-коричневыми, несмотря на то что день быстро угасал. В комнате было сумрачно, от чего она казалась еще более просторной и пустой, чем обычно. Фигура Хелен с блокнотом на коленях также производила впечатление чего-то обобщенного, лишенного деталей, — потому что пламя, которое бегало по веткам, внезапно набрасывалось на пучки зеленых иголок, горело неровно, лишь иногда высвечивая лицо женщины и отштукатуренные стены. На них не было картин, зато здесь и там висели ветви, усыпанные тяжелыми цветами. На полу лежали книги, на большом столе они были свалены кучей, но в этом свете можно было разглядеть лишь их общие очертания.

Миссис Эмброуз писала очень длинное письмо. Начинаясь словами «Дорогой Бернард», оно рассказывало обо всем, что случилось с обитателями виллы Сан-Хервасио за последние три месяца, например, что у них ужинал британский консул, что их водили на испанский военный корабль, что они видели множество торжественных процессий и религиозных праздников, которые были так красивы, что миссис Эмброуз не могла понять: если уж людям так необходима религия, почему они все не становятся католиками. Было проведено и несколько экспедиций, хотя все — недалеко. Бродить по окрестностям стоило хотя бы ради цветущих деревьев, которые росли совсем рядом с домом, и ради удивительных красок моря и земли. Почва была не коричневой, а красной, лиловой, зеленой. «Ты не поверишь, — писала Хелен, — таких красок в Англии просто нет». Она уже усвоила высокомерный тон по отношению к острову, на котором в это время всходили озябшие крокусы и чахлые фиалки — в укромных уголках, среди зарослей — и над ними тряслись обмотанные шарфами румяные садовники, которые имеют обыкновение приподнимать шляпу и подобострастно кланяться. Да и вообще всех островитян Хелен подвергала насмешкам. Слухи о том, что Лондон бурлит в преддверии всеобщих выборов, дошли даже до Санта-Марины. «Кажется невероятным, — продолжала Хелен, — беспокойство людей по поводу того, что Асквита выберут, а Остина Чемберлена [26] нет; вы до хрипоты кричите о политике, а тем людям, кто только и пытается сделать что-то хорошее, позволяете голодать или просто смеетесь над ними. Вы хоть раз поддержали живого художника? Купили его лучшую работу? Почему вы все так вздорны и работяги? Здесь слуги — это люди. Они говорят с нами как равные. Насколько я знаю, здесь вообще нет аристократов».

Возможно, упоминание об аристократах навело ее на мысли о Ричарде Дэллоуэе и Рэчел, потому что она тут же принялась описывать свою племянницу.

«Как ни странно, я приняла на себя ответственность за одну девушку, — писала Хелен. — Ведь я никогда особенно не ладила с женщинами и с трудом находила с ними точки соприкосновения. Однако теперь мне приходится взять назад некоторые свои отрицательные высказывания о них. Если бы им давали должное образование, не вижу, почему они не могли бы становиться тем же, что и мужчины — в смысле уровня достижений; хотя, конечно, женщины сильно отличаются от мужчин. Вопрос в том, как следует их воспитывать. Этой девушке уже двадцать четыре года, но она никогда даже не слыхала о влечении мужчины к женщине и, пока я не объяснила, не знала, как рождаются дети. Ее невежество в не менее важных вопросах...

(здесь письмо миссис Эмброуз не стоит цитировать)... было полным. Мне кажется, что так воспитывать людей не только глупо, но и преступно. Не говоря уже об их страданиях, это объясняет, отчего женщины таковы, каковы они есть, — странно, почему они не хуже. Я взялась просвещать ее, и теперь, хотя и не совсем еще свободившись от предрассудков и преувеличений, она стала более или менее разумным человеком. Безусловно, неведение, в котором их держат, совсем не приводит к задуманным благим целям, и когда они что-то начинают осознавать, то принимают это слишком всерьез. Мой зять заслужил беду — которая его минует. Теперь я мечтаю, чтобы ко мне на помощь пришел молодой человек — такой, чтобы поговорил с ней открыто и показал ей, как нелепы ее представления о жизни. К несчастью, такие мужчины, видимо, столь же редки, как и женщины. В английской колонии их уж точно нет: художники, коммерсанты, образованные люди — все они глупы, косны, склонны к флирту...» Хелен прервалась и, сидя с пером в руке, смотрела на огонь и представляла, что горящие дрова — это горы с пещерами: стало слишком темно, чтобы писать. Кроме того, дом начал оживать, потому что приближалось время ужина: Хелен услышала, как в столовой за стеной звякают тарелки и Чейли скороговоркой дает креольской девушке указания, куда что ставить. Прозвенел звонок; Хелен встала, встретила в коридоре Ридли и Рэчел, и они вместе пошли ужинать.

Три месяца мало отразились на внешности и Ридли, и Рэчел. И все же внимательный наблюдатель заметил бы, что в поведении девушки добавилось определенности и уверенности. Она загорела, глаза явно стали ярче, и разговоры она слушала так, будто собиралась возразить. Трапеза началась в непринужденном молчании, какое бывает между людьми, которым легко друг с другом. Затем Ридли, облокотившись на стол, посмотрел в окно и заметил, что вечер очень хорош.

— Да, — сказала Хелен и добавила, глядя на огни внизу: — Сезон начался. — Она по-испански спросила у Марии, много ли в гостинице постояльцев. Мария с гордостью сообщила, что придет время, когда будет немыслимо трудно купить яйца — лавочники совершенно перестанут стесняться в цене, поскольку англичане заплатят им любую.

— В бухте стоит английский пароход, — сказала Рэчел, имея в виду треугольник огней. — Он пришел рано утром.

— Значит, есть надежда получить письма и отправить наши, — сказала Хелен.

По определенным причинам упоминание о письмах всегда вызывало у Ридли стон, и до конца ужина между мужем и женой шел оживленный спор о том, полностью о нем забыл весь цивилизованный мир или еще нет.

— Если вспомнить последнюю пачку писем, — сказала Хелен, — ты заслуживаешь порки. Тебя пригласили читать лекции, тебе предложили степень, а какая-то дура вознесла хвалы не только твоим книгам, но и твоей красоте — она сказала, что так выглядел бы Шелли, если бы он дожил до пятидесяти пяти лет и отрастил бороду. Серьезно, Ридли, ты, пожалуй, самый тщеславный из всех, кого я знаю. — Она поднялась из-за стола. — А знаю я, между прочим, многих.

Найдя у камина свое письмо, она добавила пару строчек, после чего объявила, что идет отправлять письма, и пусть Ридли принесет свои и — Рэчел?..

— Надеюсь, ты написала тетушкам? Давно пора.

Женщины надели пальто и шляпы, предложили Ридли присоединиться — он решительно отказался, заявив, что от Рэчел он ожидал подобной глупости, но Хелен должна быть умнее — и собрались уходить. Ридли стоял у огня, вглядываясь в глубины зеркала и морща лицо так, что стал похож на военачальника, обозревающего поле битвы, или на мученика, взирающего на пламя, которое лижет его ступни, но никак не на удалившегося от мира профессора.

Хелен схватила его за бороду.

— Отпусти, Хелен.

— Так я глупа? — напомнила она.

— Порочная женщина, — сказал он и поцеловал ее.

— Оставляем тебя при твоем тщеславии! — крикнула она уже из-за двери.

Стоял чудесный вечер, света хватало, чтобы видеть дорогу далеко вперед, хотя на небе уже появлялись звезды. Почтовый ящик был вделан в высокую желтую стену на углу переулка и улицы; опустив в него письма, Хелен высказалась за возвращение домой.

— Нет уж, нет уж, — сказала Рэчел, сжимая ее запястье. — Мы пойдем смотреть жизнь. Ты обещала.

«Смотреть жизнь» у них означало гулять по городу после того, как стемнеет. Общественная жизнь Санта-Марини протекала почти исключительно при искусственном свете, чему благоприятствовали теплые ночи и ароматы, источаемые цветами. Девушки с роскошно завитыми волосами и красным цветком за ухом сидели на ступеньках перед дверьми своих домов или выходили на балконы, а молодые люди прохаживались туда-сюда, время от времени выкрикивая приветствия или останавливаясь для амурной беседы. Через открытые окна можно было увидеть торговцев, подсчитывающих дневную выручку, и пожилых женщин, переставляющих кувшины с полки на полку. Улицы были полны людей, по большей части мужчин, которые гуляли, обмениваясь впечатлениями о жизни, или собирались вокруг винных столиков на углах, где какой-нибудь калека дергал струны гитары, а нищая девочка тянула страстную песнь. Две англичанки возбуждали некоторое добродушное любопытство, но никто к ним не приставал.

Хелен шла неторопливо, оглядывая людей в поношенной одежде, которые казались такими беззаботными, естественными, умиротворенными.

— Представь, каково сейчас на Мэлле! — воскликнула она наконец. — Сегодня пятнадцатое марта. Наверное, при дворе прием. — Она представила толпу, ожидающую на весеннем холде, когда проедут роскошные кареты. — Очень холодно, дождя нет. Во-первых, там ходят торговцы, предлагающие открытки, стоят несчастного вида юные продавщицы с круглыми картонными коробками, банковские служащие во фраках, ну и, конечно, много портних. Люди из Южного Кенсингтона подъезжают в наемных пролетках, у каждого чиновника — своя пара гнедых, графам разрешается иметь по одному лакею на запятах, герцогам — по два, королевским герцогам — как мне говорили — по три, а королю, наверное, — сколько он пожелает. И люди относятся ко всему этому всерьез!

Отсюда казалось, что жители Англии даже выглядят, как шахматные короли, ферзи, пешки, — так нелепы, так подчеркнуты и так безоговорочно почитаются различия между ними.

Хелен и Рэчел пришлось разделиться, чтобы обойти толпу.

— Они верят в Бога, — сказала Рэчел, когда они вновь встретились. Она имела в виду, что люди в толпе верят в Него, потому что вспомнила кресты с окровавленными гипсовыми фигурами, стоявшие на пересечениях тропинок, и необъяснимую таинственность католической службы. — Мы никогда этого не поймем! — вздохнула она.

Они ушли довольно далеко, уже совсем стемнело, но впереди слева были видны большие железные ворота.

— Ты хотела дойти до гостиницы? — спросила Хелен.

Рэчел толкнула ворота, и они распахнулись. Поскольку вокруг никого не было, и, рассудив, что в этой стране запретов для посторонних не существует, Хелен и Рэчел вошли. Совершенно прямая дорога была обсажена деревьями. Внезапно деревья кончились, дорога сделала поворот, и женщины очутились перед большим прямоугольным зданием. Они поднялись на широкую

веранду, окружавшую гостиницу, и оказались всего в нескольких футах от ряда широких окон почти на уровне земли. Окна были не завешены и ярко освещены, поэтому все происходящее внутри было ясно видно. Каждое окно открывало какую-то часть гостиничной жизни. Хелен и Рэчел спрятались в широкой полосе тени от простенка и заглянули внутрь. Они находились около столовой. Там подметали пол; официант ел виноград, положив ноги на угол стола. Дверь вела в кухню, где мыли посуду; повара в белом погружали руки в котлы, а официанты жадно поглощали остатки трапезы, макая куски хлеба в подливку. Пройдя дальше, женщины попали в заросли кустарника, а потом вдруг оказались у окон гостиной, где дамы и мужчины после плотного ужина отдыхали в глубоких креслах, изредка переговариваясь и листая журналы. Худая женщина импровизировала на рояле.

— Что такое дахабия [\[27\]](#), Чарльз? — ясно слышимым голосом спросила своего сына вдова, сидевшая в кресле у окна.

Музыкальная пьеса кончилась, и ответ потонул в кашле и хлопках.

— Тут все такие старые, — прошептала Рэчел.

Они пробрались к следующему окну и увидели двух мужчин без пиджаков, игравших в бильярд с двумя девушками.

— Он ущипнул меня за руку! — воскликнула пухленькая, ударив мимо лузы.

— Так, не скандалить, — строго вступил молодой человек с красным лицом, выполнивший обязанности маркера.

— Осторожно, нас увидят, — шепнула Хелен, дергая Рэчел за локоть. Та беспечно высунулась до середины окна.

Обогнув угол, они оказались у самого большого помещения в гостинице, в котором было целых четыре окна. Оно называлось «Салоном», хотя на самом деле это был просто холл. Украшенный оружием и местными вышивками, обставленный диванами и ширмами, которые отгораживали укромные уголки, этот зал, очевидно, был пристанищем молодежи. Синьор Родригес, известный Хелен и Рэчел как управляющий гостиницей, стоял совсем недалеко от них, в дверях, обозревая сцену — мужчин, отдыхающих в креслах, пары, пьющие кофе за столиками, и — в самом центре — группу играющих в карты под гроздьями ярких электрических светильников. Он гордился своей предприимчивостью, которая превратила монастырскую трапезную — холодный каменный зал с котлами на треногах — в самое уютное помещение дома. Гостиница была заполнена, и это доказывало, как мудро он рассудил, решив, что ни одна гостиница не может процветать без салона.

Люди сидели парами и группами по четыре человека: то ли они были уже знакомы, то ли непринужденная обстановка облегчала общение. Через открытое окно доносилось неровное гудение, подобное звуку, идущему в сумерках от овечьей отары, собранной в загоне. На переднем плане шла карточная игра.

Хелен и Рэчел несколько минут наблюдали за играющими, не различая ни слова. Один из мужчин, сидевший в профиль, привлек особенное внимание Хелен. Это был ее ровесник, худой и бледный, а его партнершей была румяная девушка, типичная англичанка.

Вдруг, по непонятной причине, несколько слов, произнесенных им, отделились от общего фона:

— Вам не хватает лишь опыта, мисс Уоррингтон. Смелость и опыт — одно без другого не действует.

— Хьюлинг Эллиот! Ну конечно! — воскликнула Хелен и тут же присела, потому что мужчина обернулся, услышав свое имя. Игра продолжалась еще несколько минут, а затем была прервана появлением тучной престарелой дамы в инвалидном кресле, которая подъехала к столу и спросила:

— Сегодня тебе везет больше, Сьюзен?

— Все везение на нашей стороне, — сказал молодой человек, который до сих пор сидел спиной к окну. Он был довольно плотного телосложения, с густой шевелюрой.

— Везение, мистер Хьюит? — вступила его партнерша, женщина средних лет в очках. — Уверяю вас, миссис Пейли, успехом мы обязаны лишь своей искусной игре.

— Если я сейчас не отправлюсь спать, то не засну вообще, — сообщила миссис Пейли, как будто оправдывая то, что она уводит Сьюзен, которая встала и покатила кресло к выходу.

— Они найдут мне замену, — бодро сказала девушка. Но она ошиблась. Никто даже не попытался найти другого игрока, и, после того, как молодой человек построил трехэтажный карточный домик, который тут же рухнул, все разошлись в разные стороны.

Мистер Хьюит повернулся свое полное лицо к окну. Хелен и Рэчел увидели, что у него большие глаза, загороженные очками, что он румян и гладко выбрит и что, в сравнении с другими, его лицо кажется интересным. Он пошел прямо на подглядывающих, но взгляд его был направлен не на них, а на то место, где свисала собранная в складки штора.

— Спишь? — спросил он.

Хелен и Рэчел поняли, что совсем рядом с ними все это время сидел некто незамеченный. Из-за шторы были видны его ноги. Сверху прозвучал меланхоличный голос:

— Две женщины.

Послышался шорох гравия. Женщины убежали.

Они не останавливались, пока не решили, что ничьи глаза не смогут разглядеть их в темноте, а гостиница не превратилась в далекую прямоугольную тень с ровным рядом красных пятен.

Глава 9

Прошел час, нижние помещения гостиницы померкли и почти обезлюдили, зато в маленьких квадратных ячейках над ними зажегся яркий свет. Человек сорок — пятьдесят укладывались спать. Слышались стук кувшинов, опускаемых на пол, и звон тазов: перегородки между номерами были тоньше, чем хотелось бы, — как решила, легонько постучав по стене костяшками пальцев, мисс Аллан, немолодая женщина, одна из игравших в бридж. Она определила, что стены были сделаны из тонких досок, чтобы превратить один большой зал во много маленьких комнат. Ее серые юбки соскользнули на пол, она наклонилась и заботливо, даже с любовью, сложила свою одежду; заплела волосы в косу, завела большие золотые часы, доставшиеся ей от отца, и открыла полное собрание Вордсворт. Она читала «Прелюдию» — и потому, что всегда читала «Прелюдию» за границей, и потому, что взялась писать краткое «Введение в английскую литературу» — от «Беовульфа» до Суинберна — и там полагалось быть абзацу, посвященному Вордсворту. Она углубилась в пятый том и даже хотела сделать на полях карандашную пометку, когда этажом выше на пол один за другим упали два ботинка. Мисс Аллан оторвалась от книги и стала гадать, кому они могли принадлежать. Тут из соседнего номера послышался шелест — определенно, женщина снимала платье. Затем оттуда же донеслись легкие звуки, которые производит всякая женщина, приводя в порядок свои волосы. Сосредоточить внимание на «Прелюдии» было трудно. Не Сьюзен ли Уоррингтон этоичесывается? Все же мисс Аллан заставила себя дочитать до конца, заложила книгу, удовлетворенно вздохнула и выключила свет.

Номер за стеной выглядел совсем иначе, хотя по форме он и соседний были одинаковы, как пчелиные соты. Когда мисс Аллан читала свою книгу, Сьюзен Уоррингтон расчесывала волосы. Веками этот час и это самое величавое домашнее занятие посвящались женским разговорам о любви, но мисс Уоррингтон было сейчас не с кем говорить, она могла только озабоченно глядеть на собственное отражение в зеркале. Она повернула голову из стороны в сторону, перебрасывая тяжелые локоны, потом отошла на шаг-другой и посмотрела на себя строгим оценивающим взглядом.

— Я миловидна, — решила она. — Может быть, не красива... — Она слегка подобралась. — Да, многие сказали бы, что я интересная женщина.

Особенно ее волновало, что мог бы сказать о ней Артур Веннинг. Она испытывала к нему решительно странные чувства. Сьюзен не признавалась себе в том, что влюблена или хочет выйти за него замуж, однако наедине с собой только и гадала, что он о ней думает, и сравнивала то, что они делали сегодня, с тем, что они делали накануне.

— Он не пригласил меня играть, но явно последовал за мной в зал, — размышляла Сьюзен, подводя итоги вечера. Ей было тридцать лет, и, в силу многочисленности ее сестер, а также ввиду единственности жизни в сельском приходе, ей ни разу еще не делали предложения. Час откровенностей нередко был наполнен грустью, и она, бывало, бросалась на кровать, жестоко обращаясь со своими волосами и чувствуя себя обойденной судьбой по сравнению с другими. Она была высокой, хорошо сложенной женщиной, румянец лежал на ее щеках слишком яркими пятнами, но искренняя взволнованность сообщала ей своеобразную красоту.

Она уже собиралась разобрать постель, как вдруг воскликнула:

— Я же забыла! — и отправилась к письменному столу. Там лежал коричневый томик с годом на обложке. Сьюзен начала писать угловатым некрасивым почерком взрослого ребенка, как делала ежедневно, год за годом ведя дневники, хотя редко читая их.

«УТРО. Говорили с миссис Х. Эллиот о сельских соседях. Она знает Мэннов, Селби-

Кэрроузев — тоже. Как тесен мир! Она мне нравится. Прочла тете Э. главу из „Приключений мисс Эпплби“. ДЕНЬ И ВЕЧЕР. Играла в теннис с мистером Перроттом и Эвелин М. Мистер П. не нравится. Чувствую, что он „не вполне“, хотя, конечно, умен. Выиграла у них. День великолепный, вид чудесный. Что нет деревьев, привыкаешь, хотя сначала слишком голо. После ужина — карты. Тетя Э. бодра, хотя были боли, по ее словам. Не забыть: спросить о влажных простынях».

Она встала на колени, прочла молитву, а потом улеглась в постель, со всех сторон уютно подоткнула одеяло, и через несколько минут по ее дыханию можно было понять, что она спит. Дыхание было редкое, с глубокими размеренными вдохами, и напоминало дыхание коровы, которая стоит всю ночь по колено в высокой траве.

Заглянувший в следующий номер обнаружил бы лишь один нос, торчащий над простынями. Привыкнув к темноте — поскольку окна были открыты и выглядели как серые квадраты, усыпанные звездными блестками, — можно было бы различить очертания худого тела, позой зловеще напоминавшего покойника, которое на самом деле принадлежало Уильяму Пепперу, также погруженному в сон. Тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь — в этих номерах жили португальские дельцы, вероятно, спавшие, поскольку оттуда доносилось храпение — размеренное, как тиканье часов. Тридцать девятый номер располагался на углу, в конце коридора, и, хотя было поздно — внизу негромко пробило час ночи, — полоса света под дверью показывала, что кто-то еще бодрствует.

— Как ты поздно, Хью! — раздраженным, но заботливым голосом сказала женщина, лежавшая в постели. Ее муж чистил зубы и ответил не сразу.

— Зря ты не спишь, — наконец отозвался он. — Я разговаривал с Торнбери.

— Ты же знаешь, я не могу заснуть, когда жду тебя.

На это он ничего не ответил, а лишь сказал:

— Что ж, выключаем свет, — зачем последовала тишина.

В коридоре послышался тихий, но пронзительный электрический звонок. Престарелая миссис Пейли проснулась голодной, но у нее не было очков, поэтому она вызвала свою горничную, чтобы та нашла ей коробку с печеньем. Горничная пришла, сонно-почтительная даже в такой час, хотя и закутанная в макинтош; коридор погрузился в тишину. Внизу было пусто и темно, зато этажом выше, в том номере, где над головой мисс Аллан так громко стукнули об пол ботинки, горел свет. Здесь обитал человек, который за несколько часов до того, скрываясь за шторой, состоял, казалось, из одних только ног. Сейчас он сидел глубоко в кресле и при свечах читал третий том книги Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи». При этом он то и дело машинально стряхивал пепел с сигареты и переворачивал страницу, а тем временем целое шествие блестательных фраз проходило через его высокий лоб и парадным порядком маршировало по его мозгу. Судя по всему, этот процесс мог продолжаться еще час или больше, пока весь полк не сменил бы дислокацию, но вдруг открылась дверь и в номер вошел босой молодой человек, явно склонный к полноте.

— Хёрст, я забыл сказать, что...

— Две минуты, — сказал Хёрст, поднимая палец.

Он благополучно перенес в себя последние слова абзаца.

— Что ты забыл сказать? — спросил он.

— По-твоему, ты уделяешь достаточное место для чувств? — спросил мистер Хьюит. Он опять забыл, что хотел сказать.

Пристально посмотрев на безупречного Гиббона, мистер Хёрст улыбнулся вопросу своего друга. Он отложил книгу и стал рассуждать.

— Я считаю, что ты человек исключительно беспорядочного ума. Чувства? А чему еще мы

уделяем место? Любовь мы ставим выше всего, а остальное — где-то под ней. — Левой рукой он указал на вершину пирамиды, а правой — на ее основание. — Но ты ведь встал с постели не для того, чтобы сказать мне это? — добавил он со строгим видом.

— Я встал с постели, — рассеянно сказал Хьюит, — чтобы просто поговорить, наверное.

— Я пока разденусь, — сказал Хёрст. Оставшись в одной сорочке, склоненный над тазом, мистер Хёрст поражал уже не величием своего интеллекта, а жалким видом молодого, но безобразного тела: он был сутул и настолько тощ, что кости его шеи и плеч были разделены темными желобками.

— Женщины вызывают у меня интерес, — сказал Хьюит, который сидел на кровати, положив подбородок на согнутые колени и не обращая внимания на раздевание мистера Хёрста.

— Они же так глупы, — отозвался Хёрст. — Ты сидишь на моей пижаме.

— Неужели правда глупы? — спросил Хьюит.

— Думаю, на этот счет не может быть двух мнений, — сказал Хёрст, резво перебегая через комнату. — Если, конечно, ты не влюблен — в эту толстуху Уоррингтон?

— Не в одну толстуху, а во всех толстух, — вздохнул Хьюит.

— Те, что я видел сегодня, не толстые, — сказал Хёрст, взявшись стричь ногти на ногах, несмотря на присутствие Хьюита.

— Опиши их, — попросил Хьюит.

— Ты же знаешь, что я не умею описывать! — сказал Хёрст. — По-моему, женщины как женщины. Они все одинаковы.

— Нет, вот здесь мы с тобой не сходимся, — заметил Хьюит. — Я вижу различия повсюду. Нет двух человек, хоть в чем-нибудь одинаковых. Взять нас с тобой, к примеру.

— Я тоже так думал когда-то, — сказал Хёрст. — Но теперь все люди распределились на типы. Не бери нас, возьми эту гостиницу. Всех здешних обитателей можно очертить кругами, за которые они никогда не выйдут.

(— Говорят, курицы от этого дохнут, — пробормотал Хьюит.)

— Мистер Хьюлинг Эллиот, миссис Хьюлинг Эллиот, мисс Аллан, мистер и миссис Торнбери — один круг, — продолжал Хёрст. — Мисс Уоррингтон, мистер Артур Веннинг, мистер Перротт, Эвелин М. — другой; затем — местные, наконец — мы.

— Мы в своем круге одиноки? — спросил Хьюит.

— Вполне, — сказал Хёрст. — Если и пытаешься из него выйти, ничего не получится. Эти попытки лишь вносят неразбериху.

— Я не курица в круге, — сказал Хьюит. — Я голубь на вершине дерева.

— Интересно, не это ли называется вросшим ногтем? — сказал Хёрст, осматривая большой палец на левой ноге.

— Я перелетаю с ветки на ветку, — продолжил Хьюит. — Мир прекрасен. — Он лег на спину, подложив руки под затылок.

— Неужели действительно приятно жить с таким туманом в голове? — спросил Хёрст, посмотрев на друга. — Отсутствие цельности — вот что в тебе удивляет, — продолжал он. — К двадцати семи годам, а это почти тридцать, ты, похоже, не сделал никаких выводов. Компания старушенций воодушевляет тебя так, будто тебе три года.

Хьюит окинул взглядом костлявого юношу, который, замолкнув на минуту, аккуратно сметал обрезки ногтей в камин.

— Я тебя уважаю, Хёрст, — заметил Хьюит.

— А я тебе завидую — кое в чем, — сказал Хёрст. — Во-первых, завидую твоей способности не думать; во-вторых, ты нравишься людям больше, чем я. Женщины тебя любят, наверное.

— Вот это, наверное, самое главное, да? — спросил Хьюит. Теперь он лежал на спине, рукой чертя в воздухе неровные круги.

— Конечно, — сказал Хёрст. — Но трудность не в этом. Трудность в том, чтобы найти подходящий предмет.

— В твоем круге нет кур?

— Ни намека, — сказал Хёрст.

Хотя они были знакомы уже три года, Хёрст ни разу не слышал истинную историю любовных привязанностей Хьюита. В обычных разговорах само собой подразумевалось, что их было много, но в откровенных беседах молодые люди этой темы избегали. У Хьюита было достаточно денег, чтобы не работать, он оставил Кембридж после двух семестров — из-за разногласий с университетским начальством, после чего стал путешествовать, ничем особенно не занимаясь, — поэтому его жизнь во многом не походила на жизнь большинства его знакомых.

— Я не могу себе представить эти твои круги, не могу, — продолжал Хьюит. — Мне скорее видится крутящийся волчок для игры в «вертушку», который двигается туда-сюда, наталкивается на предметы, накреняется то на одну сторону, то на другую, набирает фишки — все больше и больше, пока стол не будет завален ими. А волчок все крутится и бегает и падает со стола, и вот уже нет его, он исчез из виду.

Он показал пальцами на покрывале, как волчки несутся по нему, падают с кровати и пропадают в бесконечности.

— Ты можешь вообразить три недели в этой гостинице? — спросил Хёрст после минутной паузы.

Хьюит продолжал размышлять вслух.

— Суть в том, что человек никогда не бывает один, но и никогда — с кем-то, — заключил он.

— В каком смысле?

— В каком смысле? В смысле таких оболочек, вроде пузырей, — кажется, их называют аурами. Ты мой пузырь не видишь, я твой тоже. Мы как фитильки посреди невидимого пламени. Это пламя сопровождает нас повсюду, но оно — это не мы сами, а то, что мы чувствуем. Вот, каков наш мир, точнее, люди — причем самые разные.

— Жирненький у тебя, наверное, пузырь! — сказал Хёрст.

— И если мой пузырь встретится с чьим-то еще...

— Оба лопнут? — вставил Хёрст.

— Тогда, тогда, тогда... — рассуждал Хьюит, как будто сам с собою, — мир получится огромный. — Он широко развел руки в стороны, как бы пытаясь крепко обнять громадную Вселенную, потому что рядом с Хёрстом он всегда приходил в необычайно жизнерадостное и романтическое настроение.

— Раньше я думал, что ты совсем глуп, теперь — нет, — сказал Хёрст. — Ты не понимаешь, о чем говоришь, но хотя бы пытаешься что-то сказать.

— Разве тебе здесь не хорошо? — спросил Хьюит.

— В целом — хорошо. Я люблю наблюдать за людьми. Люблю смотреть на мир. Этот край удивительно красив. Ты заметил, что вершина горы вечером пожелтела? Нам очень стоило бы взять с собой закусок и провести день на природе. Ты ужасно растолстел. — Он указал на голую икру Хьюита.

— Мы устроим экспедицию, — энергично заявил Хьюит. — Пригласим всю гостиницу. Арендаем ослов и...

— О Господи! — воскликнул Хёрст. — Замолчи! Представляю: мисс Уоррингтон, мисс

Аллан, миссис Эллиот и все остальные сидят на камнях и галдят: «Какая прелесть!»

— Мы позовем Веннига, Перротта и мисс Мёргатройд — всех, кого найдем, — продолжал Хьюит. — Как фамилия этого старого кузнечика в очках? Пеппер? Пеппер нас поведет.

— Слава Богу, о слов вы раздобыть не сможете, — сказал Хёрст.

— Это надо записать, — сказал Хьюит, спуская ноги на пол. — Хёрст сопровождает мисс Уоррингтон, Пеппер выступает в одиночку на белом ишаке; провизия распределяется поровну... Или взять мула? Матроны — миссис Пейли, черт побери! — едут в повозке.

— Вот здесь ты не прав, — сказал Хёрст. — Девиц с матронами мешать нельзя.

— Сколько времени, по-твоему, займет такая экспедиция, Хёрст? — спросил Хьюит.

— Я думаю, часов двенадцать — шестнадцать. Обычно столько продолжаются первые роды.

— Потребуется серьезная организация, — сказал Хьюит. Походив по комнате мягкими шагами, он остановился у стола и переложил с места на место несколько книг, которые были сложены неровной стопкой. — А еще нам понадобятся поэты, — заметил он. — Не Гибbon, конечно. У тебя есть «Современная любовь» [28] или Джон Донн? Я предполагаю, что будут паузы, когда людям надоест наслаждаться пейзажем, и тогда хорошо бы почитать вслух что-нибудь потруднее.

— Миссис Пейли точно будет довольна, — сказал Хёрст.

— Миссис Пейли будет довольна несомненно, — подтвердил Хьюит. — Нет ничего печальнее, чем когда престарелая дама прочтет стихотворение и замолчит. И все же, как это было бы уместно:

Я говорю, как тот,
Кто жизни мрак прозрел,
Кто понял свой удел
И ясно видеть стал.
Любовь, сгорев, пройдет,
На сцене — мгла и тишина,
Тоска осталась лишь
И — занавес, финал [29].

Оsmелюсь утверждать, что одна только миссис Пейли способна понять это по-настоящему.

— Мы ее спросим, — сказал Хёрст. — Пожалуйста, Хьюит, если пойдешь спать, задерни мой занавес. Мало что терзает меня больше, чем лунный свет.

Хьюит удалился, зажав под мышкой книгу стихов Томаса Харди, и вскоре оба молодых человека уже спали в своих постелях, разделенных лишь одной стеной.

Всего несколько часов тишины отделяло момент, когда погасла свеча Хьюита, от момента, когда смуглый местный мальчик проснулся и первым прошел по оцепеневшей утренней гостинице. Было почти слышно глубокое дыхание сотни человек; в этом сонном царстве никакая бессонница, никакая тревога не смогли бы избавить от сна. За окнами была лишь тьма. В половине мира, погруженной в тень, люди лежали распростерлись, и лишь редкие мерцающие огни пустых улиц отмечали места, где были построены их города. На Пикадилли собирались гурьбой красные и желтые омнибусы; разукрашенные женщины прохаживались без дела; а здесь во мраке сова перелетала с дерева на дерево, бриз шевелил ветви, и от этого луна мигала, как светильник. Покуда люди не проснулись, бездомные животные бродили свободно — олени, тигры и слоны спускались в темноте к водопою. Ветер, дувший над холмами и лесами,

был чище и свежее, чем днем, и ночная земля, лишенная мелких деталей, заключала в себе больше тайны, чем дневная, разделенная дорогами и полями, окрашенная в разные цвета. Эта совершенная красота жила шесть часов, а затем, по мере того как на востоке становилось все светлее и светлее, дно пространства поднялось на поверхность, простили дороги, полетел дым, люди зашевелились, и солнце ударило в окна гостиницы в Санта-Марине, после чего занавесы были раздвинуты и по всему дому пронесся звон гонга, возвестивший завтрак.

Сразу после завтрака дамы, как всегда, томно слонялись по холлу, подбирая газеты и кладя их обратно.

— А вы что сегодня собираетесь делать? — спросила миссис Эллиот, приближаясь к мисс Уоррингтон. Миссис Эллиот, жена Хьюлинга, оксфордского преподавателя, была невысокой женщиной с привычно-жалобным выражением лица. Ее взгляд перебегал с предмета на предмет, как будто не мог найти достаточно приятного зрелища, чтобы успокоиться хоть ненадолго.

— Попробую вытащить тетю Эмму из города, — сказала Сьюзен. — Она еще ничего не видела.

— В ее возрасте это подвиг, — сказала миссис Эллиот. — Уехать так далеко от родного очага.

— Да, мы всегда говорим ей, что она умрет на борту корабля, — отозвалась Сьюзен. — Она и родилась на корабле, — добавила она.

— В старое время, — сказала миссис Эллиот, — это было обычным делом. Я всегда так сострадаю бедным женщинам! Нам есть на что жаловаться! — Она покачала головой, обвела взглядом стол и заметила ни с того ни с сего: — Бедная королева Голландии! Газетчики, можно сказать, заглядывают к ней в спальню! [30]

— Вы говорите о королеве Голландии? — прозвучал приятный голос мисс Аллан, которая среди вороха тощих иностранных газеток искала увесистую «Таймс». — Я всегда завидую тем, кто живет в такой плоской стране, — заметила она.

— Как странно! — сказала мисс Эллиот. — На меня плоская местность наводит тоску.

— Тогда, боюсь, вам здесь не слишком хорошо, мисс Аллан, — сказала Сьюзен.

— Наоборот, — ответила мисс Аллан. — Горы я очень люблю. — Высмевая «Таймс» в отдалении, она направилась за газетой.

— Ну, мне надо найти своего мужа, — сказала миссис Эллиот и засеменила прочь.

— А мне надо к тете, — отозвалась мисс Уоррингтон и тоже удалилась исполнять свои дневные обязанности.

Иностранные газеты тонки, печать их груба, — возможно, это и свидетельствует о легковесности и невежестве, — во всяком случае, англичане редко считают публикуемые в них новости настоящими новостями, доверяя им не больше, чем политическим программам, купленным на улице с рук. Весьма респектабельная пожилая чета, обозрев длинные столы с газетами, удостоила их лишь прочтением заголовков.

— Дебаты от пятнадцатого числа должны бы уже дойти до нас, — проговорила миссис Торнбери. Мистер Торнбери, чистенький господин, на чьем понощенном, но симпатичном лице проступал румянец, подобный следам краски на обветренной деревянной статуе, посмотрел поверх очков и увидел, что «Таймс» — у мисс Аллан.

Супруги уселись в кресла и стали ждать.

— А вот и мистер Хьюит, — сказала миссис Торнбери. — Мистер Хьюит, идите, посидите с нами. Я говорила мужу, как вы мне напоминаете мою старую любимую подругу — Мэри Амплби. Поверьте, она была чудесной женщиной. Выращивала розы. В былое время мы любили погостить у нее.

— Молодому человеку не может понравиться, что его сравнивают со старой девой, — сказал мистер Торнбери.

— Наоборот, — сказал мистер Хьюит. — Я всегда считаю за комплимент, если мне говорят, что я кого-то напоминаю. А почему мисс Амплби выращивала розы?

— Ах, бедняжка, — сказала миссис Торнбери. — Это длинная история. Она пережила ужасные горести. Одно время я думала, что она лишилась бы рассудка, если бы не ее сад. Земля сопротивлялась ей — и в этом было скрытое благо. Ей приходилось вставать на рассвете и выходить в любую погоду. Потом еще эти твари, которые поедают розы. Но она побеждала. Она всегда побеждала. У нее было храброе сердце. — Миссис Торнбери глубоко вздохнула, изобразив на лице смижение.

— Я не подумала, что завладела газетой единолично, — сказала мисс Аллан, подходя к нему.

— Мы так хотим почитать о дебатах, — ответила миссис Торнбери за мужа. — Они по-настоящему интересны лишь тем, чьи сыновья служат во флоте. Впрочем, меня все волнует: мои сыновья служат и в армии; а один выступает в Кембриджском союзе [\[31\]](#) — мой мальчик!

— Наверное, Хёрст его знает, — сказал Хьюит.

— У мистера Хёрста такое интересное лицо, — заметила миссис Торнбери. — Но, мне кажется, чтобы с ним говорить, надо быть очень умным. Что, Уильям? — спросила она у мистера Торнбери, который что-то пробурчал.

— Они все ставят с ног на голову, — сказал мистер Торнбери. Он дошел до второй колонки статьи, где довольно резко описывалось, как ирландские члены парламента три недели назад скандалили в Вестминстере по вопросу о боеспособности военно-морского флота. Через абзац другой возмущение улеглось, после чего изложение пошло более плавно.

— Вы читали? — спросила миссис Торнбери у мисс Аллан.

— Нет, к моему стыду, должна признать, что прочла лишь об открытиях на Крите, — сказала мисс Аллан.

— Ах, я столько бы отдала, чтобы постигнуть древний мир! — воскликнула миссис Торнбери. — Теперь, когда мы, старики, предоставлены сами себе — у нас сейчас второй медовый месяц, — я всерьез намерена опять приняться за образование. В конце концов, наши основы лежат в прошлом, не так ли, мистер Хьюит? Мой сын-военный говорит, что мы еще многому можем поучиться у Ганнибала. Как мы все-таки мало знаем! Газету я всегда начинаю читать с дебатов, и каждый раз, не успею закончить, как открывается дверь — а мы живем очень большой семьей — и никогда не остается времени поразмышлять как следует о древних и всем, чем мы им обязаны. Вот вы начинаете с начала, мисс Аллан.

— Греков я себе представляю голыми темнокожими людьми, — сказала мисс Аллан. — Что, конечно, неправильно.

— А вы, мистер Хёрст? — спросила миссис Торнбери, заметив, что костлявый юноша стоит поблизости. — Вы наверняка читаете все.

— Я ограничиваюсь крикетом и уголовной хроникой, — сказал Хёрст. — В происхождении из высшего слоя хуже всего то, — продолжил он, — что знакомые никогда не погибают в железнодорожных катастрофах.

Мистер Торнбери бросил газету на пол и подчеркнуто резко снял очки. Газетные листы упали посреди группы и привлекли к себе взгляды людей.

— Что, плохо? — участливо спросила его жена.

Хьюит подобрал один лист и прочитал:

— «Вчера дама, гулявшая по одной из улиц Вестминстера, заметила в окне заброшенного дома кошку. Истощенное животное...»

— С меня хватит, — брюзгливо перебил мистер Торнбери.

— Кошек часто забывают, — заметила мисс Аллан.

— Помни, Уильям, премьер-министр оставил ответ за собой, — сказала миссис Торнбери.

— «Мистер Джошуа Харрис из Илз-Парка, что в Брондзбери, в восемьдесят лет произвел на свет сына», — прочитал Хёрст. — «...Истощенное животное, которое рабочие видели уже несколько дней, было спасено, но — надо же! — искусало в кровь руку спасителя!»

— Одичала от голода, наверное, — прокомментировала мисс Аллан.

— Вы все упускаете главное преимущество пребывания за границей, — сказал мистер Хьюлинг Эллиот, присоединяясь к компании. — Вы могли бы читать новости по-французски, что все равно как не читать их вовсе.

Мистер Эллиот в совершенстве знал коптский язык, хотя старался по возможности скрыть это, и столь изысканно цитировал французские изречения, что было трудно поверить в его способность изъясняться на обычный манер. Он питал глубокое почтение к французам.

— Идете? — спросил он молодых людей. — Надо выйти, пока не стало очень жарко.

— Прошу тебя, не гуляй на жаре, Хью! — взмолилась его жена, вручая ему угловатый сверток, заключавший в себе полкурицы и пакетик изюма.

— Хьюит будет нашим барометром, — сказал мистер Эллиот. — Его растопит раньше, чем меня.

Действительно, если бы из мистера Эллиота удалось выпотрошить хоть каплю, то остались бы лишь голые ребра. Дамы оказались одни, между ними на полу лежала «Таймс». Мисс Аллан взглянула на отцовские часы.

— Без десяти одиннадцать, — заметила она.

— Работать? — спросила миссис Торнбери.

— Работать, — ответила мисс Аллан.

— Что за милое создание! — прошептала миссис Торнбери вслед удаляющейся прямоугольной фигуре в мужском пиджаке.

— Жизнь у нее наверняка нелегкая, — вздохнула миссис Эллиот.

— О, совсем не легкая, — сказала миссис Торнбери. — Незамужним женщинам приходится зарабатывать — тяжелее некуда.

— А на вид она вполне бодра, — сказала миссис Эллиот.

— Наверное, это очень интересно, — сказала миссис Торнбери. — Завидую ее знаниям.

— Но женщине нужно не это, — сказала миссис Эллиот.

— Боюсь, очень многие могут надеяться лишь на это, — вздохнула миссис Торнбери. — Думаю, их больше, чем мы думаем. Только на днях сэр Харли Летбридж говорил мне, как трудно подобрать юношей для армии — в том числе из-за зубов, конечно. И я слышала, как молодые женщины вполне открыто обсуждают...

— Ужасно, ужасно! — воскликнула миссис Эллиот. — Ведь это, можно сказать, венец жизни женщины. Я, знающая, что такое быть бездетной... — Она вздохнула и умолкла.

— Но мы не должны быть слишком строги, — сказала миссис Торнбери. — Жизнь так изменилась с тех пор, как я была молодой.

— Ну, материнство-то менятся, — сказала миссис Эллиот.

— В каком-то смысле мы многому можем поучиться у молодежи, — сказала миссис Торнбери. — Я столько узнаю от собственных дочерей!

— Думаю, Хьюлинга это не очень огорчает, — сказала миссис Эллиот. — Но ведь у него есть работа.

— Бездетные женщины могут многое делать для чужих детей, — мягко заметила миссис Торнбери.

— Я пишу довольно много этюдов, — сказала миссис Эллиот. — Но это не настоящее занятие. Так обидно видеть, что у начинающих девушек получается лучше! А работать с натуры трудно — очень трудно!

— А нет ли каких-то учреждений, клубов, которым вы могли бы помочь? — спросила миссис Торнбери.

— Это так изнурительно, — сказала миссис Эллиот. — Я только на вид крепкая — из-за цвета лица, — но это не так: младшая из одиннадцати детей не может быть крепкой.

— Если мать благоразумна, — рассудительно заметила миссис Торнбери, — размер семьи ничего не определяет. И ничто не сравнится с воспитанием, которое дают друг другу братья и сестры. Я в этом уверена. Я убеждалась на собственных детях. Мой старший сын Ральф, например...

Но миссис Эллиот не была склонна внимать опыту старших, ее взгляд блуждал по залу.

— Я знаю, что у моей матери было два выкидыша, — вдруг сказала она. — Первый раз — когда ей встретился огромный танцующий медведь, — их следует запретить, а второй — ужасный случай — наша повариха родила, а у нас был званый ужин. Мое несварение я объясняю этим.

— Выкидыш куда тяжелее, чем роды, — рассеянно пробормотала миссис Торнбери, устраивая на носу очки и подбирав «Таймс». Миссис Эллиот встала и торопливо ушла.

Один из миллиона голосов, вещавших со страниц газеты, донес до миссис Торнбери, что ее родственница вышла замуж за священника в Майнхеде. Не удостоив вниманием ни пьяных женщин, ни золотых критских зверей, ни перемещения войск, ни приемы, ни реформы, ни пожары, ни возмущенных, ни просвещенных, ни великолупных граждан, она поднялась наверх, чтобы написать письмо.

Газета лежала прямо под часами, и вместе они олицетворяли постоянство в переменчивом мире. Мимо прошел мистер Перротт; мистер Веннинг задержался на секунду у стола. Провезли миссис Пейли. Следом прошла Сьюзен. Мистер Веннинг побрел за ней. Прошествовали жены и дети португальских военных — по их одежде было видно, что встали они поздно, в неприбранных спальнях; их сопровождали пользующиеся особым доверием няни с крикливыми младенцами на руках. Настал полдень; прямые солнечные лучи били в крышу; стайка больших мух, гудя, кружила на одном месте; под пальмами подавали напитки со льдом; со скрежетом опустили длинные шторы, и помещение окрасилось в желтый цвет. Часы тикали в безмолвном холле, довольствуясь в качестве слушателей лишь четырьмя-пятью сонными коммерсантами. Иногда снаружи входили белые фигуры в широкополых шляпах, впуская вместе с собой клин жаркого летнего дня, а затем опять изгоняя его дверью. Отдохнув минуту в полумраке, они поднимались наверх. Часы прохрипели один раз, и одновременно зазвучал гонг — сначала тихо, потом все неистовее, а потом опять затихая. Последовала пауза. Затем все, кто поднялся наверх, стали спускаться: калеки, ставившие обе ноги на одну ступеньку, чтобы не упасть; нарядные девочки, державшие няню за палец; толстые старики, на ходу застегивавшие жилетные пуговицы. Гонг прозвенел и в саду; лежавшие люди постепенно начали подниматься и побрали есть, поскольку опять настало время питать свое тело. Даже в полдень в саду были большие пятна и полосы тени, где двое-трое постояльцев могли непринужденно лежать, работая или разговаривая.

Из-за жары обед проходил по преимуществу в молчании; каждый наблюдал за соседями, примечая новые лица и строя догадки о том, кто такие и чем занимаются новые постояльцы. Миссис Пейли, хотя ей было далеко за семьдесят и ноги у нее не ходили, получала большое удовольствие от пищи и от странностей окружающих. Она сидела за маленьким столиком вместе со Сьюзен.

— О том, кто она, я лучше промолчу, — усмехнулась миссис Пейли, окидывая взглядом высокую женщину, одетую подчеркнуто во все белое, с яркими румянами под скулами; она всегда опаздывала и везде появлялась в сопровождении жалкого вида спутницы. При этом замечании Сьюзен покраснела, удивляясь, зачем тетя говорит такие вещи.

Обед продолжался своим чередом, пока все семь блюд не были превращены в обьееки и фрукты не стали предметом забавы: их чистили и резали так, как ребенок, лепесток за лепестком, обрывая маргаритку. Пища окончательно потушила пламя человеческого духа, которое могло еще сохраниться в полуденной жаре. Впрочем, Сьюзен, сидя потом в своем номере, так и эдак обдумывала приятный факт, заключавшийся в том, что мистер Веннинг подошел к ней в саду и просидел рядом не меньше получаса, пока она читала тете вслух. Мужчины и женщины стремились скрыться друг от друга в разных уголках, где можно было лежать, не стесняясь чьих-либо взглядов, и с двух до четырех гостиница была практически населена бездушными телами. Если бы внезапно случился пожар или другая смертельная опасность потребовала бы от людей героических усилий, последствия были бы ужасающими, однако — бедствия не происходят в часы сътости. Ближе к четырем дух опять взялся за тело, как огонь начинает лизать черную массу каменного угля. Миссис Пейли широко зевнула беззубым ртом и осудила себя за это, хотя поблизости никого не было, в то время как миссис Эллиот пристально изучала в зеркале свое круглое раскрасневшееся лицо.

Через полчаса,бросив остатки сна, они встретились в холле, и миссис Пейли сообщила, что собирается выпить чаю.

— Вы тоже любите чай, правда? — спросила она и пригласила миссис Эллиот, чей муж еще не вернулся, за маленький столик, который миссис Пейли специально попросила установить под деревом.

— В этой стране несколько монет могут делать чудеса, — усмехнулась она и послала Сьюзен за еще одной чашкой. — У них тут превосходное печенье, — продолжила она, глядя на полную тарелку крекера. — Не сладкое — я его не люблю, — а сухое печенье... Вы сегодня рисовали?

— А, сделала два-три наброска, — ответила миссис Эллиот, гораздо громче, чем обычно. — Но мне так трудно после Оксфордшира, где много деревьев. Здесь такой яркий свет. Я знаю, некоторых он приводит в восторг, но я нахожу его очень утомительным.

— Я не горю желанием поджариться, Сьюзен, — сказала миссис Пейли, когда вернулась ее племянница. — Сделай одолжение, передвинь меня.

Передвигать пришлось все. Наконец престарелая дама была помещена туда, где свет вперемешку с тенью стал колыхаться и дрожать на ней, придавая ей подобие рыбы в сети. Сьюзен разлила чай и как раз говорила, что у них в Уилтшире тоже бывает жаркая погода, когда мистер Веннинг попросил разрешения присоединиться к ним.

— Как приятно найти молодого человека, который не презирает чай, — сказала миссис Пейли, возвращаясь в хорошее настроение. — Недавно один из моих племянников попросил бокал хереса — в пять часов! Я сказала, что он может получить его в пивной за углом, но не в моей гостиной.

— Мне легче обойтись без обеда, чем без чая, — сказал мистер Веннинг. — Хотя это не совсем правда. Мне нужно и то и другое.

Мистер Веннинг был темноволосым молодым человеком лет тридцати двух, весьма развязным и уверенным в себе, хотя в данный момент он, очевидно, был слегка взволнован. Его друг мистер Перротт был адвокатом, и поскольку мистер Перротт отказывался куда-либо ездить без мистера Веннинга, когда мистер Перротт отправился в Санта-Марину по делам одной компании, мистеру Веннингу тоже пришлось ехать. Он тоже был адвокатом, но ненавидел эту

профессию, которая держала его взаперти над книгами, и сразу после смерти своей давно овдовевшей матери, как он признался Сьюзен, решил всерьез заняться летным делом и стать компаньоном в крупной фирме, строившей аэропланы. Беседа перескакивала с предмета на предмет. Она коснулась, конечно, местных красот и достопримечательностей, улиц, людей и количества бездомных желтых собак.

— Вам не кажется, что в этой стране ужасно жестоко обращаются с собаками? — спросила миссис Пейли.

— Я бы их всех перестрелял, — сказал мистер Веннинг.

— А как же милые щеночки? — возразила Сьюзен.

— Славные малыши, — сказал мистер Веннинг. — Глядите, вам нечего есть. — И он протянул Сьюзен большой кусок кекса на кончике дрожащего ножа. Ее рука, взявшая кекс, тоже дрожала.

— У меня дома такой очаровательный песик, — сказала миссис Эллиот.

— Мой попугай не выносит собак, — отзывалась миссис Пейли с таким видом, как будто выдала секрет. — Я давно подозреваю, что его (или ее) донимала какая-то собака, когда я была за границей.

— Вы сегодня ушли недалеко, мисс Уоррингтон, — сказал мистер Веннинг.

— Было жарко, — ответила Сьюзен. Получилось, что они говорят только между собой, поскольку миссис Пейли была глуховата, а миссис Эллиот взялась рассказывать о жестокошерстном терьере ее дяди, белом, лишь с одним черным пятнышком, который покончил с собой. «Животные совершают самоубийства», — вздохнула она, как будто утверждая печальный факт.

— Может быть, вечером исследуем город? — предложил мистер Веннинг.

— Моя тетя... — начала Сьюзен.

— Вы заслужили отдых. Вы постоянно что-то делаете для других.

— Но в этом состоит моя жизнь, — сказала она, шумно доливая кипяток в чайник.

— Это не жизнь, — возразил мистер Веннинг. — Вы же молоды. Пойдете?

— Я хотела бы пойти, — шепнула Сьюзен.

В этот момент миссис Эллиот, подняв взгляд, воскликнула:

— Хью! — и добавила: — Он кого-то ведет.

— Он хочет чаю, — сказала миссис Пейли. — Сьюзен, сбегай за чашками, там еще двое молодых людей.

— Мы жаждем чая, — сказал мистер Эллиот. — Ты знакома с мистером Эмброузом, Хильда? Мы встретились на холме.

— Он притащил меня силком, — сказал Ридли. — Иначе я постыдился бы. Я весь пыльный и грязный и противный. — Он указал на свои ботинки, белые от пыли; увядший цветок свисал из его петлицы, как измученное животное, усиливая впечатление долговязой нескладности и неаккуратности. Ридли был представлен окружающими. Мистер Хьюит и мистер Хёрст принесли стулья, и чаепитие продолжилось. Сьюзен щедро переливала воду из чайника в чайник, с неизменно жизнерадостным выражением лица и сноровкой, свидетельствовавшей о большом опыте.

— У брата моей жены, — объяснял Ридли Хильде, которую так и не вспомнил, — здесь дом, он нам его предоставил. Сижу я на скале, ни о чем не думаю, и тут появляется Эллиот, как волшебник в сказочной пьесе.

— Мы попали, как кур в ощип, — страдальчески сказал Хьюит Сьюзен. — Неправда, что бананы содержат воду, как и то, что они питательны.

Хёрст уже пил чай.

— Мы проклинаем вас, — ответил Ридли на любезные расспросы миссис Эллиот о его жене. — Хелен говорит, что вы, туристы, съели все яйца. И это все мозолит глаза. — Он кивнул на гостиницу. — Отвратительная роскошь, я считаю. У нас в гостиной гуляют свиньи.

— Пища оставляет желать лучшего, учитывая цену, — серьезно сказала миссис Пейли. — Но куда людям деться, если не в гостиницу?

— Оставались бы дома, — посоветовал Ридли. — Я часто жалею, что не поступил так. Все должны жить дома. Но конечно, никто не хочет.

Миссис Пейли почувствовала некоторое раздражение против Ридли, который взялся критиковать ее привычки через пять минут после знакомства.

— Я убеждена, что за границу стоит ездить, — заявила она, — если уже хорошо знаешь свою родную страну, что я вполне могу сказать о себе. Я не позволила бы путешествовать людям, которые еще не посетили Кент и Дорсетшир — Кент ради зарослей хмеля, а Дорсетшир — ради старинных каменных домиков. Здесь с ними ничто не сравнится.

— Да, мне всегда казалось, что одни люди любят равнины, а другие — холмистую местность, — непонятно к чему сказала миссис Эллиот.

Хёрст, который до этого момента не отрываясь ел и пил, закурил сигарету и произнес:

— Но теперь уже всем ясно, что природа — это ошибка. Она либо уродлива, чудовищно неудобна, либо наводит ужас. Не знаю, что меня пугает больше — корова или дерево. Однажды ночью я встретил корову в поле. Эта тварь посмотрела на меня! Уверяю вас, я поседел. Возмутительно, что животным позволяют разгуливать на свободе.

— А что корова подумала о нем? — шепнул Веннинг Сьюзен, которая тут же решила про себя, что мистер Хёрст — неприятный молодой человек, и, хотя у него такой умный вид, Артур, вероятно, умнее — в том, что действительно важно.

— Это не Уайльд установил, что природа не учитывает тазовых костей? — осведомился Хьюлинг Эллиот. Он уже узнал, какие стипендии и отличия получал Хёрст, и составил очень высокое мнение о его способностях.

Но Хёрст лишь крепко поджал губы и не ответил.

Ридли рассудил, что теперь ему можно удалиться. Вежливость требовала, чтобы он поблагодарил миссис Эллиот за чай, к чему он добавил, помахав рукой:

— Вы должны навестить нас.

Прощание относилось и к Хёрсту с Хьюитом, поэтому Хьюит отозвался:

— С огромным удовольствием.

Компания разошлась, и Сьюзен, которая никогда в жизни не чувствовала себя такой счастливой, уже было собралась на прогулку по городу вместе с Артуром, когда ее опять позвала миссис Пейли. Она не могла понять из книжки, как раскладывается пасьянс «Двойной демон», и предложила сесть вместе и разобраться, чтобы таким образом приятно провести время до ужина.

Глава 10

Уговаривая свою племянницу пожить на вилле, миссис Эмброуз дала ей несколько обещаний, в том числе — предоставить комнату, отделенную от всего остального дома, большую, тихую, где Рэчел сможет играть, читать, думать, уединяться от мира, — чтобы это была одновременно и крепость, и обитель. Хелен знала, что в возрасте двадцати четырех лет своя комната — это не просто комната, а целая Вселенная. Она рассудила верно, и, когда Рэчел закрывала за собой дверь, она оказывалась в очарованной стране, где пели поэты и царила гармония. Через несколько дней после вечернего посещения гостиницы Рэчел сидела одна в глубоком кресле и читала книгу в яркой обложке, на которой было написано: «Сочинения Генрика Ибсена». На рояле лежали открытые ноты, и еще две неровные высокие стопки книг с нотами стояли на полу. Но музыка пока что была отодвинута в сторону.

В глазах Рэчел не было ни следа скуки или рассеянности, они сосредоточенно, почти сердито, смотрели на страницу, и по дыханию девушки, нечастому, но сдерживаемому, можно было понять, что все ее тело напряжено от интенсивной мыслительной работы. Наконец она резко закрыла книгу, откинулась на спинку и сделала глубокий вдох, который всегда отмечает удивление при переходе от воображаемого мира к реальности.

— Я хочу знать, — сказала она вслух, — вот что: в чем правда стоит за всем этим? — Она говорила и за себя, и за героиню только что прочитанной пьесы. Поскольку она уже два часа не видела ничего, кроме печатного текста, пейзаж за окном показался ей поразительно вещественным и четким, но, хотя на холме три человека омывали белой жидкостью стволы оливковых деревьев, какое-то время она ощущала себя самой живой частью пейзажа — героической фигурой в центре картины, которая служила ей лишь фоном. Пьесы Ибсена всегда приводили ее в такое состояние. Она разыгрывала их по несколько дней, к большому удовольствию Хелен, а затем наступала очередь Мередита, и она превращалась в Диану на перепутье [32]. Однако Хелен сознавала: это не только игра — в племяннице происходят какие-то важные перемены. Устав сидеть в одной позе, Рэчел повернулась, сползла ниже и, устроившись поудобнее, стала смотреть поверх спинки кресла в противоположное окно, выходившее в сад. (Она уже не думала о Норе, но продолжала размышлять о том, что было навеяно книгой — о женщинах и жизни вообще.)

За три месяца, проведенные здесь, она, как того и хотелось Хелен, сильно наверстала упущенное во время бесконечных прогулок по огороженным садам под домашние сплетни тетушек. Но миссис Эмброуз первая стала бы отрицать, что она оказывает или может оказывать какое-либо влияние на Рэчел. Хелен видела, что девушка теперь менее застенчива, менее серьезна, что было, конечно, к лучшему, но она и не подозревала, какие резкие душевые перепады и долгие мучительные раздумья дали такой результат. Хелен верила в одно средство — в беседу, беседу обо всем, свободную, ничем не ограниченную, такую же откровенную, как разговоры, которые она сама привыкла вести с мужчинами, делая это совершенно естественно. Она порицала основанную на неискренности привычку к мягкости и самоотречению, которая так высоко ценится в семьях, состоящих из мужчин и женщин. Ей хотелось, чтобы Рэчел размышляла, и поэтому советовала ей читать, не одобряя слишком сильную зависимость от Баха, Бетховена и Вагнера. Но когда миссис Эмброуз предлагала Дефо, Мопассана или какую-нибудь объемистую семейную хронику, Рэчел предпочитала современные книги в глянцевых желтых обложках с большим количеством позолоты. Ее тетушки считали, что подобная литература отражает ожесточенные споры о предметах, которые не столь важны, как теперь принято считать. Но Хелен не вмешивалась. Рэчел читала по своему выбору, воспринимая

прочитанное до странности буквально, как люди, для которых печатный текст — нечто новое и незнакомое, и обращаясь со словами, будто каждое из них сделано из дерева, очень важно само по себе и обладает своей формой, подобно столу или стулу. Таким путем Рэчел приходила к выводам, которые повседневная жизнь заставляла ее перекраивать, что она делала не стесняясь, и в результате в ее душе откладывались зерна новых убеждений.

За Ибсеном последовал роман — из тех, к которым миссис Эмброуз питала отвращение. Его задачей было переложить ответственность за падение женщины на истинных виновников, и задача эта была выполнена, чему должна была служить доказательством досада в душе читателя. Рэчел бросила книгу на пол, посмотрела в окно, отвернулась и опять откинулась в кресле.

Утро было жарким, и напряженное чтение заставило сознание Рэчел сжиматься и разжиматься, подобно часовой пружине. Звуки, доносившиеся из сада, тиканье часов, легкие полуценные шумы, источники которых невозможно определить, смешивались в мерный ритм. Он был очень реальным, всеобъемлющим, безразличным, и вскоре Рэчел начала постукивать указательным пальцем по подлокотнику кресла, чтобы напомнить себе о собственном существовании. Затем ее захватали невыразимая странность того, что она сидит в кресле, утром, посреди мира. Кто эти люди, которые ходят по дому и передвигают предметы с места на место? И что такая жизнь? Всего лишь свет, скользящий по поверхности и исчезающий, как и она сама со временем исчезнет, хотя мебель в комнате останется. Она впала в такую прострацию, что не могла уже даже пошевелить пальцами и сидела совершенно неподвижно, уставившись в одну точку. Реальность казалась ей все более странной и чуждой. Ей стало страшно — а вдруг предметы вокруг вообще не существуют... Она забыла, что у нее есть руки, которыми можно управлять... Вещественный мир столь огромен и бесприютен... Так, ощущая тяжесть огромных масс материи, под тиканье часов среди вселенского безмолвия, она сидела очень долго.

— Войдите, — сказала она машинально: настойчивый стук в дверь как будто дернул за какую-то ниточку в ее мозгу. Дверь очень медленно отворилась, высокое человеческое существо подошло к Рэчел, протянуло руку и произнесло:

— Как мне на это реагировать?

Рэчел поразила крайняя абсурдность того, что в комнату вошла женщина с листком бумаги.

— Я не знаю, что ответить и кто такой Теренс Хьюит, — продолжила Хелен монотонным голосом призрака. Она положила перед Рэчел листок, на котором были начертаны невероятные слова:

«Уважаемая миссис Эмброуз!

В следующую пятницу я организую пикник; если погода будет хорошей, мы собираемся выйти в одиннадцать-тридцать и совершить восхождение на Монте-Розу. Это потребует некоторого времени, но вид обещает быть великолепным. Буду чрезвычайно рад, если Вы и мисс Винрэс согласитесь присоединиться к нам.

Искренне Ваш, Теренс Хьюит».

Рэчел прочла слова в слух, чтобы заставить себя поверить в них. С той же целью она прикоснулась рукой к плечу Хелен.

— Книги, книги, книги... — сказала Хелен с характерным для нее рассеянным видом. —

Опять новые книги. И что ты в них находишь?

Рэчел перечитала письмо, но уже про себя. На этот раз слова не показались ей расплывчатыми призраками, — наоборот, каждое из них выглядело удивительно выпуклым, как бы выдавалось вперед; они были похожи на вершины гор, приступающие сквозь туман. В пятницу... одиннадцать-тридцать... мисс Винрэс... Кровь в ее жилах побежала быстрее, и она сама почувствовала, как заблестели ее глаза.

— Мы должны пойти, — сказала Рэчел, удивив Хелен решимостью. — Обязательно должны. — Просто она ощутила облегчение, поняв, что в мире по-прежнему происходят события, которые показались ей еще ярче из-за окружающего их тумана.

— Монте-Роза — это вон та гора, кажется, — сказала Хелен. — Но кто такой Хьюит? Наверное, один из тех молодых людей, с которыми познакомился Ридли. Так, значит, дать согласие? Это может оказаться жутко скучно.

Она взяла письмо и вышла, поскольку принесший его посыльный ждал ответа.

Мероприятие, задуманное в спальне мистера Хёрста, начало приобретать формы, став источником большого удовольствия для мистера Хьюита, который редко использовал свои практические способности, но любил испытать их и убедиться, что поставленная перед ним задача ему по силам. Все его приглашения принимались, и это воодушевляло тем более, что они были разосланы против советов Хёрста «людям скучным, совершенно не подходящим друг другу, которые, безусловно, откажутся».

— Несомненно, — сказал Хьюит, сворачивая в трубочку и опять разворачивая записку от Хелен Эмброуз, — что таланты, необходимые великому полководцу, сильно преувеличены. Чтобы написать рецензию на сборник современной поэзии, нужно приложить вдвое больше усилий, чем я потратил, собирая семью или восемь человек обоего пола в одном месте в одно время. А что еще делает военачальник, Хёрст? Что, как не то же самое, сделал Веллингтон при Ватерлоо? Это все равно как считать камешки на дороге — утомительно, но не трудно.

Он сидел в своей спальне, положив одну ногу на подлокотник кресла. Хёрст, который напротив него писал письмо, не преминул заметить, что все трудности еще впереди.

— Например, эти две женщины, которых ты ни разу не видел. Вдруг, одна из них страдает боязнью высоты, как моя сестра, а вторая...

— Женщины — это для тебя, — перебил Хьюит. — Я пригласил их исключительно ради твоего блага. Видишь ли, Хёрст, тебе не хватает общества девушек — твоих ровесниц. Ты не умеешь с ними общаться, а это большой недостаток, учитывая, что человечество наполовину состоит из женщин.

Хёрст простонал, что он это вполне осознает.

Однако благодушие Хьюита немного ослабело, когда они с Хёрстом пришли на место, где была назначена встреча. Хьюит уже спрашивал себя, зачем вообще он пригласил всех этих людей и чего ради они соберутся здесь все вместе?

— Коровы, — размышлял он, — сбиваются вместе на поле, корабли — в спокойном море; и мы ничем от них не отличаемся, когда нам больше нечего делать. Но зачем это нам? Чтобы отвлечь себя от мыслей о природе вещей? — Он остановился у ручья и начал мутить воду своей тростью. — Чтобы не городить из ничего города, и горы, и целые вселенные? Или мы действительно любим друг друга? Или, наоборот, живем в постоянной неопределенности, ничего не знаем, перескакивая от мгновения к мгновению, как из мира в мир? В целом я склоняюсь к последнему.

Он перепрыгнул через ручей; Хёрст пошел в обход и присоединился к нему, заметив, что давно уже отчаялся искать разумные причины человеческих действий.

Через полминуты они подошли к розовато-оранжевому крестьянскому дому, стоявшему

среди платанов у ручья. Место было тенистое и удобное — прямо от него начинался склон горы. Среди тонких платанов молодые люди увидели группки пасущихся ослов; высокая женщина гладила по носу одного из них, вторая стояла на коленях у ручья и пила воду, зачерпывая ее ладонями.

Когда мужчины вошли в тень, Хелен увидела их и протянула руку.

— Я должна представиться, — сказала она. — Хелен Эмброуз.

Пожав руки, она добавила:

— А это моя племянница.

Смузгаясь, подошла Рэчел. Она тоже протянула руку, но тут же отдернула ее, объяснив:

— Она мокрая.

До появления первой повозки было едва ли сказано несколько слов.

Ослов быстро привели в готовность; прибыла вторая повозка. Рощицу постепенно наполняли люди: супруги Эллиот, супруги Торнбери, мистер Веннинг и Сьюзен, мисс Аллан, Эвелин Мёргатройд и мистер Перротт. Мистер Хёрст взял на себя роль сварливой, но энергичной овчарки. С помощью нескольких язвительных латинских слов он построил животных и, подставляя свое костлявое плечо, рассадил дам.

— Одного Хьюит не понимает, — заметил Хёрст. — Мы должны пройти большую часть пути до полудня, — говоря это, он помогал девушке по имени Эвелин Мёргатройд, которая взлетела в седло так легко, будто ничего не весила. В широкополой шляпе со свисающим пером, вся с головы до ног в белом, она была похожа на благородную даму времен Карла Первого, ведущую в бой войска роялистов.

— Поезжайте рядом со мной, — скомандовала она, и, когда Хёрст взобрался на мула, они двинулись вперед, возглавив кавалькаду.

— Не называйте меня мисс Мёргатройд. Я этого терпеть не могу, — сказала она. — Меня зовут Эвелин. А вас?

— Сент-Джон.

— Мне нравится, — сказала Эвелин. — А как зовут вашего друга?

— Его инициалы — Р. С. Т., но мы называем его Монахом, — ответил Хёрст.

— Вы слишком умны. Куда ехать? Найдите мне ветку. Поскачем быстрее.

Она стегнула мула прутиком и устремилась вперед. Ее богатая романтическая биография лучше всего выражалась ее собственными словами: «Называйте меня Эвелин, а я буду называть вас Сент-Джоном». Она говорила это очень легко — стоило человеку обратиться к ней по фамилии, но, хотя многие молодые люди отвечали ей горячим сердечным порывом, она продолжала говорить это другим, ни на ком не останавливая свой выбор. Ее осел перешел на легкую рысь, и ей пришлось ехать впереди одной, поскольку тропа, начав подъем на один из гребней холма, стала узкой и каменистой. Процессия извивалась, как длинная гусеница, украшенная белыми дамскими зонтиками от солнца и мужскими панамами. В одном месте, где подъем был слишком крутым, Эвелин М. спрыгнула на землю, передала поводья местному мальчишке и призвала спешиться Сент-Джона. Их примеру последовали те, кому пришла охота размять ноги.

— Не вижу необходимости слезать, — сказала мисс Аллан ехавшей за ней миссис Эллиот, — учитывая, как трудно мне было сесть в седло.

— Эти ослы могут вынести все, что угодно, *n'est-ce pas?* [33] — спросила та у проводника, который с готовностью кивнул в ответ.

— Цветы, — сказала Хелен, наклоняясь, чтобы нарвать ярких красивых цветов, здесь и там попадавшихся по пути. — Если потерять листочки, они пахнут, — добавила она, кладя цветок на колено мисс Аллан.

— Мы с вами раньше не встречались? — спросила мисс Аллан, посмотрев на нее.

— Я решила, что это подразумевается, — засмеялась Хелен, потому что в суматохе они не были представлены друг другу.

— Как это удачно придумано! — щебетала миссис Эллиот. — Чего-нибудь такого всегда хочется, жаль, это не всегда возможно.

— Невозможно? — удивилась Хелен. — Все возможно. Кто знает, что еще может случиться до вечера? — Ей захотелось подразнить пугливость бедной женщины, которая так зависела от заведенного порядка вещей, что даже мысль о пропущенном ужине или столе, передвинутом на дюйм с привычного места, наполняла ее страхом за прочность собственного положения.

Чем выше поднимались путники, тем сильнее они отрывались от мира, который, когда они смотрели назад, казался им все более плоским, разделенным на зеленые и серые квадраты.

— Городки такие маленькие, — сказала Рэчел, закрывая ладонью всю Санта-Марину с предместьями. Море плавно заполняло береговые изгибы, заканчиваясь белой кромкой; здесь и там в синюю гладь были влеплены корабли. Синеву разнообразили лиловые и зеленые пятна, а границу между морем и небом прочерчивала сверкающая линия. Воздух был кристально чист, тишину нарушили только резкое стрекотанье кузнечиков и жужжение пчел, которые гудели особенно громко, когда проносились мимо уха. Компания устроила привал в каменоломне на склоне.

— Какая четкость! — воскликнул Сент-Джон, сразу определив возраст нескольких геологических срезов.

Эвелин М. села рядом с ним и, опершись подбородком на руку, с победным видом оглядела панораму.

— Как вы думаете, Гарибальди здесь бывал? — спросила она мистера Хёрста. Ах, если бы она была невестой Гарибальди! Если бы пришла сюда не на пикник, а с отрядом патриотов, как они — в красной рубашке, и, распластавшись прямо на земле среди суровых мужчин, целилась бы в белые башенки внизу, заслоняя глаза от солнца, чтобы взглядом пронзать клубы дыма! Фантазируя, она беспокойно постукивала ногой по земле и наконец воскликнула: — Я считаю, что это не жизнь, а вы?

— А что вы считаете жизнью? — спросил Сент-Джон.

— Борьбу, революцию, — сказала она, все так же взирая на обреченный город. — Вас интересуют только книги, я знаю.

— Вы глубоко ошибаетесь, — сказал Сент-Джон.

— Объясните, — потребовала она. Поскольку под рукой не было винтовок, чтобы стрелять по людям, она обратилась к другому виду оружия.

— Что меня интересует? Люди.

— Неужели?! — воскликнула Эвелин. — У вас ужасно серьезный вид. Давайте будем друзьями и расскажем друг другу о себе. Я терпеть не могу осторожность, а вы?

Но Сент-Джон явно предпочитал осторожность, что она поняла по тому, как он вдруг поджал губы, не выказав ни малейшей готовности откровенничать с девушкой.

— Осел ест мою шляпу, — вместо ответа заметил он и протянул руку за шляпой. Эвелин едва заметно покраснела и несколько порывисто переключилась на мистера Перротта; когда пришло время садиться в седла, помогал ей уже он.

— Отложив яйца, надо есть омлет, — сказал Хьюлинг Эллиот, подразумевая изысканное французское выражение, которое, видимо, тонко намекало на то, что пора ехать дальше.

Полуденное солнце, как и предсказывал Хёрст, начинало палить нещадно. Чем выше поднимались люди, тем шире раскрывалось небо, пока гора не превратилась в небольшой земляной купол на фоне необъятной сини. Англичане умолкли, а местные жители, шедшие

рядом с ослами, принялись петь странными дрожащими голосами и перебрасываться шутками. Склон стал очень крутым, и каждый мог видеть впереди лишь ковылявшего осла и всадника на нем. Путешествие требовало гораздо большего напряжения сил, чем простая увеселительная прогулка, и до ушей Хьюита уже донеслось одно-два ворчливых замечания.

— Поездки на такой жаре, возможно, не слишком разумны, — тихо сказала миссис Эллиот мисс Аллан.

Но та ответила лишь:

— Я люблю доводить начатое до конца. — И это была правда; женщина она была крупная, не очень поворотливая и непривычная к езде на ослах, но ей редко удавалось поехать в отпуск, поэтому она старалась использовать его сполна.

Подвижная белая фигурка Эвелин М. маячила далеко впереди; девушка где-то раздобыла ветку с листьями и обернула ее вокруг шляпы на манер венка. Несколько минут шествие продолжалось в молчании.

— Вид будет чудесный, — уверил своих спутников Хьюит, повернувшись в седле с ободряющей улыбкой. Рэчел поймала его взгляд и улыбнулась в ответ. Они карабкались вверх еще некоторое время, и при этом был слышен лишь перестук копыт и выкатывавшихся из-под них камней. Наконец путники увидели, что Эвелин слезла с осла, а мистер Перротт стоит с видом политика на Парламентской площади, указывая рукой на открывшийся пейзаж. Чуть левее вздымались руины елизаветинской сторожевой башни.

— Еще немного — и я бы не выдержала, — призналась миссис Эллиот миссис Торнбери, но ответа не дождалась, поскольку всех уже наполнил восторг от того, что через мгновение они окажутся на вершине и будут любоваться видом. Один за другим люди выходили на площадку и останавливались в восхищении. Их взорам открылось огромное пространство: серые пески сменялись лесами, леса переходили в горы, а горы омывались массами воздуха, — бесконечные дали Южной Америки предстали во всей красе. Равнину пересекала река — такая же плоская, как земля, и столь же неподвижная на вид. Первое впечатление от такой необъятности было довольно-таки пугающим. Люди чувствовали себя очень маленькими, и какое-то время никто ничего не говорил. Затем Эвелин воскликнула:

— Великолепно! — и схватилась за то, что оказалось рядом. Это была рука мисс Аллан.

— Север, юг, восток, запад, — сказала мисс Аллан, слегка кивая по сторонам, на которые указывали отметки на компасе.

Хьюит, вышедший немного вперед, посмотрел на остальных, как будто ища подтверждения, что он не зря их пригласил. Люди стояли в ряд, слегка наклонившись против ветра, который прилепил одежду к их телам, и Хьюит заметил про себя, как странно они походят на обнаженные статуи. На пьедестале-горе они выглядели незнакомо и благородно. Однако через секунду ряд распался, а Хьюит начал руководить извлечением съестных припасов. К нему на помощь пришел Хёрст, и они стали передавать из рук в руки пакеты с курятиной и хлебом.

Получив от Сент-Джона свой пакет, Хелен взглянула ему в глаза и спросила:

— Помните двух женщин?

Он пристально посмотрел на нее и ответил:

— Помню.

— Так те две женщины — это вы! — воскликнул Хьюит, переводя взгляд с Хелен на Рэчел.

— Нас соблазнили освещенные окна, — сказала Хелен. — Мы смотрели, как вы играете в карты, но не подозревали, что за нами тоже наблюдают.

— Это было что-то вроде игры, — добавила Рэчел.

Казалось странным, что кто-то мог увидеть Хелен и не заметить в ней ничего характерного.

Хьюлинг Эллиот надел очки и взял инициативу на себя.

— По-моему, нет ничего ужаснее, — сказал он, отрывая куриную ножку, — чем когда на тебя смотрят, а ты об этом не знаешь. Человек потом всегда бывает уверен, что его застали за каким-нибудь смешным действием: например, за разглядыванием своего языка в зеркале одноколки.

— И все-таки эти маленькие зеркальца в одноколках так и тянут к себе, — сказала миссис Торнбери. — Черты лица выглядят совсем иначе, когда рассматриваешь его по частям.

— Скоро одноколок почти не останется, — заметила миссис Эллиот. — А четырехколесные экипажи... Уверяю вас, теперь даже в Оксфорде почти невозможно нанять четырехколесный экипаж.

— Интересно, куда деваются лошади? — сказала Сьюзен.

— Пирог с телятиной, — вставил Артур.

— Лошадям пора исчезнуть с лица земли, — сказал Хёрст. — Они омерзительно уродливы и к тому же злобны.

Однако Сьюзен, которая с детства усвоила, что лошадь — благороднейшее из Божих созданий, не могла с ним согласиться, а Веннинг про себя назвал Хёрста отъявленным болваном, но из вежливости продолжил разговор.

— Наверное, они чувствуют, что отмщены, видя, как падают наши аэропланы, — заметил он.

— Вы летаете? — спросил престарелый мистер Торнбери, надевая очки, чтобы рассмотреть Артура.

— Надеюсь, буду со временем.

Перешли на тему авиации, и миссис Торнбери высказала мнение, а точнее, прочитала небольшую речь о том, что во время войны аэропланы будут весьма необходимы, тогда как Англия в этом смысле страшно отстает.

— Будь я молодым человеком, — заключила она, — я обязательно выучилась бы на пилота.

Странно было видеть маленькую пожилую даму в сером костюме, с бутербродом в руке и глазами, горящими от того, что она представила себя юношей-авиатором. Однако потом беседа почему-то застопорилась, и дальше речь шла только о напитках, соли и красивом виде. Внезапно мисс Аллан, которая сидела, прислонившись спиной к руинам, положила свой бутерброд, сняла что-то с шеи и заявила:

— По мне ползают какие-то мелкие твари.

Это была правда, и сделанное мисс Аллан открытие оказалось очень кстати. Промежутки между камнями руин были заполнены рыхлой землей — оттуда и ползли крупные бурые муравьи с блестящими тельцами. Мисс Аллан сняла одного с тыльной стороны своей кисти и показала Хелен.

— А вдруг они кусаются? — сказала Хелен.

— Они не кусаются, но они могут заползти в еду, — ответила мисс Аллан. Были принятые меры, чтобы отклонить курс движения муравьев. По предложению Хьюита, была использована современная военная тактика, используемая против армии захватчиков. Осажденную страну представляла скатерть; вокруг нее были возведены укрепления из корзин, бастионы из винных бутылок, крепостные стены из хлеба и вырыты рвы, которые заполнили солью. По муравью, прорвавшемуся через все заслоны, открыли стрельбу хлебными шариками, но Сьюзен заявила, что это жестоко, воздав, впрочем, должное храбости защитников. Играя, люди избавились от скованности и даже на удивление осмелели: робкий мистер Перротт, сказав: «Позвольте», — снял муравья с шеи Эвелин.

— Было бы не до смеха, — шепнула миссис Эллиот миссис Торнбери, — если бы муравей

заполз под нижнюю сорочку.

Вдруг гам усилился: было обнаружено, что длинная вереница муравьев нашла обходной путь на скатерть. Если бы успех измерялся шумом, то Хьюит имел бы все основания считать своих солдат полными победителями. Однако, без всякой причины, он впал в крайнее уныние.

«Они никуда не годятся, они ничтожны», — думал он, собирая посуду на некотором отдалении и оглядывая оттуда своих спутников, которые, сосредоточенно склонившись над скатертью, сутились и жестикулировали. Они были скромны и любезны, во многих смыслах достойны уважения, даже милы в своем самодовольстве и стремлении быть добродетельными, но при этом — столь заурядны, столь способны на бесчувственную жестокость по отношению друг к другу! Вот миссис Торнбери, приветливая, но банальная в своем материинском эгоизме; миссис Эллиот, с бесконечными жалобами на судьбу; ее муж, будто отлитый по шаблону; и Сьюзен — она вообще лишена индивидуальности, и хорошей, и плохой; Веннинг простодушен и груб, как школьник; бедный старый Торнбери безропотно бредет по своему кругу, как лошадь на мельнице; а о характере Эвелин — предположил Хьюит — чем меньше знаешь, тем лучше. Однако это были люди при деньгах, и они больше, чем кто бы то ни было, управляли этим миром. Попади в их среду кто-то более одухотворенный, небезразличный к жизни и красоте — какие муки они причинят ему, какие раны нанесут, если он попытается не злословить, а поделиться с ними своими чувствами!

«Есть, конечно, Хёрст, — заключил он, переведя взгляд на фигуру своего друга. Тот, по обыкновению сосредоточенно нахмурив лоб, чистил банан. — А он страшен, как смертный грех».

Как-то у него получалось, что в уродстве Сент-Джона Хёрста и тех издержках, которые оно влечет, виноваты все остальные. По их вине ему приходится жить одному. Затем Хьюит посмотрел на Хелен, привлеченный ее смехом. Она смеялась над мисс Аллан.

— Вы носите комбинацию в такую жару? — спросила она, понизив голос, чтобы никто не услышал. Она очень нравилась Хьюиту — ему нравилась не столько ее красота, сколько то, как просто она себя ведет, какая она большая, — этим она отличалась от других, напоминая огромную каменную женщину. Настроение у Хьюита поднялось, и тут ему на глаза попалась Рэчел. Она лежала в стороне, опершись на локоть. Возможно, ее посещали те же самые мысли, что и Хьюита. Она смотрела на ряд людей перед собой — печально, но без напряжения. Хьюит подполз к ней на коленях, держа в руке кусок хлеба.

— На что вы смотрите? — спросил он.

Она слегка вздрогнула от неожиданности, но ответила прямо:

— На людей.

Глава 11

Один за другим они вставали, потягиваясь, и вскоре разделились на две более или менее очерченные компании. В одной верховодили Хьюлинг Эллиот и миссис Торнбери: они читали одни и те же книги, их волновали одни и те же вопросы, и сейчас они с жаром называли места, лежавшие внизу, сопровождая это подробными сведениями о военном флоте, армии, политических партиях, коренном населении и полезных ископаемых, — и все это вместе, по их утверждению, доказывало, что Южная Америка — край с большим будущим.

Эвелин М. слушала, уставившись на прорицателей широко открытыми голубыми глазами.

— Из-за всего этого так хочется быть мужчиной! — воскликнула она.

Мистер Перротт ответил, окидывая взглядом равнину, что край с большим будущим — это хорошо.

— На вашем месте, — сказала Эвелин, поворачиваясь к нему и яростно растягивая перчатку, — я собрала бы войско и завоевала бы какие-нибудь обширные земли, чтобы устроить там все по-хорошему. Вам для этого понадобились бы и женщины. Я с радостью начала бы жизнь с самого начала, чтобы в ней все было, как надо — никаких мерзостей, — только просторные залы, сады и прекрасные люди. Но вам — вам нравятся только суды!

— А вас действительно устроила бы жизнь без модных платьев, сладостей и всего остального, что вы, молодые дамы, так любите? — спросил мистер Перротт, скрывая за иронией некоторую душевную боль.

— Я не молодая дама! — Эвелин покраснела и закусила нижнюю губу. — Просто я люблю все прекрасное, а вы надо мной за это смеетесь. Почему теперь нет таких мужчин, как Гарибальди?!

— Погодите, — сказал мистер Перротт. — Вы не даете мне шансов. Вы считаете, что нам стоит начать все заново. Хорошо. Но я не совсем понимаю, зачем завоевывать земли. Они вроде все уже завоеваны, разве нет?

— Дело не в землях, — объяснила Эвелин. — Дело в идее, неужели не понятно? Мы живем так пресно! А я уверена, у вас есть прекрасные качества.

Хьюит увидел, как трогательно разгладились рубцы и борозды на понятливом лице мистера Перротта. Можно было легко представить, как он в этот момент про себя прикидывает, стоит ли делать женщине предложение, учитывая, что он зарабатывает своим адвокатским ремеслом не более пяти сотен в год, состояния не имеет и должен заботиться о больной сестре. Кроме того, мистер Перротт сознавал, что он «не вполне», как в своем дневнике выразилась Сьюзен. Она имела в виду, что он не вполне джентльмен: сын бакалейщика из Лидса, начал карьеру с корзиной на спине и теперь, будучи практически неотличим от джентльмена по рождению, проницательному наблюдателю выдавал себя безупречной аккуратностью костюма, отсутствием свободы в манерах, крайней чистоплотностью и особой, не поддающейся описанию, робостью и скрупулезностью в обращении с ножом и вилкой, что, возможно, было отголоском тех времен, когда мясо на столе было редкостью и съедалось моментально.

Две компании, разбрехавшиеся было порознь, опять соединились и вместе долго любовались пейзажем, который источал жар и был будто скроен из зеленых и желтых кусков. В потоках горячего воздуха смутно виднелись крыши домов на равнине. Даже на вершине горы, где играл легкий бриз, было настоящеек пекло; жара, съеденная пища, необъятный простор, а возможно, и еще какие-то не столь определенные причины привели людей в состояние приятной сонливости и расслабленности. Они почти ничего не говорили, но в их молчании не чувствовалось напряжения.

— Не пойти ли нам посмотреть, что есть интересного вон там? — предложил Артур Сьюзен, и оба удалились, причем их уход вызвал у оставшихся определенные мысли.

— Странный народ, правда? — сказал Артур. — Я уж было думал, на вершину всех не дотащишь. Но я рад, что мы пошли, ей-богу! Ни на что не променял бы это.

— Мне не нравится мистер Хёрст, — вдруг сказала Сьюзен. — Он вроде очень умный, но почему умные люди такие... Впрочем, наверное, он очень мил, — поправилась она, чувствуя, что ее замечание может показаться слишком резким.

— Хёрст? А, он из этих ученых малых, — безразлично сказал Артур. — По нему не скажешь, что это его особо радует. Вы бы слышали, как он говорил с Эллиотом. Я и понимал-то их едва-едва... В книгах я никогда не был силен.

Перемежая эти замечания паузами, они добрали до небольшого холмика, на котором росло несколько тонких деревьев.

— Вы не против тут посидеть? — спросил Артур, осматриваясь. — В тени хорошо, да и вид... — Они сели и некоторое время молча смотрели перед собой. — Хотя иногда я этим умникам завидую, — продолжил Артур. — Они, наверное, никогда... — Он не закончил фразу.

— Не понимаю, чему вы можете завидовать, — с большой искренностью сказала Сьюзен.

— Странные вещи творятся с людьми, — заметил Артур. — Вроде жизнь идет гладко, одно следует за другим, все хорошо, как по маслу, кажется, все ты уже знаешь и понимаешь, но вдруг — раз — и ничего не знаешь, ничего не понимаешь, все не так, как было. Сегодня, когда я ехал по той тропинке за вами, мне показалось, будто всё... — Он замолчал, вырвал с корнем пучок травы и стряхнул застрявшие в корешках комки земли. — Будто всё это неспроста. Вы для меня не то, что другие, — вдруг выпалил он. — Не знаю, почему я должен это скрывать. Я это чувствую с тех пор, как узнал вас... Потому что я люблю вас.

Уже во время обмена банальностями Сьюзен охватило волнение оттого, что они оказались наедине, и это состояние открыло нечто новое не только в ней самой, но и в деревьях, и в небе; казалось, речь Артура текла каким-то неизбежным порядком, что причиняло ей острую душевную боль, поскольку еще ни один человек не был к ней так близок.

Слушая его, она оцепенела, а на последних словах ее сердце чуть не выскоцило из груди. Она крепко сжимала в руках камень и смотрела прямо перед собой, на равнину, простиравшуюся внизу. Итак, это произошло с ней, ей сделали предложение.

Артур обернулся к ней, его лицо было странно перекошено. Сьюзен дышала с таким трудом, что едва ли могла ответить.

— Вы, наверное, знали! — Он обнял ее. Они прижимались друг к другу еще и еще, бормоча что-то нечленораздельное. — Да... — вздохнул Артур, откидываясь на землю. — Это самое чудесное из всего, что было в моей жизни. — У него был такой вид, будто он старается отделить сон от яви.

Последовала долгая пауза.

— Лучшее из всего, что есть в мире, — провозгласила Сьюзен, очень мягко, но с глубоким убеждением. Это было уже не просто предложение выйти замуж, но выйти за Артура, которого она любила.

Опять помолчали, и она, держа свою руку в его руках, молилась Богу о том, чтобы стать Артуру хорошей женой.

— А что скажет мистер Перротт? — наконец спросила она.

— Старый добрый друг... — сказал Артур. Теперь, когда первое волнение улеглось, он отдался исключительно приятному чувству расслабленности и удовлетворения. — Мы должны быть с ним поласковее, Сьюзен.

Он рассказал ей, какие тяготы пришлось пережить Перротту и какой он преданный друг.

Затем — о своей матери, вдове с сильным характером. В ответ Сьюзен описала ему своих близких, особенно Эдит, младшую сестру, которую она любила больше всех.

— Кроме тебя, Артур... Артур, — продолжила она, — чем я тебе понравилась при нашей первой встрече?

— Пряжкой, которая была на тебе тем вечером, у моря, — поразмыслив, ответил Артур. — Помню, я еще заметил, — как это ни смешно! — что ты не ешь горох, потому что я сам его никогда не ем.

Затем они стали сравнивать свои более серьезные вкусы, а точнее, Сьюзен выясняла, что любит Артур, и признавалась в тех же самых пристрастиях. Они будут жить в Лондоне, возможно, у них еще будет домик в провинции, поближе к родным Сьюзен, потому что им поначалу будет без нее не по себе. Ее воображение, оправившись от шока, начало рисовать перемены, которые повлечет за собой помолвка: как восхитительно будет вступить в ряды замужних женщин, больше не тосковать среди девушек намного моложе себя, избежать нескончаемого одиночества старой девы. Опять и опять ее захватывало чувство, что ей выпало удивительное счастье, и она обращалась к Артуру с любовными восклицаниями.

Лежа в объятиях друг друга, они и не думали, что их кто-то может увидеть. Внезапно среди деревьев над ними появились двое.

— Вот тут есть тень... — начал Хьюит, но Рэчел вдруг замерла как вкопанная. Чуть ниже они увидели мужчину и женщину на земле, которые слегка катались из стороны в сторону, то ослабляя, то опять усиливая объятия. Мужчина сел прямо, а женщина, оказавшаяся Сьюзен Уоррингтон, осталась лежать на спине с закрытыми глазами и таким отсутствующим выражением лица, будто она была без сознания. По ее лицу также нельзя было понять, хорошо ей или она страдает. Когда Артур опять повернулся к ней и ткнулся в нее головой, как ягненок тыкается в овцу, Хьюит и Рэчел безмолвно ретировались. Хьюит чувствовал неловкость.

— Мне это не нравится, — через какое-то время сказала Рэчел.

— Насколько я помню, мне тоже, — сказал Хьюит. — Насколько я помню... — но передумал и продолжил нормальным тоном: — Мы вполне можем предположить, что они помолвлены. Как по-вашему, он будет летать или она этому помешает?

Но Рэчел все еще была взволнована: она не могла забыть только что увиденное. Не ответив Хьюиту, она продолжила свою тему:

— Странная вещь любовь. От нее так бьется сердце.

— Просто она очень важна, — ответил Хьюит. — Теперь их жизнь изменится бесповоротно.

— И поэтому их становится жаль, — сказала Рэчел, как будто прослеживая нить своих ощущений. — Я с ними не знакома, но почти готова расплакаться от жалости. Глупо, правда?

— Только потому, что они влюблены? — спросил Хьюит. — Да, — согласился он, подумав, — в этом есть нечто ужасно жалкое.

Они уже отошли довольно далеко от рощицы и набрали на закругленный овражек, очень соблазнительный для спины. Они сели, и впечатление от любовной сцены слегка потеряло свою силу, хотя их восприятие действительности осталось обостренным, что было, вероятно, тоже результатом увиденного. Бывают дни, которые отличаются от других тем, что какое-то сильное чувство подавляет все остальные; для Рэчел и Хьюита необычным стал этот день — просто оттого, что они увидели двух человек в кульминационный момент их жизни.

— Похоже на лагерь из громадных палаток, — сказал Хьюит, глядя на горы. — И еще на акварель, правда? Знаете, как акварель высыхает на бумаге, такими гребнями? А я все никак не мог понять, на что это похоже.

Его глаза приняли задумчивое выражение, будто он что-то сравнивал в уме. Рэчел

подумала, что цветом они похожи на зеленую плоть улитки. Она сидела рядом с ним и тоже смотрела на горы. Вид необъятного пространства как будто заставлял глаза Рэчел расширяться сверх их естественного размера, отчего они заболели, и она перевела взгляд на то, что было рядом. Ей было приятно пристально разглядывать кусочек южноамериканской земли: она видела каждую ее крупицу, представляя в ней целый мир, над которым она, Рэчел, имела верховную власть. Она наклонила травинку, посадила насекомое на самый кончик ее метелки и стала гадать, осознает ли оно странность своего приключения; а еще она подумала, как странно, что она наклонила именно эту, а не какую-нибудь другую из миллиона травинок.

— Вы не сказали, как вас зовут, — вдруг произнес Хьюит. — Мисс Кто-то Винрэс... Одной фамилии мне мало.

— Рэчел.

— Рэчел, — повторил он. — У меня есть тетя по имени Рэчел, которая переложила на стихи биографию отца Дамьена [34]. Она религиозная фанатичка — результат воспитания, — выросла в Нортгемптоншире, в полном безлюдье. У вас есть тети?

— Я с ними живу, — сказала Рэчел.

— Вот интересно, что-то они сейчас делают?

— Наверное, покупают шерсть, — предположила Рэчел и попыталась описать их: — Они такие маленькие, довольно бледные дамы. Чистюли. Мы живем в Ричмонде. Еще у них есть старая собака, которая ест только костный мозг... Они все время ходят в церковь. И очень часто наводят порядок в комодах. — Однако тут она сдалась перед трудностью описания людей и воскликнула: — Невозможно представить, что это все так и продолжается!

Солнце светило им в спины, и на земле перед ними вдруг появились две длинных тени: одна колыхалась, потому что это была тень юбки, а другая стояла неподвижно, поскольку ее отбрасывали ноги в брюках.

— Вы удобно устроились! — донесся сверху голос Хелен.

— Хёрст, — сообщил Хьюит, указав на тень в форме ножниц, обернулся к пришедшим и сказал: — Тут хватит места на всех.

Усевшись, Хёрст спросил:

— Вы поздравили молодую чету?

Оказалось, что Хелен и Хёрст побывали в том же месте через несколько минут после Хьюита и Рэчел и видели то же самое.

— Нет, не поздравили, — сказал Хьюит. — У них был такой счастливый вид.

— Что ж, — Хёрст поджал губы, — поскольку мне не надо жениться ни на ком из них...

— Мы были весьма тронуты, — сказал Хьюит.

— В этом я не сомневаюсь, — отозвался Хёрст. — Что именно тебя тронуло, Монах? Мысль о бессмертной страсти или о новорожденных мальчиках, которые защитят страну от католиков? Уверяю вас, — сказал он Хелен, — его может тронуть и то и другое.

Его подщечивание сильно уязвило Рэчел, поскольку она приняла его и на свой счет, но придумать ответную колкость не могла.

— А Хёрста ничего не трогает, — засмеялся Хьюит. Его, по всей видимости, шутки друга совсем не обижали. — Разве что, если бесконечное число влюбится в конечное — такое, думаю, случается даже в математике.

— Наоборот, — сказал Хёрст с легким раздражением. — Я считаю себя человеком очень сильных страстей.

Судя по его тону, он говорил всерьез. Сказанное предназначалось, конечно, дамам.

— Кстати, Хёрст, — начал Хьюит после паузы. — Я должен сделать ужасное признание. Твоя книга, стихи Вордсворта — если помнишь, я взял ее с твоего стола, когда мы выходили, и

совершенно точно положил в этот карман...

— Потеряна, — закончил за него Хёрст.

— Надеюсь, — попытался утешить его Хьюит, хлопая себя справа и слева, — что я вообще не взял ее с собой.

— Взял, — сказал Хёрст. — Вот она. — Он указал на его грудь.

— Слава Богу! — воскликнул Хьюит. — Теперь не придется чувствовать себя убийцей младенцев!

— Вы, наверное, постоянно что-то теряете, — предположила Хелен, задумчиво глядя на него.

— Я не теряю. Просто кладу не туда. Поэтому Хёрст отказался пересекать океан в одной каюте со мной.

— Вы отплыли вместе? — спросила Хелен.

— Предлагаю, чтобы каждый из присутствующих сейчас кратко изложил свою биографию, — сказал Хёрст, садясь прямо. — Мисс Винрэс, вы первая. Начинайте.

Рэчел рассказала, что ей двадцать четыре года, она дочь судовладельца, настоящего образования не получила, играет на фортепьяно, братьев и сестер нет, живет в Ричмонде с тетками, мать ее умерла.

— Следующий, — сказал Хёрст, усвоив эти факты. Он указал на Хьюита.

— Я сын английского дворянина. Мне двадцать семь лет, — начал Хьюит. — Мой отец был сквайром, охотился на лис. Он погиб на охоте, когда мне было десять лет. Помню, домой принесли его тело — на ставне, кажется, — как раз, когда я спускался пить чай, и я заметил, что на столе все равно был джем, и удивился — неужели мне разрешат...

— Да-да, но только факты, — вставил Хёрст.

— Я учился в Винчестере [35] и Кембридже, откуда через некоторое время мне пришлось уйти. С тех пор я много чем занимался...

— Профессия?

— Никакой — по крайней мере...

— Склонности?

— Литературные. Пишу роман.

— Братья и сестры?

— Три сестры, братьев нет, есть мать.

— Это все, что мы о вас услышим? — спросила Хелен. В свою очередь, она поведала, что очень стара — в октябре ей минуло сорок, ее отец был поверенным в Сити, но разорился, поэтому она толком не получила образования — они часто переезжали, — но старший брат давал ей читать книги. — Если бы я стала рассказывать вам все... — Она умолкла и улыбнулась. — Это заняло бы слишком много времени. Я вышла замуж тридцати лет, у меня двое детей. Муж — ученый. Теперь ваша очередь, — кивнула она Хёрсту.

— Вы многое опустили, — упрекнул он ее и бодро начал: — Меня зовут Сент-Джон Аларик Хёрст. Мне двадцать четыре года, я сын преподобного Сидни Хёрста, приходского священника в Грейт-Вэппинге, в Норфолке. Э-э, везде был стипендиатом — в Вестминстере, в Кингз-Колледже [36]. Сейчас в аспирантуре в Кингз-Колледже. Скучновато, да? Оба родителя живы (увы). Два брата, одна сестра. Я весьма незаурядный молодой человек, — добавил он.

— Один из трех — ну, пяти — самых незаурядных людей в Англии, — заметил Хьюит.

— Совершенно верно, — сказал Хёрст.

— Это все очень интересно, — сказала Хелен после паузы, — но все действительно важные вопросы мы обошли. Например, мы христиане?

— Я — нет, — почти хором сказали молодые люди.

— Я — да, — сообщила Рэчел.

— Вы верите в Бога как личность? — изумился Хёрст, поворачиваясь и наводя на нее свои очки.

— Я верю... Я верю... — Рэчел начала заикаться. — Верю, что есть нечто, о чем мы не знаем, верю, что мир может измениться за одну минуту и стать каким угодно.

На это Хелен откровенно рассмеялась.

— Чепуха, — сказала она. — Ты не христианка. Ты даже не задумывалась, кто ты. Есть много других вопросов. Однако их, наверное, пока задавать нельзя.

Хотя они беседовали так свободно, им было несколько неловко от того, что они на самом деле ничего не знают друг о друге.

— А это важные вопросы, — задумчиво заметил Хьюит. — Самые интересные. Только вот люди, пожалуй, не задают их друг другу.

Рэчел было трудно смириться с тем, что даже близкие друзья могут обсуждать лишь очень немногие темы, поэтому она потребовала у Хьюита объяснений:

— Была ли в нашей жизни любовь? Вы говорите о таких вопросах?

Хелен опять засмеялась над ее простодушной смелостью и шутя обсыпала травой.

— Ах, Рэчел! — воскликнула она. — Ты как щенок, который, играя, вытаскивает в прихожую нижнее белье хозяев.

И вновь на залитую солнцем землю перед ними легли колышущиеся фантомы — тени людей.

— Вот они! — прокричала миссис Эллиот. В ее голосе слышалось легкое раздражение. — А мы с ног сбились, разыскивая вас. Вы знаете, сколько времени?

Над ними стояли миссис Эллиот и чета Торнбери. Миссис Эллиот держала часы, демонстративно постукивая пальцем по циферблату. Хьюиту напомнили, что он — ответственный за путешествие, и он немедленно повел всех обратно к сторожевой башне, где перед отправлением домой планировалось выпить чаю. Подходя к месту, они увидели, что на вершине стены развеивается яркий малиновый шарф, а мистер Перротт и Эвелин пытаются укрепить его камнями. Жара немного спала, но зато тень ушла в сторону, и поэтому им пришлось сидеть на солнце, которое окрасило их лица в красные и желтые оттенки и ярко высветило большие куски земли за ними.

— Ничего нет прекраснее чая! — сказала миссис Торнбери, беря свою чашку.

— Ничего, — согласилась Хелен. — Помните, в детстве, режешь сухую траву, — она говорила намного быстрее, чем обычно, не отрывая глаз от миссис Торнбери, — и делаешь вид, будто это чай, а няньки тебя за это ругают — почему, не понимаю, — может, оттого, что все няньки такие грубые создания — не разрешают съывать перец вместо соли, хотя в нем нет ни малейшего вреда. Ваши няньки были такие же?

Во время этой тирады появилась Сьюзен и села рядом с Хелен. Через несколько минут с противоположной стороны вышел мистер Веннинг. Он слегка раскраснелся и на все, что ему говорили, отвечал с особенной веселостью.

— Что это вы сделали с могилой старика? — спросил он, указывая на красный флаг, реявший над руинами.

— Мы хотели, чтобы он забыл, как ему не повезло умереть триста лет назад, — сказал мистер Перротт.

— Как это ужасно — быть мертвым! — выпалила Эвелин М.

— Быть мертвым? — переспросил Хьюит. — По-моему, ничего ужасного. Это довольно легко вообразить. Когда сегодня ляжете в постель, сложите руки вот так и дышите — все медленнее и медленнее. — Он лежал спиной на землю, закрыл глаза и сложил руки на груди. — А

теперь... — Он забормотал монотонным голосом: — Я больше никогда, никогда, никогда не буду двигаться. — Его тело, ровно лежащее между ними, на мгновение действительно показалось им мертвым.

— Что за жуткая игра, мистер Хьюит! — закричала миссис Торнбери.

— Нам еще кекса, — сказал Артур.

— Уверяю вас, в ней нет ничего жуткого, — ответил Хьюит, садясь и беря в руки кекс. — Это так естественно. Родители должны заставлять детей делать это упражнение каждый вечер... Это не значит, что я хочу поскорее умереть.

— Говоря «могила», — сказал мистер Торнбери, который до этого почти не раскрывал рта, — вы что, имеете какие-либо основания называть эти руины могилой? Я с вами совершенно согласен, если вы, вопреки общепринятому мнению, отказываетесь признать в них елизаветинскую сторожевую башню, — так же, как я не верю, что кольцевидные насыпи или валы, которые мы находим на вершинах известковых холмов у нас в Англии, — это следы стоянок. Археологи все называют стоянками. А где, по-вашему, наши предки держали скот? Половина английских стоянок — это просто древние загоны или скотные дворы, как говорят в наших краях. Довод, что никто не станет держать скот на таких видных, но труднодоступных местах, в моих глазах силы не имеет — следует вспомнить, что в те времена скот был главным достоянием человека, его капиталом, приданым его дочери. Без скота он был крепостным, чьей-то собственностью... — Глаза мистера Торнбери постепенно потухли, и несколько заключительных слов он пробормотал уже совсем неслышно, выглядя очень старым и жалким.

Хьюлинг Эллиот, которому полагалось вступить в спор со стариком, в этот момент отсутствовал. Однако вскоре он подошел, демонстрируя большой хлопчатобумажный платок с затейливым рисунком. На фоне ярких красок рука мистера Эллиота казалась бледной.

— Выгодная покупка, — объявил он, кладя платок на скатерть. — Приобрел у того здоровяка с серьгами. Хорош, правда? Подойдет он, конечно, не каждой, но в том-то и штука — верно, Хильда? Это для миссис Рэймонд Перри.

— Миссис Рэймонд Перри! — хором вскрикнули Хелен и миссис Торнбери и посмотрели друг на друга, как будто туман, дотоле скрывавший их лица, сдуло ветром.

— А, вы тоже бывали на этих чудесных приемах? — с интересом спросила миссис Эллиот.

Гостиная миссис Перри тут же возникла у них перед глазами, хотя она находилась за несколько тысяч миль, за огромной полосой воды, на утлом клочке суши. Словно до этого у них не было опоры, за которую можно было бы зацепиться, а теперь они обрели ее и вместе с нею — определенность в глазах друг друга. Возможно, они бывали в этой гостиной одновременно или встречались, проходя по лестнице. Во всяком случае, у них были общие знакомые. Женщины оглядывали друг друга с новым интересом. Впрочем, им пришлось ограничиться взглядами, потому что вкусить плоды открытия времени не было. Их уже ждали ослы — следовало побыстрее начинать спуск, поскольку в этих краях вечерело так быстро, что они могли не успеть домой дотемна.

По очереди усаживаясь в седла, люди двинулись вереницей вниз по склону. Изредка они перебрасывались репликами, иногда шутили и смеялись. Кто-то часть пути шел пешком, собирая цветы и пиная камни, которые, подскакивая, катились вперед.

— Кто в вашем колледже лучше всех пишет латинские стихи, Хёрст? — без повода спросил мистер Эллиот, и мистер Хёрст ответил, что не имеет никакого представления.

Сумерки сгостились внезапно — как и предупреждали местные проводники. Впадины горы по обе стороны заполнились мраком, и тропу стало почти не видно — было даже странно слышать, что ослиные копыта все так же стучат по камням. Люди по одному затихали, пока наконец не погрузились в полное молчание, как будто густая синь окружающего пространства

пробрала их до глубины души. В темноте путь показался короче, чем днем, и вскоре на равнине внизу забрезжили огни городка.

Вдруг кто-то вскрикнул: «Ах!»

Через мгновение снизу опять медленно поднялась в небо яркая желтая капля. Она остановилась, распустилась, как цветок, и рассыпалась дождем.

— Фейерверк! — закричали путники.

Еще одна шутиха взлетела быстрее, а потом еще одна. Казалось, что даже слышно, как они шипят, вертясь в воздухе.

— Наверное, день какого-нибудь святого, — раздался чей-то голос.

Ракеты взмывали в воздух и сливались между собой с таким экстазом, что напоминали любовников, соединяющихся во внезапном приступе страсти на глазах толпы, которая наблюдает за ними с вытянутыми бледными лицами. Но Сьюзен и Артур, съезжая по склону горы, не сказали друг другу ни слова и предусмотрительно держались порознь.

Постепенно вспышки фейерверка стали реже, а вскоре вовсе прекратились, и остаток пути был преодолен в почти полной темноте. Гора нависала сзади огромной тенью, а маленькие тени кустов и деревьев выплескивали мрак на дорогу. Под платанами путники спешно расселись по своим повозкам и отбыли, не попрощавшись друг с другом или сделав это глохо и нечленораздельно.

Было так поздно, что между прибытием в гостиницу и отправкой ко сну уже не нашлось времени для обмена впечатлениями. Однако Хёрст все-таки забрел в номер Хьюита, держа в руке свой воротничок.

— Что ж, Хьюит, — заметил он, широко зевнув, — успех потрясающий, я считаю. — Он опять зевнул. — Только смотри, чтобы тебя не заарканила эта девица... Не люблю девиц.

Хьюита так клонило в сон после многочасовой прогулки, что он не смог произнести ни слова в ответ. Да и все остальные участники вылазки через десять минут уже спали, как убитые, — за исключением Сьюзен Уоррингтон. У ее кровати горела лампа, и она довольно долго лежала, уставившись в стену напротив и сложив руки на груди. Все оформленные мысли давно ее покинули; ее сердце как будто разрослось до размеров солнца и освещало изнутри все тело, излучая ровное солнечное тепло.

— Я счастлива, я счастлива, я счастлива, — повторяла она. — Я всех люблю. Я счастлива.

Глава 12

Когда помолвка Сьюзен была одобрена ее домашними и в гостинице о ней смогли узнать все, кому это было интересно, — а к тому времени гостиничное сообщество разделилось как раз на те группки, которые описал мистер Хёрст, говоря о воображаемых меловых кругах, — возникла идея, что новость стоит отметить. Экспедицией? Но она уже была проведена. Тогда — танцы. Танцы хороши были тем, что они заняли бы один из долгих вечеров, чреватых скукой, которая не лечится бриджем и немыслимо рано загоняет в постель.

Два или три человека, стоявшие в холле под вздыбленным чучелом леопарда, решили дело очень быстро. Эвелин протанцевала шажок-другой туда-сюда и объявила, что пол превосходный. Синьор Родригес сообщил о старом испанце-скрипаче, который играет на свадьбах, причем так, что даже черепаху заставит вальсировать; а еще у него есть дочь — она, хотя и наделена черными, как смоль, глазами, имеет ту же власть над роялем. А если найдутся такие, кто предпочтет сидячие развлечения пляскам и наблюдению за ними — в силу недомогания либо природной угрюмости, то им будут предоставлены гостиная и бильярдная. Хьюит взялся по возможности умиротворить неприсоединившихся. Теорию Хёрста о невидимых меловых кругах он полностью игнорировал. Ему, конечно, пришлось выслушать одну-две сварливые отповеди, зато он нашел несколько одиноких неприметных господ, которые были рады слушаю побеседовать с себе подобным, а также даму сомнительного свойства — она, судя по всему, намеревалась в ближайшем будущем поведать ему свою историю. Он понял, что два-три часа между ужином и отходом ко сну для многих были наполнены тоской, потому что они не смогли найти себе друзей, и это было печально.

Танцы условились устроить в пятницу, через неделю после помолвки, и в этот день за ужином Хьюит объявил, что удовлетворен.

— Они все придут! — сказал он Хёрсту.

Он увидел, что вслед за официантом, несшим суп, проскользнул Уильям Пеппер с брошюрой под мышкой.

— Пеппер! Мы надеемся, что вы откроете бал.

— Заснуть вы точно никому не дадите, — отозвался Пеппер.

— Вы танцуете с мисс Аллан, — продолжил Хьюит, справившись в своем списке.

Пеппер остановился и начал лекцию о круговых танцах, контрдансах, моррисах и кадрилях, которые стоят неизмеримо выше, чем ублюдоочный вальс и шельмовская полька, самым возмутительным образом завладевшие любовью современной публики... Но тут официанты бережно подтолкнули оратора в угол, к его столу.

В это время столовая удивительно напоминала двор фермы, на котором рассыпано зерно и куда слетаются яркие голуби. Почти все дамы были в платьях, впервые представляемых на суд местной публики, а прически их вздымались волнами и спиральями, походя более на резное дерево в готических храмах, чем на волосы. Ужин был короче и менее формальным, чем обычно, казалось, даже официанты заражены всеобщим волнением. За десять минут до того, как часы пробили девять, комитет устроителей прошествовал через бальный зал. Холл, очищенный от мебели, ярко освещенный, украшенный цветами, которые источали аромат, чудесно преобразился в воплощение возвышенной веселости.

— Как звездное небо в безоблачную ночь, — прошептал Хьюит, окидывая взглядом просторное и пока пустое помещение.

— Пол, во всяком случае, божественный, — добавила Эвелин, слегка разбежавшись и проскользив несколько футов.

— А как насчет портьер? — спросил Хёрст. Малиновые портьеры полностью скрывали широкие окна. — Там чудесный вечер.

— Да, но портьеры придают уверенности, — сказала мисс Аллан. — Когда бал будет в разгаре, можно будет их раздвинуть. Даже окна слегка приоткрыть... А если сделать это сейчас, пожилые люди испугаются сквозняков.

Ее доводы были признаны разумными. Пока шла эта беседа, музыканты доставали свои инструменты, а скрипка еще и еще раз повторяла ноту, извлеченную из рояля. Все было готово.

После нескольких минут тишины отец, дочь и ее муж, игравший на рожке, выдали один аккорд. Словно крысы на зов дудочки, в дверях сразу же появились люди. Последовал еще один аккорд, а затем трио разразилось победоносным вальсом. В зал как будто хлынул поток воды. Секунду поколебавшись, сначала одна пара, затем другая бросились на середину течения и закружились в водоворотах. Ритмичный шелестящий свист платьев напоминал журчание быстрой реки. Постепенно стало ощутимо жарче. Запах лайковых перчаток смешивался с пряным ароматом цветов. Водовороты крутились все быстрее и быстрее, пока музыка, сделав последний взлет, не рухнула в тишину, отчего танцевальные круги распались на отдельные фрагменты. Пары разбрелись в разных направлениях, обнажив тонкий ряд пожилых людей, прилипших к стенам; на полу остались лежать где кусочек кружева, где носовой платок или цветок. Выдержав паузу, музыка зазвучала вновь, водовороты закружились, затянули в себя танцующие пары, и опять — финальный удар, от которого круги разлетелись на части.

Когда это повторилось раз пять, Хёрст, который стоял, прислонившись к оконной раме и походя на одинокую химеру, заметил в дверях Хелен Эмброуз и Рэчел. Там было так тесно, что они не могли пошевелиться, но Хёрст узнал их, разглядев плечо Хелен и вертящуюся по сторонам голову Рэчел. Он пробрался к ним и был встречен приветствиями, в которых слышалось облегчение.

— Мы испытываем адские муки, — сказала Хелен.

— Именно так я и представляла себе ад, — поддержала ее Рэчел.

Ее глаза ярко блестели, и она выглядела растерянной.

Хьюит и мисс Аллан, которые усердно вытанцовывали, остановились, чтобы поздороваться с пришедшими.

— Очень приятно вас видеть, — сказал Хьюит. — А где мистер Эмброуз?

— Пиндар, — ответила Хелен. — Может замужняя женщина, которой в октябре минуло сорок, потанцевать? Мне не терпится. — Она как будто перетекла к Хьюиту, и они оба исчезли в толпе.

— Мы должны последовать их примеру, — сказал Хёрст Рэчел и решительно взял ее под локоть. Рэчел, не будучи искушенной плясуньей, танцевала тем не менее хорошо, поскольку обладала чувством ритма, зато Хёрст не имел никакой склонности к музыке. За несколько танцевальных уроков в Кембридже он усвоил анатомию вальса, но духом его нисколько не проникся. После первого же тура они поняли, что их подходы несовместимы: вместо того, чтобы составить одно целое, их тела существовали по отдельности, выступали неуклюжими углами, отчего было невозможно совершить плавный поворот, и все время случались столкновения с другими танцующими.

— Остановимся? — предложил Хёрст. Рэчел поняла по его лицу, что он раздражен.

Они побрали к стульям в углу, от которых был виден весь зал. В нем все еще колыхались желто-зеленые волны, расчерченные черными полосами мужских костюмов.

— Занятное зрелище, — заметил Хёрст. — Вы в Лондоне танцуете? — И он, и она дышали учащенно, оба были слегка взволнованы, хотя каждый старался этого не показывать.

— Почти нет. А вы?

— Мои родители дают бал каждое Рождество.

— Здесь совсем не плохой пол, — сказала Рэчел. Хёрст не сделал даже попытки ответить на эту банальность. Он сидел молча и смотрел на танцующих. Через три минуты молчание стало настолько невыносимо для Рэчел, что она просто вынуждена была сделать еще одно пошлое замечание о том, как чудесен вечер. Хёрст безжалостно оборвал ее.

— Что за ерунду вы на днях говорили насчет своего христианства и необразованности? — спросил он.

— Фактически это правда. Но зато я очень хорошо играю на рояле. Наверное, лучше, чем любой в этом зале. А вы самый незаурядный человек в Англии, да? — робко спросила она.

— Один из трех, — поправил Хёрст.

Хелен, крутясь, пролетела мимо и бросила веер на колени Рэчел.

— Она очень красива, — заметил Хёрст.

Они вновь умолкли. Рэчел гадала, находит ли он ее миловидной; Сент-Джон думал, как все-таки трудно беседовать с девушками, лишенными жизненного опыта. Ведь Рэчел наверняка ничего не видела, ничего не перечувствовала, не передумала, она может быть и умной, и такой же, как все. Но в его памяти, как заноза, сидел упрек Хьюита: «Ты не умеешь общаться с женщинами», — поэтому теперь он твердо решился не упустить возможность. Вечерний наряд Рэчел сообщал ей некоторую нереальность и необычность — как раз в той мере, какая придает беседе с женщиной романтический ореол и возбуждает желание с ней говорить, и это раздражало Хёрста, поскольку он не знал, с чего начать. Он взглянул на нее, и она показалась ему очень далекой и непонятной, очень юной и целомудренной. Вздохнув, он начал:

— Теперь о книгах. Что вы читали? Только Шекспира и Библию?

— Из классики я прочла мало, — сообщила Рэчел. Ее немного тревожила его довольно натужно бодрая манера общения, а его личные достижения заставляли ее весьма скромно оценивать свои способности.

— Вы хотите сказать, что дожили до двадцати четырех лет, не прочитав Гиббона? — возмутился он.

— Да.

— Mon dieu! — всплеснул руками Хёрст. — Завтра же начинайте читать. Я вышлю вам книгу. Вот что я хотел бы понять... — Он посмотрел на нее критически. — Видите ли, вопрос в том, можно ли вообще с вами говорить по-настоящему? Есть ли у вас ум или вы такая же, как остальные представительницы вашего пола? Вы кажетесь мне до смешного юной в сравнении с мужчинами вашего возраста.

Рэчел взглянула на него, но ничего не сказала.

— Итак, Гибbon, — продолжил Хёрст. — Как думаете, вы способны понять его? С другой стороны — это проверка. Судить о женщинах ужасно трудно. Что можно отнести за счет недостатка образования, а что — за счет природной неспособности? Сам я не вижу причин, почему вы могли бы его не понять, — но ведь вы, наверное, вели до сих пор довольно нелепое существование. Представляю, как вы чинно гуляете парами, с распущенными волосами.

Музыка опять заиграла. Взгляд Хёрста блуждал по залу в поисках миссис Эмброуз. Как бы ему ни хотелось завязать дружбу с Рэчел, он понимал, что дело не клеится.

— Я очень хочу дать вам книги, — сказал он, застегивая перчатки и поднимаясь со стула. — Мы еще встретимся. А сейчас я ухожу.

Он встал и покинул ее.

Рэчел огляделась. Она чувствовала себя, как ребенок на празднике, окруженный враждебными незнакомыми лицами с крючковатыми носами и ехидными безразличными глазами. Рядом была застекленная дверь, Рэчел толчком открыла ее и вышла в сад. Ее глаза

наполнились слезами гнева.

— Будь он проклят! — воскликнула она с интонацией Хелен. — Проклятый наглец!

Она стояла в бледном прямоугольнике света, который бросала на траву открытая ею дверь. Перед ней вздымались темные массы деревьев. Она стояла и смотрела на них, слегка дрожа от гнева и волнения. Позади себя она слышала топот и шарканье танцующих и ритмичные наплывы вальса.

— Вот деревья, — сказала она вслух. Могут ли деревья возместить урон, причиненный ей Сент-Джоном Хёрстом? Она представила, что она персидская принцесса, живущая вдали от цивилизации, что она в одиночку катается на лошади по горам, а вечером приказывает служанкам петь для нее — подальше от всего этого, от борьбы мужчин и женщин... Тут из тьмы вышла фигура; на фоне ее черноты горел красный огонек.

— Мисс Винрэс, это вы? — спросил Хьюит, всматриваясь в нее. — Вы танцевали с Хёрстом?

— Он вывел меня из себя! — яростно крикнула Рэчел. — Никто не имеет права на такую наглость!

— Наглость? — переспросил Хьюит, удивленно вынимая сигару изо рта. — Хёрст — наглец?

— Какая наглость... — начала Рэчел и замолчала. Она точно не знала, что ее так разозлило. С огромным усилием девушке удалось взять себя в руки. — Что ж, — сказала она, представив Хелен и ее насмешки, — наверное, я дура. — Она сделала движение в сторону танцевального зала, но Хьюит остановил ее.

— Прошу вас, объясните, что произошло, — попросил он. — Уверен, что Хёрст не хотел вас обидеть.

Рэчел попыталась это сделать, но обнаружила, что не может. В том, что она гуляла парами с распущенными волосами, она не видела ничего несправедливого и ужасного, как и не могла объяснить, почему уверенность Хёрста в своем превосходстве, в том, что он больше ее умудрен жизнью, казалась ей не только досадной, но и отвратительной — как будто у нее перед носом захлопнули дверь. Прохаживаясь туда-сюда по террасе, она сказала Хьюиту с горечью:

— Это ни к чему хорошему не приводит; мы должны жить отдельно; мы не можем понять друг друга; мы пробуждаем друг в друге самое плохое.

Хьюит отверг ее обобщения о природе полов, поскольку они нагоняли на него скуку и казались в корне неверными. Однако, зная Хёрста, он вполне мог догадаться, что случилось, и, хотя в глубине души это было ему приятно, он считал, что Рэчел не должна строить на этом происшествии свои представления о жизни.

— Теперь вы его невзлюбите, — сказал он. — И зря. Бедняга Хёрст в пленау своих теорий. Поверьте, мисс Винрэс, он старался, как мог. Он сделал вам комплимент, он пытался... Он пытался... — Хьюит не смог договорить, потому что его душил смех.

Рэчел внезапно обернулась и тоже расхохоталась. Она поняла, что в Хёрсте есть что-то смешное, а возможно, и в ней самой.

— Наверное, у него такой способ заводить друзей, — смеясь, проговорила она. — Тогда и я сыграю свою роль. Начну так: «Хотя внешность у вас уродливая, а образ мыслей гадкий, мистер Хёрст...»

— Правильно! — вскричал Хьюит. — Так с ним и надо. Поймите, мисс Винрэс, вы должны быть к Хёрсту снисходительны. Он всю жизнь провел, можно сказать, перед зеркалом, в прекрасной комнате, отделанной панелями, увешанной японскими гравюрами, обставленной чудесными старинными стульями и столиками, — и только одно цветовое пятно, на нужном месте, между окнами, скорее всего, он сидит там часами, положив ноги на каминную решетку,

рассуждая о философии, о Боге, о своих печени и сердце и о сердцах своих друзей. Они все разбиты. Нельзя требовать от него совершенства в танцевальном зале. Ему нужно уютное, накуренное, мужское пристанище, где он может вытянуть ноги и говорить лишь тогда, когда ему есть что сказать. По мне это довольно тоскливо. Но я это уважаю. Юмор — не их стезя. И серьезные вещи они воспринимают очень серьезно.

Описание образа жизни Хёрста так заинтересовало Рэчел, что она почти забыла личные претензии и опять почувствовала к нему уважение.

— Значит, они очень умные? — спросила она.

— Разумеется. Что касается мозгов, я думаю, он тогда сказал правду: они умнейшие люди в Англии. Но — за него надо взяться. В нем очень много нераскрытого. Над ним кто-то должен смеяться... Представляю, как Хёрст говорит вам, что у вас нет опыта! Бедолага!

Пока они, беседуя, прогуливались по террасе, невидимая рука раздвинула портьеры по очереди на всех окнах, и прямоугольники света через равные промежутки легли на траву. Хьюит и Рэчел остановились и, заглянув в гостиную, увидели, что там в одиночестве за столом сидит мистер Пеппер и что-то пишет.

— Сочиняет письмо своей тетке, — сказал Хьюит. — Вероятно, замечательная престарелая дама. Он рассказывал, что ей восемьдесят пять лет и он возит ее гулять в Нью-Форест... [37] Пеппер! — крикнул он, стуча по окну. — Идите исполнить свой долг! Мисс Аллан ждет.

Подойдя к окнам бального зала, они почувствовали, что танцевальный вихрь и ритмичная музыка непреодолимо тянут их к себе.

— Вы не против? — спросил Хьюит, и они, взявшись за руки, с упоением окунулись в водоворот. Это была лишь вторая их встреча, но во время первой они видели целующихся мужчину и женщину, а сейчас мистер Хьюит обнаружил, что молодая женщина в гневе очень похожа на ребенка. Поэтому, соединив руки в танце, они чувствовали себя необычайно легко.

Была полночь, бал достиг кульминации. Слуги подглядывали в окна; в саду здесь и там виднелись белые пятна — фигуры отдыхающих на воздухе парочек. Миссис Торнбери и миссис Эллиот сидели рядом под пальмой, держа на коленях веера, носовые платки и брошки, отданные им на хранение раскрасневшимися девицами. Время от времени они обменивались замечаниями.

— Мисс Уоррингтон действительно выглядит счастливой, — сказала миссис Эллиот. Обе улыбнулись, и обе вздохнули.

— Он человек с характером, — сказала миссис Торнбери, имея в виду Артура.

— А характер — это как раз то, что нужно, — рассудила миссис Эллиот. — А этот молодой человек довольно умен, — добавила она, кивнув на Хёрста, проходившего мимо под руку с мисс Аллан.

— На вид он не слишком крепок, — сказала миссис Торнбери. — Телосложение не очень. Оторвать? — спросила она у Рэчел, которая остановилась, почувствовав, что за ней волочится длинная кружевная лента.

— Надеюсь, вам хорошо? — осведомился Хьюит.

— Мне все это так знакомо! — улыбнулась миссис Торнбери. — Я вырастила пять дочерей, и все они обожали танцы! Вы тоже любите, мисс Винрэс? — Она посмотрела на Рэчел материнским взглядом. — Я в вашем возрасте очень любила. Как я выпрашивала у мамы разрешение остаться подольше! А теперь я сочувствую бедным матерям, но и дочерей тоже вполне понимаю!

Она улыбнулась Рэчел — сочувственно, но с хитрецой.

— Похоже, им есть о чем поговорить, — сказала миссис Эллиот, со значением посмотрев вслед удаляющейся парочке. — Вы заметили тогда, на пикнике? Только он и сумел разговорить

ее.

— Ее отец — очень интересный человек, — сообщила миссис Торнбери. — У него одна из крупнейших судовых компаний в Халле. Он весьма разумно ответил мистеру Асквиту на последних выборах, помните? Примечательно, что человек с его опытом — убежденный протекционист.

Она хотела бы поговорить о политике, которая интересовала ее больше, чем чья-то личная жизнь, но миссис Эллиот предпочитала обсуждать дела империи только в менее абстрактной форме.

— До меня доходят жуткие сообщения из Англии о крысах, — сказала она. — Моя золовка живет в Норидже, так она пишет, что стало небезопасно покупать птицу. Из-за чумы — ею болеют крысы, а от них заражаются и другие животные.

— И местные власти не принимают должные меры? — спросила миссис Торнбери.

— Об этом она умалчивает. Но пишет, что образованные люди ведут себя крайне безразлично, — а уж они-то должны понимать, что к чему. Конечно, моя золовка из этих современных женщин, которые во всем принимают участие, знаете — многие ими восхищаются, хотя не понимают их, во всяком случае, я — не понимаю. Впрочем, у нее железное здоровье.

Миссис Эллиот вздохнула, вспомнив о собственной болезненности.

— Какое подвижное лицо, — сказала миссис Торнбери, взглянув на Эвелин М., которая остановилась недалеко от них, чтобы приколоть к груди алый цветок. Он не хотел держаться, и Эвелин с жестом нетерпения воткнула его в петлицу своего кавалера. Это был высокий меланхолический юноша, принявший подарок, как рыцарь принял бы талисман от своей дамы.

— Очень утомительно для глаз, — пожаловалась миссис Эллиот, понаблюдая несколько минут за желтым кружением, почти все участники которого были ей неизвестны ни по имени, ни в лицо. Вырвавшись из толпы, к дамам подошла Хелен и подвинула свободный стул.

— Можно посидеть с вами? — спросила она, улыбаясь и часто дыша. — Наверное, мне должно быть стыдно, — продолжила она, садясь, — в моем-то возрасте.

Она была румяна и оживлена, поэтому ее красота казалась особенно яркой, и обеим дамам захотелось прикоснуться к Хелен.

— Я просто наслаждаюсь. — Она никак не могла отдохнуться. — Движение — это так прекрасно, не правда ли?

— Я много раз слышала, что для хорошего танцора ничто не может сравниться с танцем, — сказала миссис Торнбери, глядя на нее с улыбкой.

Хелен слегка раскачивалась, будто сидела на пружинах.

— Я могла бы танцевать вечно! — воскликнула она. — Зря они себя сдерживают! Надо прыгать, скакать, летать! Только посмотрите, как они топчутся!

— Вы видели этих чудесных русских танцоров? — начала миссис Эллиот, но Хелен заметила, что к ней идет ее кавалер, и встала, как встает луна. Она уже протанцевала половину зала, когда дамы оторвали от нее взгляды, поскольку не могли не восхищаться ею, хотя им и казалось немного странным, что женщине ее возраста так нравится плясать.

Как только Хелен на минуту осталась одна, к ней тут же подошел Сент-Джон Хёрст, выжидавший такой момент.

— Вы не могли бы посидеть со мной? — спросил он. — Я совершенно не способен к танцам. — Он увел Хелен в угол, где стояли два кресла, создававшие некое подобие интимности. Еще несколько минут после того, как они сели, Хелен не могла говорить, находясь под влиянием танца.

— Поразительно! — воскликнула она наконец. — Как она представляет собственное

тело? — Замечание касалось проходившей мимо дамы, которая скорее ковыляла, чем шла, опираясь на руку толстяка с пухлым белым лицом и зелеными глазами навыкате. Поддержка была ей необходима, поскольку она была очень полной и так затянута, что верхняя часть тела значительно выдавалась вперед, а ноги могли только семенить маленькими шажками из-за крайней узости юбки. Само же платье состояло из небольшого куска блестящего желтого шелка, беспорядочно украшенного круглыми бляшками из бисера голубого и зеленого цвета, и должно было имитировать грудь павлина. На вершине прически, напоминавшей средневековый замок, торчало лиловое перо, а короткая шея была обхвачена черной бархатной лентой, усеянной драгоценными камнями; золотые браслеты врезались в плоть ее жирных рук, облаченных в перчатки. У нее было лицо нахального и жизнерадостного поросенка, усеянное красными пятнышками, которые проступали сквозь пудру.

Сент-Джон не мог рассмеяться вместе с Хелен.

— Отвратительно, — сказал он. — Меня от всего этого тошнит... Представьте, что в головах у этих людей, что они чувствуют. Вы не согласны?

— Каждый раз даю себе клятву не ходить ни на какие собрища, — ответила Хелен. — И всегда нарушаю.

Она откинулась на спинку кресла и насмешливо посмотрела на молодого человека. Она видела, что он искренне рассержен, но в то же время слегка взволнован.

— Впрочем, — сказал он, возвращаясь к своему бодрому тону, — наверное, с этим надо просто смириться.

— С чем?

— На свете никогда не будет больше пяти человек, с которыми стоит общаться.

Постепенно румянец и оживление сошли с лица Хелен, и она стала спокойной и внимательной, как всегда.

— Пять человек? Признаюсь, я встречала больше.

— Вам очень повезло, — сказал Хёрст. — Или мне очень не повезло. — Он помолчал, а потом вдруг спросил: — По-вашему, со мною очень трудно общаться?

— Это можно сказать обо всех умных людях, когда они молоды, — ответила Хелен.

— Да, конечно, умен я исключительно, — сказал Хёрст. — Я бесконечно умнее Хьюита. Возможно, — продолжил он, как будто говоря о ком-то другом, — я стану одним из тех, кто действительно определяет жизнь общества. Это, конечно, совсем другое, чем быть умным, но нельзя ожидать от близких, чтобы они это понимали, — добавил он с горечью.

Хелен решила, что имеет право на вопрос:

— А с близкими вам тоже трудно?

— Невыносимо... Они хотят, что бы я стал пэром и членом Тайного совета. Я уехал сюда отчасти и для того, чтобы это как-то утряслось. Я должен решить: либо пойти в адвокатуру, либо остаться в Кембридже. Конечно, и то и другое меня не совсем устраивает, но, пожалуй, Кембридж все-таки предпочтительнее. Вот из-за этого всего. — Он указал рукой на переполненный зал. — Отвратительно. Я понимаю, какую огромную силу имеют личные привязанности людей. Конечно, я не так этому подвержен, как Хьюит. К некоторым людям я, признаюсь, испытываю большую симпатию. Ну, например, моя мать достойна каких-то добрых слов, хотя во многих отношениях она весьма удручет... В Кембридже, разумеется, я неизбежно стану одним из самых видных людей, но есть кое-какие причины, по которым Кембридж меня ужасает... — Хёрст умолк, а потом спросил: — Я кажусь вам кошмарным занудой? — Только что он был другом, изливающим душу, но внезапно превратился в любезного молодого человека на светском приеме.

— Нисколько, — сказала Хелен. — Мне очень интересно.

— Вы не можете представить, — воскликнул он, чуть ли не со слезой в голосе, — что такое найти человека, с которым можно говорить! Увидев вас, я сразу почувствовал, что вы сможете понять меня. Мне очень симпатичен Хьюит, хотя он не имеет ни малейшего представления обо мне. До вас я не встречал ни одной женщины, которая хоть сколько-нибудь воспринимала то, что я говорю.

Начинался следующий танец. Заиграли баркаролу из «Сказок Гофмана» [38], Хелен не удержалась и стала постукивать носком в такт музыке, хотя понимала, что после такого комплимента нельзя подняться и уйти танцевать. Ей было не только интересно, но и лестно, и ее привлекала его искренняя вера в свою исключительность. Она чувствовала, что, несмотря на столь высокое самомнение, он несчастлив, и у нее хватало душевного тепла, чтобы выслушать его исповедь.

— Я очень старая, — вздохнула она.

— Удивительно, мне вы совсем не кажетесь старой, — сказал Хёрст. — Такое ощущение, будто мы с вами одного возраста. Более того... — Тут он заколебался, но, взглянув на Хелен, почувствовал себя смелее: — Мне кажется, я могу говорить с вами так же свободно, как с мужчиной, — об отношениях между полами, и... о...

Несмотря на всю его уверенность в себе, он слегка покраснел.

Она сразу же развеяла его сомнения смехом и восклицанием:

— Надеюсь!

Он посмотрел на нее с благодарностью, и морщинки около его носа и рта впервые разгладились.

— Слава Богу! — воскликнул он. — Теперь мы можем вести себя как цивилизованные люди.

Было очевидно, что пал обычно нерушимый барьер и стало можно обсуждать те деликатные вопросы, на которые мужчины и женщины лишь намекают в разговорах между собой, да и то, когда рядом врачи или над кем-то нависла тень смерти. Через пять минут он уже излагал ей историю своей жизни. Рассказ был долгий, полный слишком подробных описаний, за ним последовала дискуссия о принципах, лежащих в основе морали, а затем они коснулись и таких весьма волнующих тем, которые даже в этом шумном зале можно было обсуждать только шепотом — не дай Бог, подслушает кто-нибудь из расфуфыренных дам или ослепительных коммерсантов и потребует, чтобы они покинули помещение. Когда беседа иссякла, или — если выразиться точнее — когда Хелен дала понять небольшим ослаблением внимания, что сидят они уже достаточно долго, Хёрст встал и воскликнул:

— Значит, для всей этой секретности нет никаких причин!

— Никаких, кроме той, что мы англичане, — последовал ответ. Она взяла его под руку, и они пересекли зал, с трудом петляя между вертящимися парами, которые выглядели уже порядком растрепанными, — критический взгляд не усмотрел бы в них ни капли очарования. Долгий разговор и волнение оттого, что каждый из них обрел нового друга, вызвали у Хелен и Хёрста острый голод, и они направились в столовую, где уже было много людей, подкреплявшихся за маленькими столиками. В дверях они встретили Рэчел, которая уже не в первый раз шла танцевать с Артуром Веннингом. Она была румяна, выглядела очень счастливой, и Хелен пришло в голову, что в таком настроении она гораздо привлекательнее, чем большинство девушек. Никогда раньше Хелен не видела этого с такой ясностью.

— Тебе хорошо? — спросила она, когда они на секунду оказались рядом.

— Мисс Винрэс, — ответил за Рэчел Артур, — только что призналась мне: она даже не представляла, что танцы могут доставлять столько радости.

— Да! — воскликнула Рэчел. — Я полностью изменила свой взгляд на жизнь.

— Неужели? — насмешливо спросила Хелен, и они разошлись.

— Очень характерно для Рэчел, — сказала Хелен. — Она меняет взгляды на жизнь почти каждый день. А знаете, мне кажется, вы именно тот, кто мне нужен в помощники, — продолжила она, когда они сели, — чтобы завершить ее образование. Она воспитывалась практически в женском монастыре. Ее отец слишком нелеп. Я делаю, что могу, но я слишком стара, к тому же я женщина. Вы бы с ней поговорили, объяснили ей кое-что. Поговорите с ней так, как говорите со мной, а?

— Сегодня вечером я уже сделал одну попытку, — сказал Сент-Джон. — Сомневаюсь, что она была успешной. Она кажется мне такой юной, такой неопытной... Я обещал дать ей Гиббона.

— Ей нужен не совсем Гибbon, — задумчиво сказала Хелен. — Ей нужно что-нибудь о жизни, мне кажется. Вы меня понимаете? Что на самом деле происходит, что люди чувствуют, хотя обычно стараются это скрыть... Здесь нечего бояться. Это намного красивее, чем притворство, — и всегда гораздо интереснее, всегда лучше, я бы сказала, чем вон то. — Она кивнула в сторону стола, за которым две девушки и два молодых человека громко подшучивали друг над другом, ведя игривый и полный намеков диалог; в нем часто встречались восторженные отзывы то о паре чулок, то о паре ног. Одна из девушек быстро обмахивалась веером и делала вид, будто шокирована. Смотреть на это было неприятно, в том числе и потому, что девушки, судя по всему, испытывали друг к другу скрытую враждебность. — К своему почтенному возрасту я, однако, начала понимать, — вздохнула Хелен, — что в конечном счете в подобных попытках нет особенного толка: человек всегда идет своим путем, на него ничто не может повлиять. — И она опять кивнула в сторону ужинающей компании.

Но Сент-Джон не согласился. Он сказал, что, по его мнению, очень многое могут изменить точка зрения, книги и тому подобное, и добавил, что в настоящее время мало что так важно, как просвещение женщин. Иногда ему кажется, что почти все определяется образованием.

В зале тем временем танцующие выстраивались квадратами для лансье. Артур и Рэчел, Сьюзен и Хьюит, мисс Аллан и Хьюлинг Эллиот составили пары.

Мисс Аллан взглянула на свои часы.

— Полвторого, — сообщила она. — А мне надо завтра закончить Александра Попа.

— Поп! — фыркнул мистер Эллиот. — Кто теперь читает Попа, интересно? А уж читать о нем... Нет-нет, мисс Аллан, поверьте, вы принесете миру гораздо больше пользы, танцуя, чем занимаясь писаниной. — Это была очередная поза мистера Эллиота, она состояла в том, что ничего на свете не может сравниться с прелестью танца и нет ничего скучнее, чем литература. Таким образом он отчаянно пытался снискать расположение молодежи и доказать ей, что, хотя он женат на простушке, изможден и согben бременем своей учености, все-таки в нем не меньше жизнелюбия, чем в самом юном из присутствующих.

— Это вопрос насыщенного хлеба с маслом, — спокойно сказала мисс Аллан. — Однако, кажется, все ждут меня. — Она заняла позицию и выставила черную туфлю с квадратным носком. — Мистер Хьюит, вы кланяетесь мне. — Сразу стало очевидно, что мисс Аллан — единственная, кто сносно знает движения танца.

После лансье был вальс, после вальса — полька, а потом случилось нечто ужасное: музыка, которая исправно звучала с пятиминутными перерывами, вдруг прекратилась. Женщина с большими черными глазами начала пеленать скрипку в шелковую ткань, а мужчина аккуратно уложил свой рожок в футляр. Их окружили пары, которые по-английски, по-французски и по-испански стали вымаливать у них еще один танец, всего один. Но старик пианист просто показал на свои часы и отрицательно покачал головой. Он поднял воротник пиджака и достал красный шелковый шарф, который окончательно смазал его щегольскую внешность. Казалось

странным, что музыканты бледны и глаза их тяжелы от усталости; всем своим видом они олицетворяли скуку и обыденность, как будто вершиной их желаний были кусок холодного мяса и пиво, а затем сразу постель.

Среди тех, кто упрашивал их продолжить, была и Рэчел. Когда они отказались, она стала переворачивать страницы танцевальных нот, лежавших на рояле. Почти все пьесы были в цветных обложках с изображениями романтических сцен: гондольеры, стоящие на лунном серпе; монашки, выглядывающие из-за решетки монастырского окна, или девушки с распущенными волосами, наставляющие пистолет на звезды. Рэчел вспомнила, что музыка, под которую они так весело плясали, как правило, навевала некие страстные сожаления по загубленной любви и невинным годам юности, отделяя танцующих от былого счастья горькой печалью.

— Понятно, почему они так затосковали, играя эти вещи, — рассудила она, прочитав несколько пассажей. — Это же на самом деле мелодии церковных гимнов, только исполненные очень быстро, с кусочками из Вагнера и Бетховена.

— Вы играете? Вы сыграете? Что угодно, лишь бы под это можно было танцевать! — На нее со всех сторон посыпались требования проявить свой дар пианистки, и ей пришлось согласиться. Очень скоро она исчерпала все танцевальные пьесы, которые смогла вспомнить, и продолжила мелодией из сонаты Моцарта.

— Но это не танец, — сказал кто-то, остановившись у рояля.

— Танец, — ответила Рэчел, уверенно кивнув головой. — А движения изобретите сами. — Не сомневаясь в мотиве, она стала просто подчеркивать ритм, чтобы облегчить задачу. Хелен поняла ее мысль: схватив за руку мисс Аллан, она понеслась по залу, то останавливаясь для реверанса, то крутясь, то делая шажки из стороны в сторону, как ребенок, прыгающий по лужайке.

— Это танец для тех, кто не умеет танцевать! — прокричала она.

Мотив сменился менуэтом, и Сент-Джон с невероятным проворством начал скакать то на левой ноге, то на правой; музыка полилась мелодично, и Хьюит, ухватив фалды своего пиджака и раскачивая руками, проплыл по залу, изображая чувственный фантастический танец индийской девушки, которая услаждает взор своего раджи. Далее последовал марш, и вперед выступила мисс Аллан; взявшись руками за юбку, она низко поклонилась помолвленной паре. Как только ноги танцующих улавливали ритм, с них слетала всякая скованность. От Моцарта Рэчел, не останавливаясь, перешла к старинным английским охотничим и рождественским песням, к церковным гимнам, поскольку, как она заметила, любой хороший мотив, при некоторой обработке, вполне годится для танца. Постепенно все присутствующие пустились в пляс — кто парами, кто в одиночку. Мистер Пеппер резво показал оригинальный быстрый танец, почертнутый из фигурного катания на коньках, по которому он некогда одержал победу на каких-то местных соревнованиях; а миссис Торнбери попыталась вспомнить старинный сельский танец, виденный ею давным-давно в Дорсетшире, в исполнении арендаторов ее отца. Что касается мистера и миссис Эллиот, то они галопировали по залу кругами с такой стремительностью, что другие танцоры содрогались при их приближении. Кое-кто брюзжал, что танцы превратились в бедlam; для других это была самая приятная часть вечера.

— А теперь — большой хоровод! — прокричал Хьюит. Тут же составился огромный круг; танцующие, держась за руки и горланя «Кто знает Джона Пила» [39], кружились все быстрее, быстрее и быстрее, пока напряжение не возросло настолько, что одно звено цепи — миссис Торнбери — дало слабину, отчего участники разлетелись по залу во всех направлениях и оказались кто на полу, кто на стульях, а кто друг у друга в объятиях — кому как было удобнее.

Приходя в себя, запыхавшиеся и взъерошенные, они вдруг обнаружили, что у

электрического света не стало хватать силы, чтобы наполнять собою пространство, и тут же инстинктивно множество глаз обратилось к окнам. Да — уже был рассвет. Пока они танцевали, ночь прошла и занялся новый день. Горы выглядели безмятежно и отрешенно, на траве искрилась роса, а небо было залито голубизной — лишь восток окрасился в бледно-желтые и розовые тона. Танцоры толпой ринулись к окнам, распахнули их и стали один за другим ступать на траву.

— Как глупо выглядят эти несчастные люстры, — сказала Эвелин М. странно приглушенным голосом. — И мы сами. Даже неприлично.

Это была правда: прически растрепались, зеленые и желтые драгоценные камни, которые час назад смотрелись так празднично, теперь приобрели дешевый и неряшливый вид. Лица немолодых дам пострадали особенно сильно, и они, будто чувствуя на себе критический взгляд, стали желать всем спокойной ночи и отправляться ко сну.

Хотя Рэчел лишилась публики, она продолжала играть для самой себя. От «Джона Пила» она перешла к Баху, которым в то время была особенно увлечена. Молодежь постепенно вернулась из сада и расселась по беспорядочно брошенным вокруг рояля позолоченным стульям. В зале стало так светло, что люстры были выключены. Люди сидели, слушали музыку, и нервы их успокаивались, жар и сухость их губ — следствие беспрестанного смеха и разговоров — мало-помалу прошли. Они сидели очень тихо, и перед их глазами будто росло в пустом пространстве огромное здание с колоннами и этажами — все выше и выше. Потом они увидели себя и свою жизнь и вообще жизнь всех людей, величественно шествующей под водительством музыки. Их наполнило чувство собственной значимости, но, когда Рэчел перестала играть, у всех было лишь одно желание — спать.

Сьюзен встала.

— Мне кажется, это была самая счастливая ночь в моей жизни! — воскликнула она. — Обожаю музыку, — добавила она, пылко благодаря Рэчел. — Она как будто говорит то, что мы сами сказать не можем. — Сьюзен нервически хохотнула и посмотрела на окружающих с особой сердечностью, точно хотела что-то сказать, но не находила слов. — Все так добры, так добры... — произнесла она и тоже ушла спать.

Веселье кончилось внезапно — как это всегда бывает. Хелен и Рэчел в плащах стояли у подъезда, высматривая экипаж.

— Полагаю, вы понимаете, что экипажей не осталось, — сказал Сент-Джон, который выходил на поиски. — Поспите здесь.

— Нет-нет, — возразила Хелен. — Мы пойдем пешком.

— Можно и нам с вами? — спросил Хьюит. — Мы не можем лечь спать. Представьте, каково лежать среди подушек и смотреть на умывальник в такое утро. Вы вон там живете?

Они уже шли по аллее, и Хьюит, повернувшись, указал на бело-зеленую виллу на склоне холма, которая стояла как будто с закрытыми глазами.

— Это там не свет горит? — встревоженно спросила Хелен.

— Это солнце, — сказал Сент-Джон. На каждом окне в верхнем ряду пыпал золотой блик.

— Я испугалась, что это мой муж до сих пор читает греков. Все это время он редактировал Пиндаря.

Они прошли через город и свернули на дорогу, круто поднимавшуюся вверх, — она была видна уже совсем ясно, только обочины терялись в тени. Говорили они мало — и от усталости, и оттого, что в утреннем свете чувствовали себя немного потеряно, — зато они глубоко вдыхали восхитительно свежий воздух, который, казалось, происходил из совсем другого мира, чем воздух полудня. Когда они подошли к высокой желтой стене, где от дороги ответвлялась аллея, Хелен выступила за то, чтобы отпустить молодых людей.

— Вы уже и так ушли слишком далеко, — сказала она. — Идите спать.

Но им явно не хотелось никуда идти.

— Давайте немного посидим, — предложил Хьюит. Он расстелил свой пиджак на земле. —

Посидим, поразмышляем.

Они сели и стали смотреть на бухту. Было очень тихо. Море подернула легкая рябь, на нем начинали проступать полосы зеленого и синего цвета. Кораблей пока видно не было, только пароход стоял в бухте на якоре, похожий в тумане на призрак; он издал один истошный вопль, и опять воцарилась тишина.

Рэчел заняла себя тем, что собирала один за другим серые камешки и складывала их в пирамидку. Она делала это очень спокойно и сосредоточенно.

— Так ты изменила свой взгляд на жизнь, Рэчел? — спросила Хелен.

Рэчел добавила очередной камешек и зевнула.

— Не помню, — сказала она. — Я чувствую себя, как рыба на дне моря. — Она опять зевнула. Никто из этих людей не был в силах испугать ее здесь, на рассвете, даже мистер Хёрст не вызывал у нее никакого напряжения.

— Мой мозг, наоборот, — заявил Хёрст, — находится в состоянии необычной активности. — Он сел в свою любимую позу — обхватив руками согнутые ноги и положив подбородок на колени. — Я все вижу нас kvозь, все без исключения. Для меня в жизни тайн больше нет. — Он говорил с убеждением, но явно без расчета на отклик. Сидя рядом и чувствуя себя столь непринужденно, они все равно казались друг другу лишь тенями.

— А там внизу все эти люди сейчас ложатся спать, — мечтательно начал Хьюит, — думая каждый о своем. Мисс Уоррингтон, наверное, стоит на коленях; Эллиоты слегка встревожены: для них запыхаться — большая редкость, поэтому они хотят как можно скорее заснуть; потом еще этот тощий юноша, всю ночь танцевавший с Эвелин, он ставит свой цветок в воду и спрашивает себя: «Это любовь?» — а бедный Перротт, скорее всего, вообще не может заснуть и для утешения читает свою любимую греческую книжку; остальные же... Нет, Хёрст, — заключил он, — никакой простоты я не вижу.

— Я знаю, в чем секрет, — загадочно сказал Хёрст. Он все так же держал подбородок на коленях и неподвижно смотрел перед собой.

Последовала пауза. Затем Хелен встала и пожелала мужчинам спокойной ночи.

— Но, — сказала она, — помните, что вы непременно должны навестить нас.

Пожелав друг другу спокойной ночи, они расстались, но молодые люди не пошли сразу в гостиницу, а предпочли прогулку, во время которой они почти не разговаривали и ни разу не упомянули двух женщин, почти полностью занимавших их мысли. Им не хотелось делиться впечатлениями. В гостиницу они вернулись к завтраку.

Глава 13

На вилле было много комнат, но одна отличалась от всех остальных, потому что ее дверь была всегда закрыта и оттуда никогда не доносилось ни музыки, ни смеха. Все в доме смутно сознавали, что за этой дверью происходит нечто важное, и, не имея ни малейшего представления, что именно, неизменно помнили: если они пройдут мимо этой двери, она всегда будет закрыта, а если они станут шуметь, то это потревожит мистера Эмброуза. Одни действия считались похвальными, а другие — дурными, поэтому жизнь стала бы менее гармоничной, в ней добавилось бы хаоса, если бы мистер Эмброуз бросил редактировать Пиндара и начал кочевать по всем комнатам. Если же придерживаться определенных правил: соблюдать пунктуальность и тишину, хорошо готовить, выполнять другие необременительные обязанности, то оды одна за другой будут благополучно возвращены миру, — таким образом, все принимали участие в жизни ученого. К сожалению, поскольку возраст возводит между людьми один барьер, ученость — другой, а пол — третий, мистер Эмброуз в своем кабинете находился все равно что за тысячу миль от самого близкого ему человека, который в этом доме не мог быть не кем иным, как женщиной. Долгими часами Ридли сидел, окруженный белыми страницами книг, одинокий, как идол в пустом храме, неподвижный — если не считать перемещения его руки от одной стороны листа к другой — в полной тишине, которая лишь изредка нарушалась кашлем, заставлявшим его вынуть изо рта трубку и некоторое время держать ее на весу. Чем дальше он углублялся в сокровенные творения поэта, тем теснее его осаждали книги, лежавшие открытыми на полу; пройти через них можно было, лишь ступая очень осторожно, и это было настолько затруднительно, что посетители обычно останавливались и обращались к нему издалека.

На следующее утро после танцев Рэчел, однако, зашла в комнату дяди. Ей пришлось дважды позвать его: «Дядя Ридли!» — прежде чем он обратил на нее внимание.

Наконец, глянув поверх очков, он произнес:

— Ну?

— Мне нужна одна книга, — ответила Рэчел. — «История Римской империи» Гиббона. Можно взять?

Она увидела, как после ее вопроса постепенно изменился рисунок морщин на дядином лице. До того, как он начал говорить, лицо походило на гладкую маску.

— Пожалуйста, повтори, — сказал Ридли, то ли не расслышав, то ли не поняв.

Она повторила те же слова и при этом слегка покраснела.

— Гибbon! Зачем он тебе понадобился?

— Один человек посоветовал прочитать, — заикаясь, ответила Рэчел.

— Но я не вожу с собой разношерстную коллекцию историков восемнадцатого века! — воскликнул ее дядя. — Гибbon! Десять томов, как минимум.

Рэчел извинилась, что помешала, и повернулась, чтобы уйти.

— Стой! — крикнул дядя. Он положил трубку, отодвинул книгу в сторону, встал и медленно повел Рэчел по комнате, держа ее под руку.

— Платон, — сказал он, прикоснувшись пальцем к первой книжке в ряду небольших темных томиков. — Рядом — Джоррокс [\[40\]](#), которому здесь не место. Софокл, Свифт. Немецкие комментаторы тебе ни к чему, я полагаю. Далее — французы. Ты читаешь по-французски? Почтай Бальзака. Затем — Вордсворт и Кольридж. Поп, Джонсон, Аддисон, Вордсворт, Шелли, Китс. Одно ведет к другому. С какой стати здесь Марло? Миссис Чейли, видимо. Но что пользы читать, если ты не читаешь по-гречески? С другой стороны, тому, кто

читает по-гречески, не стоит читать ничего больше — чистейшая потеря времени. — Рассуждая таким образом — наполовину сам с собой — и делая быстрые движения руками, он, сопровождаемый Рэчел, замкнул круг и вернулся к баррикаде из книг на полу. Оба остановились. — Ну, — спросил он, — что ты выберешь?

— Бальзака, — сказала Рэчел. — А нет ли у вас «Речи об Американской революции», дядя Ридли?

— «Речи об Американской революции»? — переспросил он и опять пристально посмотрел на нее. — Еще один молодой человек на танцах?

— Нет, мистер Дэллоуэй, — призналась Рэчел.

— Боже правый! — Ридли откинул голову, вспомнив мистера Дэллоуэя.

Рэчел наугад выбрала книгу и показала ее дяде, который, увидев, что это «Кузина Бетта»
[\[41\]](#), посоветовал бросить, если роман покажется ей слишком противным. Она уже собралась уходить, но тут он спросил, понравились ли ей танцы.

Затем он пожелал узнать, что делают люди на балах, поскольку сам был на подобном мероприятии лишь однажды, тридцать пять лет назад, и тогда оно показалось ему до крайности бессмысленным и глупым. Неужели им по душе крутиться под пиликанье скрипки? А если они беседуют, говорят друг другу приятные вещи, то почему не делают этого в более подходящих условиях? Что касается его самого... Он вздохнул и указал на атрибуты своей деятельности, лежащие повсюду, и при этом, несмотря на вздох, на лице его отразилось такое удовлетворение, что его племянница заторопилась уходить. Это было ей позволено лишь после поцелуя и обещания выучить греческий алфавит, а также вернуть французский роман, когда она его прочитает, вслед за чем для нее будет найдено что-нибудь более подходящее.

Комнаты, в которых живут люди, производят не менее сильное впечатление, чем их лица, увиденные впервые, поэтому Рэчел спускалась по лестнице медленно, полная недоумения по поводу своего дяди, его книг, его пренебрежения к танцам и его странного, совершенно непонятного, но, видимо, вполне цельного, взгляда на жизнь. Тут внимание девушки привлекла записка с ее именем, лежавшая в передней. Адрес был написан убористым и четким почерком, ей незнакомым, а само послание, в котором отсутствовало обращение, гласило:

«Посылаю, как обещал, первый том Гиббона. Лично я считаю, что современные авторы не заслуживают серьезного обсуждения, но все-таки вышли Вам Ведекинда, когда сам его дочитаю. Донн? Вы читали Вебстера [\[42\]](#) и всю эту компанию? Завидую, что Вы будете читать их впервые. Совершенно изнурен прошлой ночью. А Вы?»

Письмо завершалось витиеватой подписью, в которой Рэчел разобрала инициалы «С.-Дж. А. Х.». Ей весьма польстило, что мистер Хёрст запомнил ее и так быстро выполнил свое обещание.

До обеда оставался еще час, и Рэчел, с Гиббоном в одной руке и Бальзаком в другой, миновав калитку, пошла по утоптанной грунтовой тропинке, сбегавшей с холма среди олив. Для того чтобы карабкаться в гору, было слишком жарко, зато в долине росли деревья, а вдоль русла реки пролегала поросшая травой тропа. В этом краю, где все население было сосредоточено в городах, можно было быстро оказаться вне цивилизации и потом лишь случайно набрести на ферму, во дворе которой женщины чистят красные коренья, или на мальчишку, окруженного стадом черных пахучих коз. Река представляла собой глубокую ложбину из сухих желтых камней с тонкой нитью воды на самом дне. На берегу росли те деревья, о которых Хелен сказала, что стоило плыть за море хотя бы ради того, чтобы их увидеть. Апрель заставил их

бутонами распуститься, и среди глянцевых зеленых листьев виднелись крупные цветы с толстыми, будто вылепленными из воска лепестками удивительных кремовых, розовых и ярко-алых тонов. Но Рэчел шла, ничего не видя, поскольку была в том восторженном состоянии, какое обычно возникает безо всякой видимой причины и преображает все вокруг — и землю, и небо. Ночь вышла за свои пределы и подчинила день. В ушах Рэчел звучали мелодии, которые она играла накануне; она стала напевать и от этого шла все быстрее и быстрее. Она не отдавала себе отчета, куда идет: деревья и весь пейзаж превратились в зеленые и синие массы, среди которых лишь небо выделялось цветом. Перед ее глазами стояли лица людей, которых она видела ночью; она слышала их голоса. Петь она перестала и начала повторять то, что говорила им, или говорить то же самое, но по-другому, или то, что могло быть, но не было сказано. После скованности, порожденной обществом незнакомых людей и длинным шелковым платьем, было необычайно приятно вот так идти одной. Хьюит, Хёрст, мистер Венниング, мисс Аллан, музыка, свет, темные деревья в саду, рассвет кружились в ее голове, создавая шумный и пестрый фон, по сравнению с которым это утро, с возможностью делать, что хочется, казалось еще прекраснее и ярче, чем даже прошедшая ночь.

Так бы она и шла и совсем заблудилась бы, если бы не дерево, которое, хотя росло и не посреди тропы, заставило ее внезапно остановиться, будто его ветви хлестнули ее по лицу. Дерево было вполне обыкновенным, но ей оно показалось таким странным, точно это было единственное дерево в мире. В середине рос темный ствол, от которого здесь и там отходили ветви, а между ними виднелись неровные промежутки света, такие четкие, словно дерево за мгновение до того восстало с земли. Она поняла, что увиденное сейчас запечатлеется в ее памяти на всю жизнь, а вместе с ним сохранится и это мгновение. После этого дерево заняло свое место в ряду обычных деревьев, и Рэчел смогла сесть в его тени и нарвать красных цветов с узкими зелеными листьями, которые росли под ним. Она сложила их цветок к цветку, стебелек к стебельку, нежно лаская их, поскольку во время одиноких прогулок в ее глазах цветы и даже камешки на земле жили своей жизнью, обладали своим нравом и возрождали ощущения детства, когда они были не просто предметами, но друзьями. Подняв голову, Рэчел остановила взгляд на границе гор, резко перечеркавшей небо, как извилистый след от кнута. Она посмотрела на высокое бледное небо и залитые солнцем плешины на верхушках гор. Сядясь, она бросила книги на землю у своих ног, и теперь они лежали в траве, такие странно-прямоугольные; высокий склонившийся стебелек щекотал гладкую коричневую обложку Гиббона, а пестрый синий Бальзак беззащитно пекся под солнцем. Чувствуя, что сейчас чтение окажет на нее какое-то особенное действие, она открыла исторический труд и прочла:

«В начале его правления его полководцы попытались покорить Эфиопию и Счастливую Аравию. Они прошли на тысячу миль южнее тропика, но вскоре жаркий климат прогнал захватчиков обратно, защищив невоинственных обитателей этого глухого края... Области на севере Европы едва ли стоили затрат и усилий, необходимых для их завоевания. Леса и болота Германии были населены отважными варварами, которые презирали жизнь, лишенную свободы».

Еще никогда ей не встречались такие яркие и прекрасные слова — Счастливая Аравия, Эфиопия... И окружали их слова не менее благородные — отважные варвары, леса, болота. Казалось, они прокладывают дороги к самому началу мира, а по сторонам этих дорог стоят народы всех эпох и стран, и если она пройдет по ним, то завладеет всеми знаниями и пролистает назад историю человечества до самой первой страницы. Открывшаяся возможность

постигнуть эти знания вызвала у нее такой восторг, что она перестала читать, ветерок легко зашелестел страницами, и обложка Гиббона сама собой закрылась. Рэчел встала и пошла дальше. Постепенно неразбериха в ее голове улеглась, и она задумалась о причинах своего волнения. Их, при некотором усилии, можно было свести к двум людям — мистеру Хёрсту и мистеру Хьюитту. Думать о них трезво и ясно было невозможно, поскольку обоих окутывал какой-то волшебный туман. Она не могла рассуждать о них, как о других людях, чьи чувства подчиняются тем же законам, что ее собственные, поэтому она просто мысленно созерцала их образы, и это доставляло такое же физическое наслаждение, как если бы она смотрела на яркие предметы, освещенные солнцем. Казалось, что их сияние распространяется на все, даже слова в книге были им пропитаны. Затем ее посетило некое подозрение, которое было так нежелательно, что она была рада споткнуться, запутавшись ногой в траве, потому что это отвлекло ее внимание, которое, однако, рассеялось лишь на секунду. Рэчел неосознанно все ускоряла шаг: ее тело старалось опередить мысли, но вскоре она оказалась на вершине небольшого холмика, приподнятого над рекой, с которого была хорошо видна долина. Рэчел больше не могла жонглировать несколькими мыслями; с одной из них, самой настойчивой, следовало разобраться, и волнение сменилось унынием. Она опустилась на землю и обхватила колени, безучастно глядя вперед. Какое-то время она наблюдала за крупной желтой бабочкой, которая очень медленно раскрывала и складывала крылья, сидя на небольшом плоском камне.

— Что значит быть влюбленной? — спросила себя Рэчел после долгого молчания. Каждое слово, рождаясь, как будто падало в неведомое море. Загипнотизированная бабочкой, испуганная возможностью жизненных перемен, она сидела так довольно долго. Когда бабочка улетела, Рэчел встала и с двумя книгами под мышкой вернулась домой, чувствуя себя солдатом, готовым к битве.

Глава 14

В тот день заход солнца и сумерки были, как обычно, встречены в гостинице дружным салютом электрических огней. Время между ужином и отходом ко сну и всегда-то было трудно убить, а в этот вечер оно было еще омрачено раздражительностью — следствием вчерашнего разгула. Поэтому Хёрст и Хьюит, полулежавшие в длинных креслах посреди холла с чашками кофе и сигаретами в руках, сходились во мнении, что вечер уж очень тосклив, женщины как никогда дурно одеты, а мужчины — глупы. Мало того, когда через полчаса принесли почту, там не оказалось ничего для обоих молодых людей. Между тем почти каждый постоялец получил из Англии по два-три пухлых письма, чтением которых все теперь и были заняты. Это выглядело просто отвратительно, и Хёрст едко заметил, что зверям задали корм. Тишина в холле, сказал он, напоминает ему тишину в клетке со львами, когда каждый хищник держит в лапах кусок сырого мяса. Он стал развивать метафору и сравнил — кого с бегемотами, кого с канарейками, со свиньями, с попугаями, а кого и с отвратительными удавами, которые обвили полуразложившиеся овечьи трупы. Время от времени люди кашляли, сопели, прочищали глотку или тихо перебрасывались несколькими фразами, и эти звуки, по мнению Хёрста, точно повторяли то, что можно услышать у львиной клетки, когда ее обитатели расправляются с костями. Но эти сравнения не расшевелили Хьюита — тот, обведя зал безучастным взором, остановил его на индейских копьях, которые были укреплены так искусно, что, с какой стороны к ним ни подойди, обязательно уткнешься в острия. Хьюита явно не интересовало происходящее, поэтому Хёрст, заключив, что сознание того отключено, еще больше сосредоточил внимание на присутствующих. Он сидел слишком далеко, чтобы расслышать их слова, но ему было приятно строить различные версии на основании их жестов и облика.

Миссис Торнбери получила целый ворох писем и была полностью поглощена ими. Дочитав листок, она протягивала его мужу или передавала суть прочитанного несколькими короткими цитатами, соединяя одну с другой каким-то гортанным звуком.

— Иви пишет, что Джордж уехал в Глазго. «Ему очень нравится работать с мистером Чедбурном, и мы надеемся встретить Рождество вместе, правда, мне не хотелось бы везти Бетти и Альфреда так далеко (еще бы), хотя в такую жару трудно даже представить себе холодную погоду... Элинор и Роджер заезжали в новой двухколке... Элинор впервые после зимы стала похожа на себя. Она перевела малыша на три бутылочки, что я считаю вполне разумным (я тоже), и ночи стали спокойнее... У меня по-прежнему выпадают волосы. Я нахожу их на подушке! Но меня приободряют вести от Тотти Холл-Грин... Мюриел в Торки, весьма увлечена танцами. Она все-таки покажет мне своего черного мопса...» Строчка от Герберта — он так занят, бедняжка! Ох! Маргарет пишет: «Бедная старая миссис Фэрбенк умерла восьмого числа — внезапно, в оранжерее. В доме была только прислуга, которой не хватило ума поднять хозяйку, что, говорят, могло ее спасти, но доктор считает, что миссис Фэрбенк могла умереть в любую минуту, и надо сказать спасибо, что это случилось дома, а не на улице (вот именно!). Голуби страшно расплодились, как пять лет назад кролики...» — Пока миссис Торнбери читала, ее муж легонько, но очень размеренно кивал в знак одобрения.

Недалеко от них мисс Аллан тоже читала свои письма. Не все они доставляли ей радость, что можно было заключить по несколько напряженному выражению ее широкого симпатичного лица, когда она, прочитав письмо, аккуратно возвращала его в конверт. Забота и чувство ответственности отпечатывались на этом лице глубокими морщинами, из-за которых оно походило скорее на лицо пожилого мужчины, чем женщины. Письма принесли ей весть о прошлогоднем неурожае фруктов в Новой Зеландии — это была серьезная неприятность,

поскольку ее единственный брат Хьюберт зарабатывал на жизнь плодовым садом, и, если у него опять ничего не выйдет, он, конечно, снимется с места и вернется в Англию, и что они тогда будут с ним делать? И поездка сюда, из-за которой она лишилась работы на семестр, теперь выглядела причудой, а не просто приятным и заслуженным отдыхом после того, как она пятнадцать лет читала лекции и проверяла сочинения по английской литературе. Ее сестра Эмили, тоже преподаватель, писала: «Нам надо быть готовыми, хотя не сомневаюсь, что Хьюберт на этот раз будет разумнее». Затем она с присущей ей тактичностью сообщала, как чудесно она проводит время на озерах: «Сейчас они особенно прекрасны. Я давно не видела, чтобы листья на деревьях уже так распустились в это время года. Мы несколько раз обедали на природе. Старушка Элис молода, как всегда, и обо всех заботливо расспрашивает. Дни летят, скоро начнется семестр. Политические перспективы не блещут, как я про себя думаю, но мне не хочется лишать Эллен энтузиазма. Ллойд-Джордж внес законопроект [43], но это делали уже многие, а мы не сдвинулись ни на шаг. Надеюсь, однако, что ошибаюсь. Так или иначе, нас ждет работа... Правда, у Мередита нет той нотки человечности, за которую так любят У. В.? [44]» — заключила она и перешла к обсуждению тех вопросов английской литературы, которые мисс Аллан подняла в своем последнем письме.

Поблизости от мисс Аллан, под сенью нескольких пальм, которые тесно росли в одной кадке и создавали некоторую интимность, Артур и Сьюзен читали письма друг друга. На колене у Артура лежали страницы, покрытые размашистым почерком молодых хоккеисток из Уилтшира, а Сьюзен разбирала убористые письмена адвокатов, редко занимавшие больше страницы и всегда оставлявшие впечатление шутливой и жизнерадостной доброжелательности.

— Надеюсь, я понравлюсь мистеру Хатчинсону, Артур, — сказала она, поднимая голову.

— А кто эта «с любовью Фло»? — спросил Артур.

— Фло Грейвз, та девушка, о которой я тебе рассказывала, она еще была помолвлена с этим жутким мистером Винсентом. А мистер Хатчинсон женат?

Ее мысли уже были заняты человеколюбивыми планами по поводу подруг, точнее, одним блестящим планом, притом очень простым: все они должны выйти замуж — сразу, как она вернется. Брак, брак, вот что всем нужно, и это единственное, что всем нужно, он просто необходим для всех, кого она знает. И она стала перебирать в уме примеры неустроенности, одиночества, слабого здоровья, неутоленного честолюбия, беспокойства, эксцентричности, неспособности окончить начатое, тяги к публичным выступлениям и филантропической деятельности как у мужчин, так в особенности у женщин, объясняя все это стремлением к семейной жизни и попыткам вступить в брак, причем безуспешным. А если эти симптомы остаются и после свадьбы, то приходится признать, что виной тому суровый закон природы, согласно которому в мире существует лишь один Артур Веннинг и лишь одна Сьюзен, его суженая. Достоинством ее теории было то, что она полностью подтверждалась ее собственным случаем. Уже два-три года она смутно сознавала, что жить дома становится все тягостнее, и это заморское путешествие со старой эгоистичной теткой, которая, оплачивая транспортные расходы, обращалась с ней как с прислугой и компаньонкой в одном лице, было типичным примером того, что люди от нее ожидали. Зато сразу после помолвки миссис Пейли инстинктивно стала к ней почтительнее и с жаром протестовала, когда Сьюзен, по обыкновению, вставала на колени, чтобы завязать ей шнурки, и выражала искреннюю благодарность за час в обществе Сьюзен, хотя раньше считала себя вправе отнять у нее и два, и три часа. Сьюзен, предвкушая жизнь гораздо более приятную, чем та, к которой она привыкла, стала относиться к людям намного теплее.

Уже почти двадцать лет миссис Пейли не могла ни завязывать шнурки на ботинках, ни даже видеть их. Ноги отказались ей служить примерно тогда же, когда умер ее муж, который

был предпринимателем. Вскоре после этого она стала полнеть. Она была эгоистичной, независимой старухой с весомым доходом, который она тратила на содержание своих домов — одного в Ланкастер-Гейт, нуждавшегося в семерых слугах и одной приходящей уборщице, и второго — в Суррее, с садом и выездными лошадьми. Помолвка Сьюзен освободила ее от одной из главных тревог ее жизни — что ее сын Кристофер «свяжет себя» с кузиной. Теперь, когда этот источник внутрисемейной напряженности иссяк, она чувствовала себя несколько неловко и испытывала желание видеть Сьюзен чаще, чем раньше. Она решила преподнести ей весьма ценный свадебный подарок — чек на двести, двести пятьдесят, а возможно — это зависело от младшего садовника и счета от Хатов за ремонт гостиной, — и все триста фунтов стерлингов.

Она обдумывала этот вопрос и делала вычисления, сидя в своем инвалидном кресле, рядом с которым на столике были разложены карты. Пасьянс никак не сходился, но ей не хотелось призывать на помощь Сьюзен, поскольку та, судя по всему, была занята с Артуром.

«Она, конечно, имеет все основания ожидать от меня ценного подарка, — размышляла миссис Пейли, безразлично взирая на вздыбленного леопарда. — И ожидает, несомненно! Деньги всем нужны. Молодежь очень эгоистична. Если я умру, никто не будет меня оплакивать, кроме Дэйкинс, да и ее утешит завещание. Впрочем, мне не на что жаловаться... Я пока могу и сама радоваться жизни. Я никого не обременяю... У меня много приятных занятий, несмотря на ноги».

И все-таки настроение у нее было слегка подавленное, и она подумала, что на свете было всего два человека, которые казались ей полностью лишенными эгоизма и корысти; она считала их лучше всех остальных людей, даже с готовностью признавала, что они были лучше ее самой. Один из них был ее брат, утонувший у нее на глазах, а вторая — ее ближайшая подруга, которая умерла, производя на свет своего первенца. Все это случилось лет пятьдесят назад.

«Они не должны были умереть, — думала миссис Пейли. — Однако они умерли, а мы, старые себялюбцы, всё живем и живем». На ее глазах показались слезы, она искренне жалела об ушедших, испытывая нечто вроде почтения к их молодости и красоте и нечто вроде стыда за себя. Однако слезы не пролились. Она открыла один из бесчисленных романов, тех, которые обычно оценивала как хорошие, плохие, вполне сносные или просто чудесные. «Не могу представить, как люди выдумывают такое», — говорила она, сняв очки и подняв старые потускневшие глаза, вокруг которых все больше проступали белесые круги.

За чучелом леопарда мистер Эллиот и мистер Пеппер играли в шахматы. Мистер Эллиот, разумеется, проигрывал, поскольку мистер Пеппер почти неотрывно смотрел на доску, а мистер Эллиот, откинувшись в кресле, беседовал с прибывшим накануне господином, высоким, ладным на вид, с головой, напоминавшей голову умного барана. Обменявшиесь несколькими банальными замечаниями, они обнаружили, что у них есть общие знакомые, правда, это стало им ясно, как только они друг друга увидели.

— Да, старина Труфит, — сказал мистер Эллиот. — У него сын в Оксфорде. Я часто у них останавливался. Чудный старый дом эпохи Якова. Несколько изысканных полотен Грёза, однажды голландские картины, которые старик держит в подвале. И горы гравюр. А сколько грязи в доме! Он ведь скряга, знаете ли. Парень женился на дочери лорда Пинвелла. Их я тоже знаю. Мания коллекционирования рушит семьи. Этот собирает застежки — мужские обувные застежки, бывшие в ходу между тысяча пятьсот восемидесятым и тысяча шестьсот шестидесятым годами; в датах я могу ошибиться, но суть та же. Любой настоящий коллекционер — человек с причудами. А во всем остальном Труфит рассудителен, как скотопромышленник, кем он, собственно, и является. И Пинвеллы, как вам, думаю, известно, не лишены чудачеств. Леди Мод, например... — Тут он прервался, чтобы обдумать ход. — Леди Мод страшится кошек и священников, а также людей с крупными передними зубами. Я

однажды слышал, как она крикнула через стол: «Закройте рот, мистер Смит! Они у вас цвета моркови!» — через стол, повторяю. А со мной она всегда — сама любезность. Она балуется литературой, любит собирать нашего брата у себя в гостиной, но — стоит упомянуть священника, даже епископа, да самого архиепископа — начинает кудыкать, как индюк. Я слышал, что это семейная вражда, восходящая к какой-то истории времен Карла Первого. Да, — продолжал он, терпя шах за шахом, — мне всегда интересны бабушки наших блестящих молодых людей. Я считаю, что они сохранили все, чем нас восхищает восемнадцатый век, с тем преимуществом, что они соблюдают личную гигиену. Нет, конечно, леди Барборо никто не оскорбит обвинением в гигиеничности. Хильда, как часто, по-твоему, — обратился он к жене, — их светлость принимают ванну?

— Мне трудно сказать, Хью, — хихикнула миссис Эллиот. — Но поскольку она носит кирпичный бархат даже в самый жаркий августовский день, это в глаза не бросается.

— Пеппер, ваша взяла, — сказал мистер Эллиот. — Я играю даже хуже, чем думал. — Он принял поражение с полной невозмутимостью, потому что на самом деле ему хотелось поговорить.

Он подвинул кресло к мистеру Уилфреду Флашингу — новому постояльцу.

— Интересуетесь? — спросил мистер Эллиот, указывая на шкаф, в котором для соблазнения гостей были разложены отполированные до блеска кресты, ювелирные украшения и вышивка — творения местных мастеров.

— Одни подделки, — коротко ответил мистер Флашинг. — Хотя этот коврик недурен. — Он наклонился и взял с нижней полки кусок ковровой материи. — Не старый, конечно, но рисунок выдержан в традиции. Элис, одолжи мне свою брошь. Сейчас вы увидите разницу между старинной работой и новой.

Сосредоточенно читавшая дама отстегнула брошь и передала ее мужу, не глядя на него и не обращая никакого внимания на мистера Эллиота, желавшего отвесить ей поклон. Если бы она прислушалась к разговору, то была бы весьма удивлена упоминанием леди Барборо, ее двоюродной бабки, но она продолжала читать, совершенно безразличная к тому, что ее окружает.

Часы, посыпев пару минут, как старик, готовящийся раскашляться, пробили девять. Этот звук слегка потревожил нескольких сонных торговцев, правительственные чиновников и рантье, которые расслабленно, полуприкрыв глаза, сидели в креслах, курили и переговаривались, переминая свою деловую жвачку. Во время боя часов они лишь подняли веки, а потом опять опустили. Они походили на сытых крокодилов — наевшихся за последней трапезой, они теперь нисколько не волновались за будущее мира. Единственным источником беспокойства в этой обители света и безмятежности была крупная ночная бабочка, которая перелетала от лампы к лампе, шелестя крыльями над замысловатыми прическами, и несколько молодых женщин уже поднимали руки с возгласом: «Кто-нибудь, ну убейте же ее!»

Погруженные в свои мысли, Хьюит и Хёрст долго молчали.

Когда часы пробили, Хёрст сказал:

— А, твари зашевелились... — Он увидел, что некоторые приподнялись, огляделись и опять успокоились. — К чему я испытываю особое омерзение, — заключил он, — так это к женской груди. Представь себя на месте Веннинга, которому надо ложиться в постель со Сьюзен! Но самое отвратительное, что они ничего не чувствуют, — почти как я, когда лежу в горячей ванне. Они грубы, нелепы, они совершенно невыносимы!

Сказав это и не дождавшись ответа от Хьюита, он опять стал размышлять о самом себе, о науке, о Кембридже, об адвокатуре, о Хелен и о том, что она думает о нем, пока наконец усталость не одолела его и он не начал клевать носом.

Внезапно его разбудил Хьюит.

— Как человеку понять, что он чувствует, Хёрст?

— Ты что, влюбился? — спросил Хёрст и надел очки.

— Не валяй дурака.

— Что ж, я посижу и подумаю над этим, — сказал Хёрст. — Дело очень полезное. Если бы эти люди хоть иногда думали, жить было бы намного приятнее. Ты пытаешься думать?

Именно этим Хьюит и занимался последние полчаса, но сейчас он не находил в Хёрсте сочувствия.

— Пойду прогуляюсь, — сказал он.

— Помни, что в прошлую ночь мы не спали, — проговорил Хёрст, зевая до ушей.

Хьюит встал и потянулся.

— Хочу подышать свежим воздухом.

Весь вечер его тревожило странное ощущение, которое не позволяло ему отдаваться какому-то определенному ходу мыслей. Как будто он вел беседу и ему было очень интересно, и вдруг кто-то прервал ее посередине. Он не договорил, и чем дольше он сидел в холле, тем больше ему хотелось договорить. Поскольку это был разговор с Рэчел, он спрашивал себя, почему он так чувствует и отчего ему хочется снова ее видеть. Хёрст сказал бы, что он просто влюблен в нее. Но он не был в нее влюблен. Разве любовь начинается с желания говорить с человеком? Нет. У него она всегда начиналась с физических ощущений, которых сейчас не было, он даже не находил эту девушку физически привлекательной. Чем-то она, конечно, отличалась от всех остальных — молода, неопытна и любознательна, к тому же их беседы были гораздо откровеннее, чем это бывало у Хьюита с другими. Впрочем, ему всегда было интересно говорить с девушками, — наверное, поэтому он и хочет продолжить разговор с ней, а вчера, среди этой толпы и неразберихи, он мог только начать... Чем она теперь занята? Лежит на диване и смотрит в потолок, вероятно. Он легко представил ее в таком положении. А Хелен — рядом, в кресле, руки на подлокотниках, смотрит перед собой своими огромными глазами... Нет, они, конечно, обсуждают танцы. А если Рэчел уедет через день-другой, если ее пребывание здесь закончится, если отец ее уже прибыл на одном из пароходов, стоявших в бухте, — было бы невыносимо расстаться, узнав о ней так мало. Поэтому он и воскликнул: «Как человеку понять, что он чувствует, Хёрст?» — чтобы прервать собственные мысли.

Но Хёрст не помог ему, а другие люди, с их бесцельными движениями и неизвестными судьбами лишь раздражали его, поэтому он захотел оказаться в безлюдной темноте. Выйдя наружу, он сразу стал искать глазами виллу Эмброузов. Решив, что один из огоньков на холме, выше всех остальных, принадлежит именно ей, он успокоился. Хоть какое-то постоянство во всей этой путанице. Не обдумав заранее свой маршрут, он просто свернул направо, прошел через город и остановился у стены на скрещенье дорог. Отсюда было слышно шум моря. Иссиня-черные горы вздымались на фоне более светлой синевы неба. Луны не было, зато небо покрывал сплошной ковер звезд, и темные волны земли были усеяны огнями. Хьюит уже думал вернуться, но тут яркая точка виллы Эмброузов разделилась на три огонька, и он не устоял перед соблазном пойти дальше. Можно, например, убедиться, что Рэчел все еще там. Он шел быстрым шагом и очень скоро оказался у железной калитки их сада. Хьюит толкнул ее. Очертания дома внезапно четко прорисовались перед его глазами, тонкая колонна веранды выделялась на фоне бледно освещенного гравия. Хьюит заколебался. В глубине дома кто-то гремел кастрюлями. Он подошел к фасаду. По свету, падавшему на террасу, он понял, что гостиные с этой стороны. Он встал около угла дома, как можно ближе к свету. Листья ползучего растения щекотали ему лицо. Вскоре он расслышал голос. Голос звучал ровно, это был не разговор — по монотонности было понятно, что это чтение вслух. Хьюит подобрался чуть

ближе. Он сгреб рукой несколько листьев, чтобы они не шуршали над ухом. Возможно, это читает Рэчел... Он вышел из тени в полосу света и отчетливо услышал целую фразу:

«И жили мы там с 1860 по 1895 год — самые счастливые годы моих родителей; а в 1862 году родился мой брат Морис — к радости отца и матери, поскольку ему было суждено доставлять радость всем, кто его знал».

Темп чтения ускорился, голос стал чуть выше — по интонации чувствовалось, что это конец главы. Хьюит опять отошел в тень. Последовала долгая пауза. Он только слышал, что в доме задвигали стульями. Он уже почти решил идти обратно, как вдруг в окне появились две фигуры — не более чем в шести футах от него.

— Это был Морис Филдинг, конечно, с которым твоя мама была помолвлена, — прозвучал голос Хелен. Она говорила задумчиво, глядя в темный сад, — ее внимание было явно занято не только предметом разговора, но и ночным видом.

— Мама? — переспросила Рэчел. У Хьюита заколотилось сердце, и он это отметил. Ее голос, хотя и тихий, был полон удивления.

— Ты об этом не знала?

— Я даже не предполагала, что существовал кто-то другой, — сказала Рэчел. Она была, несомненно, изумлена, но слова, произносимые обеими женщинами, звучали приглушенно и бесстрастно, потому что они говорили, стоя лицом к лицу с прохладной ночной тьмой.

— Я не знала женщины, в которую влюблялось больше мужчин, чем в нее, — призналась Хелен. — В ней была эта сила... Она умела радоваться. Она не была красавицей, но... Я думала о ней вчера во время танцев. Она умела расположить к себе любого человека, причем делала это как-то удивительно... весело.

Хелен погружалась в прошлое, тщательно подбирая слова, сравнивая Терезу с людьми, которых Хелен узнала после ее смерти.

— Не знаю, как это у нее получалось, — продолжила она, но умолкла. Во время долгой паузы было слышно, как ухнул сыр — сначала в одном месте, потом в другом, как будто он перелетал с дерева на дерево.

— Тетя Люси и тетя Кэти, как обычно, все исказили, — проговорила наконец Рэчел. — По их словам, она всегда была очень грустной и очень добродетельной.

— Тогда почему же, интересно, они только критиковали ее, когда она была жива? — сказала Хелен. Их голоса звучали очень тихо, как будто они качались на волнах в отдалении. — Если бы я завтра умерла... — начала Хелен.

Обрывки фраз казались Хьюиту необычайно красивыми, отвлеченными, даже таинственными, как то, что человек говорит во сне.

— Нет, Рэчел, — продолжил голос Хелен, — я не пойду гулять, в саду наверняка сыр, кроме того, я вижу не меньше дюжины жаб.

— Жаб? Это камни, Хелен. Пойдем. Там лучше. Цветы пахнут, — отозвалась Рэчел.

Хьюит отошел еще дальше. Его сердце билось очень часто. Судя по всему, Рэчел старалась вытянуть Хелен на террасу, а та сопротивлялась. Были слышны шарканье, уговоры, отказы и смех обеих женщин. Затем появился силуэт мужчины. Хьюит не мог разобрать, что они говорили. Через минуту все вошли в дом. Последовала мертвая тишина, и свет погас.

Он повернулся, все так же переминаясь в руке листья, сорванные со стены. Им овладело удивительное чувство радости и облегчения; после бала в гостинице все опять было надежно и спокойно, влюблен он в них или нет, а он в них не влюблен... Не влюблен, но как хорошо, что они есть на свете.

Постояв минуту-другую, он пошел к калитке. Во время движения чувства восторга, очарованности жизнью, ее полнотой теснились в его душе. Он начал громко читать стихи, но

слова ускользали от него, и он запутался в строках и обрывках строк, в которых не было никакого смысла, кроме красоты слов. Он затворил калитку и побежал вниз по склону холма, петляя из стороны в сторону, выкрикивая всякую чепуху, которая приходила ему в голову. «Вот он я, — ритмично декламировал он, выбрасывая ноги то влево, то вправо, — несусь вперед, как в джунглях слон, срываю ветки по пути (он стал хватать побеги кустов, росших вдоль дороги), ревя бесчисленные слова, чудесные слова обо всем на свете, бегу под гору, плету всякий бред сам для себя о дорогах, и листьях, и огнях, и женщинах, выходящих в темноту... О женщинах! О Рэчел! О Рэчел!» — Он остановился и сделал глубокий вдох. Ночь казалась огромной и доброй, и, несмотря на тьму, внизу, в гавани и в море, как будто что-то двигалось и шевелилось. Он вглядывался, пока мрак не ввел его в оцепенение, и тогда он быстро пошел дальше, бормоча себе под нос: «А должен я быть в постели, сопеть и видеть сны, сны, сны... Сны и реальность, сны и реальность, сны и реальность», — повторял он на протяжении всей аллеи, едва ли осознавая, что говорит, и наконец очутился перед входной дверью. Здесь он на секунду задержался, чтобы прийти в себя перед тем, как войти.

Его глаза были широко распахнуты в изумлении, руки — холодны, мозг возбужден и одновременно жаждал сна. За дверью все оказалось точно так, как было, когда он уходил, с одним отличием — в холле не осталось ни души. Стулья стояли повернутыми один к другому, как их покинули ушедшие собеседники, пустые бокалы стояли на столиках, газеты лежали разбросанными на полу. Закрыв за собой дверь, Хьюит почувствовал себя так, будто оказался в прямоугольном ящике, и от этого он сразу немного сник. Здесь все было таким четким и таким маленьkim... Он остановился у длинного стола, чтобы найти газету, которую собирался почитать, но ночной мрак и свежий воздух были еще слишком живы в его воображении, чтобы он мог спокойно вспомнить, какая это была газета и где он ее видел.

Вяло перебирая газеты, он увидел краем глаза, что кто-то спускается по лестнице. Послышалось шелестение юбок, и, к его большому удивлению, к нему подошла Эвелин Мёргатройд и, положив на стол руку, будто чтобы помешать ему взять газету, сказала:

— Вот как раз с вами-то я и хотела поговорить. — Голос у нее был немного резкий, с металлическим оттенком, а глаза — очень ясные, и она смотрела ими на Хьюита не отрываясь.

— Поговорить со мной? — переспросил он. — Но я сплю на ходу.

— Мне просто кажется, что вы понятливее большинства людей, — объяснила она и села на стульчик, стоявший у большого кожаного кресла, так что и Хьюиту пришлось сесть рядом с ней.

— Итак? — сказал он, недвусмысленно зевнул и зажег сигарету. Ему не верилось, что все это с ним действительно происходит. — О чем пойдет речь?

— Вы действительно чуткий человек или это просто поза? — спросила Эвелин.

— Об этом вам судить. Я думаю, мне интересно. — Он все-таки чувствовал оцепенение во всем теле, как будто она сидела к нему слишком близко.

— Интересно может быть кому угодно! — нетерпеливо воскликнула она. — Вашему другу мистеру Хёрсту тоже интересно, полагаю. Однако я верю в вас. Вы как-то так выглядите, будто у вас есть очень милая сестра. — Она помолчала, перебирая блестки на подоле платья, а потом, словно решившись, начала: — Так или иначе, я спрошу у вас совета. С вами бывает, что вы сами не понимаете, что у вас на душе? Со мной это сейчас. Понимаете, вчера на танцах Рэймонд Оливер — это высокий смуглый юноша, который выглядит, как будто в нем течет индийская кровь, хотя он говорит, что это не так, — в общем, мы с ним сидели в саду, и он все мне о себе рассказал, как плохо ему жилось дома и как противно ему здесь. Его запихнули в какое-то гадкое горнодобывающее дело. Это он так говорит: «Оно гадкое; оно должно мне нравится, я знаю, но мне оно совершенно некстати». И мне стало его ужасно жаль — никто не смог бы удержаться от жалости к нему, — и когда он попросил разрешения поцеловать меня, я

разрешила. В этом ведь нет никакого вреда, правда? А сегодня утром он сказал, что подумал, что я имела в виду нечто большее и что я не разрешаю себя целовать кому попало. И мы говорили, говорили. Наверное, я вела себя очень глупо, но, когда жалеешь человека, он неизбежно начинает тебе нравиться. А он мне ужасно нравится... — Она сделала паузу. — Ну, и я частично обнадежила его, а ведь, понимаете, есть еще Альфред Перротт...

— А, Перротт, — сказал Хьюит.

— Мы познакомились во время того пикника, — продолжила Эвелин. — Он казался таким одиноким, особенно когда Артур ушел со Сьюзен, — конечно, любому стало бы интересно, что он переживает. Мы долго беседовали, пока вы осматривали развалины, и он рассказал мне о своей жизни, о своих тяготах, как страшно трудно ему приходилось. Вы знаете, он в детстве служил посыльным в бакалейной лавке и разносил по домам свертки в корзине. Меня это ужасно заинтересовало, потому что я всегда говорю: не важно, кем ты родился, если ты правильно устроен внутри. Еще он рассказал, что у него сестра парализована, бедняжка, и, конечно, сразу понятно, какое это испытание, хотя он явно ей искренне предан. Должна сказать, что я восхищаюсь такими людьми! Вы — вряд ли, потому что вы такой умный. А вчера вечером мы сидели вместе в саду, и я не могла не понять, что он хочет сказать, и, чтобы утешить его хоть немножко, я сказала, что он мне небезразличен — и это правда, — только ведь есть еще Рэймонд Оливер... И вот я хочу вас спросить: можно любить двух человек сразу или нельзя?

Она умолкла и положила подбородок на руки, с таким видом, как будто перед ней стояла настоящая проблема, которую обязательно надо обсудить.

— Я думаю, это зависит от того, что вы за человек, — сказал Хьюит.

Он посмотрел на нее. Она была миниатюрна и хороша собой, лет двадцати восьми — двадцати девяти, но, несмотря на эффектную внешность, ее черты не выражали ничего определенного, кроме того, что она очень энергична и обладает крепким здоровьем.

— Кто вы, что собой представляете, я ведь ничего о вас не знаю, — продолжал он.

— Я собиралась к этому перейти, — сказала Эвелин М. Она все так же опиралась подбородком на руки и пристально смотрела перед собой. — Меня вырастила мать, без отца, если вам интересно. Ничего особенно хорошего в этом нет. Такое часто случается в деревнях. Она была дочерью фермера, а он — аристократом, красавцем из богатого особняка. Он так и не устроил ее жизнь, так и не женился на ней, хотя денег нам давал много. Ему не позволяли родители. Бедный папа! Я все равно люблю его. Мама была не такой женщиной, которая могла бы привязать его к себе. Его убили на войне. Я представляю, как солдаты боготворили его. Рассказывали, что здоровенные кавалеристы, не стыдясь, рыдали над его телом на поле боя. Жаль, я не знала его. Из мамы как будто высосали все жизненные силы. Общество... — Эвелин скжала кулак. — Сколько мерзости такая женщина видит от людей! — Она повернулась к Хьюиту. — Ну, вы хотите узнать обо мне что-то еще?

— А как жили вы? — спросил он. — Кто о вас заботился?

— Я сама о себе заботилась, по большей части. — Она засмеялась. — У меня великолепные друзья. Я люблю людей! В том-то и беда. Что бы вы сделали, если бы вам нравились два человека, оба очень сильно, и вы не могли бы решить, какой из них больше?

— Я продолжал бы им симпатизировать и не стал бы спешить. А почему нет?

— Но надо же что-то решать, — сказала Эвелин. — Или вы из тех, кто не верит в брак и все тому подобное? Слушайте, так нечестно, я говорю все, а вы — ничего. Может быть, вы такой же, как ваш друг? — Она посмотрела на него с подозрением. — Может быть, я вам не по душе?

— Я не знаю вас, — сказал Хьюит.

— А я всегда знаю с первого взгляда, нравится мне человек или нет! Вы мне сразу понравились, за первым же ужином. Боже мой, — продолжала она с досадой, — от скольких бы

неудобств люди себя избавили, если бы только прямо говорили, что думают. Я так создана. Ничего не могу поделать.

— Вам не кажется, что это ведет к некоторым трудностям? — спросил Хьюит.

— В этом виноваты мужчины. Они всегда приплетают любовь.

— Значит, вы получаете предложения одно за другим.

— Не думаю, что мне сделали больше предложений, чем обычно делают женщине, — сказала Эвелин, правда, без уверенности.

— Пять, шесть, десять? — стал гадать Хьюит.

Судя по выражению лица Эвелин, десять было верным числом, но все же не таким уж большим.

— Наверное, вы считаете меня бессердечной кокеткой, — возмутилась она. — Мне все равно, считайте. Меня не волнует, что обо мне думают. Только оттого, что тебе интересно, что ты хочешь общаться с мужчинами, говорить с ними так же, как с женщинами, — тебя называют кокеткой.

— Но, мисс Мёргатройд...

— Лучше называйте меня Эвелин, — вставила она.

— После десяти предложений вы можете, положа руку на сердце, сказать, что мужчины ничем не отличаются от женщин?

— Положа руку на сердце! Ненавижу это выражение! Его любят снобы! — вскричала Эвелин. — Положа руку на сердце, так должно быть. Это больше всего и огорчает. Каждый раз думаешь, что этого не произойдет, и каждый раз это происходит.

— «В погоне за дружбой», — сказал Хьюит. — Название комедии.

— Вы ужасны! — воскликнула она. — Никакой вы не чуткий. Вы все равно что мистер Хёрст.

— Что ж, — сказал Хьюит. — Давайте разберемся. Давайте разберемся... — Он умолк, потому что вдруг забыл, в чем они должны разбираться. Ему намного интереснее была она сама, чем ее затруднения, потому что во время разговора с ней его оцепенение прошло и он почувствовал смесь симпатии, жалости и недоверия. — Вы пообещали выйти замуж и за Оливера, и за Перротта? — заключил он.

— Не то что бы пообещала, — сказала Эвелин. — Я не могу решить, кто из них мне нравится больше. О, как мне отвратительна современная жизнь! — простонала она. — Насколько легче было в елизаветинскую эпоху! Когда мы были на той горе, я подумала, как бы мне хотелось быть среди колонистов, рубить деревья, устанавливать законы и так далее, вместе того, чтобы терять время со всеми этими людьми, которые видят во мне молодую красотку и больше ничего. А я не такая. Я могла бы что-то делать. — Она помолчала с минуту, размышляя, а потом сказала: — Боюсь, мое сердце говорит, что Альфред Перротт мне не подойдет. Ведь он не сильный, да?

— Вероятно, дерево срубить не сможет, — сказал Хьюит. — Вы хоть к кому-нибудь испытывали нежные чувства?

— Испытывала, к множеству людей, но не настолько, чтобы выходить за них замуж. Наверное, я слишком требовательна. Всю жизнь мечтала о человеке, которым восхищалась бы, о таком большом, сильном, великолепном. Большинство мужчин такие маленькие...

— Что значит, великолепном? — спросил Хьюит. — Люди есть люди.

Эвелин была озадачена.

— Людей любят не за достоинства, — попробовал объяснить он. — Любят просто их самих. — Он чиркнул спичкой. — Вот так, — сказал он, указав на пламя.

— Я понимаю вас, но не могу согласиться. Я знаю, за что люблю людей, и, по-моему, я

редко ошибаюсь. Я сразу вижу, что у человека внутри. Вот вы мне кажетесь вполне великолепным, в отличие от мистера Хёрста.

Хьюит покачал головой.

— Он несравним с вами. В вас так мало эгоизма, так много чуткости, понимания, и вы такой большой, — продолжала Эвелин.

Хьюит сидел молча и курил сигарету.

— Мне было бы противно рубить деревья, — наконец заметил он.

— Я не пытаюсь с вами флиртовать, если вы это подумали! — выкрикнула Эвелин. — Я бы даже не подошла к вам, если бы только заподозрила, что вы можете думать обо мне такие гадкие вещи! — У нее на глазах показались слезы.

— Вы никогда не флиртуете? — спросил Хьюит.

— Конечно, нет! — возмутилась она. — Разве я не говорила вам? Мне нужна дружба, мне нужен близкий человек, который был бы лучше и благороднее меня, а если все в меня влюбляются, я не виновата. Мне это не нужно. Я это просто ненавижу.

Хьюит понял, что никакого смысла в продолжении беседы нет, поскольку Эвелин не хочет сказать что-то определенное, а лишь пытается произвести на него впечатление. Она просто несчастна и не уверена в себе, хотя почему-то сilitся скрыть это. Он очень устал, к тому же бледный официант красноречиво прохаживался посреди зала, выразительно поглядывая на них.

— Они хотят закрывать, — сказал Хьюит. — Советую вам завтра сказать и Оливеру, и Перротту, что вы хорошенько подумали и поняли, что не хотите выходить ни за кого из них. Я уверен, это так и есть. Если вы передумаете, то всегда можете сообщить им об этом. Они люди благоразумные, поймут. И все неприятности кончатся. — Он встал.

Но Эвелин не пошевелилась. Она сидела и смотрела на него снизу своими ясными вопрошающими глазами, в глубине которых он заметил некоторое разочарование или недовольство.

— Спокойной ночи, — сказал он.

— Я еще очень много чего хотела бы вам сказать, — произнесла она. — И скажу когда-нибудь. Теперь вам пора идти спать, да?

— Да, — сказал Хьюит. — Я валюсь с ног.

Он оставил ее одну сидеть в пустом холле.

— Почему никто не хочет быть честным? — бормотал он себе под нос, поднимаясь по лестнице. Почему отношения между людьми так убоги, так отрывочны, так чреваты осложнениями, почему слова так опасны, почему в ответ на инстинктивный порыв сочувствия тебя подвергают скрупулезному анализу и часто дают резкий отпор? Что на самом деле хотела сказать Эвелин? Что она сейчас чувствует — одна, в пустом зале? Идя по коридору к своему номеру, он думал о таинственности жизни, о ложности собственных ощущений. Света в коридоре было мало, но все же достаточно для того, чтобы Хьюит увидел фигуру в ярком пеньюаре, мелькнувшую перед ним. Это была женщина — она перебежала из одного номера в другой.

Глава 15

Как бы ни были эфемерны узы, которые возникают между людьми, случайно в полночь повстречавшимися в пустой гостинице, по крайней мере, в одном они выигрывают перед теми, что связуют немолодые пары, обреченные на вечное сосуществование. Пусть эфемерны, зато в них есть неподдельность и живость — просто потому, что их можно разорвать в любое мгновение и держит людей вместе только искреннее желание общаться. Те же, кто состоит в браке много лет, будто перестают замечать физическое присутствие друг друга, ведут себя так, как если бы рядом никого не было, говорят вслух, не ожидая ответа, и вообще наслаждаются всеми прелестями уединения без одиночества. Совместная жизнь Ридли и Хелен достигла именно этой стадии; часто ему или ей стоило труда вспомнить, было что-то сказано или только подумано, обсуждено или просто пригрезилось. Два-три дня спустя, в четыре часа пополудни миссис Эмброуз причесывалась, а ее муж умывал лицо в гардеробной, которая сообщалась с ее комнатой, и до Хелен между всплесками воды доносились его восклицания: «Так все идет, год за годом... Как бы, как бы, как хотелось покончить с этим!» — но она никакого внимания на них не обращала.

— Седой? Или просто светлый? — бормотала она, разглядывая волос, который подозрительно блеснул на фоне каштановой пряди. Она выдернула его и положила на туалетный столик. Хелен критически, а точнее — одобрительно оценила свою внешность, чуть отойдя от зеркала и глядя на свое лицо с гордостью и печалью. В этот момент в дверях появился ее муж; он был без пиджака, а лицо его наполовину скрывало полотенце.

— Ты часто говоришь, что я ничего не замечаю, — начал он.

— Тогда скажи, седой это волос или нет, — отозвалась она, кладя волос ему на ладонь.

— У тебя нет седых волос! — воскликнул он.

— Ах, Ридли, я начинаю в этом сомневаться. — Хелен вздохнула и склонила перед ним голову, чтобы он сам рассудил, но результатом инспекции был поцелуй в пробор, после чего муж и жена продолжили свое движение по комнате, что-то тихо бормоча. — О чем это ты говорил? — спросила Хелен после короткой беседы, смысл которой был понятен только им двоим.

— О Рэчел. Ты должна присматривать за Рэчел, — заметил он со значением, и Хелен, продолжая причесываться, внимательно посмотрела на него. Его наблюдения обычно оказывались верными. — Молодые господа не интересуются образованием девушек без причины, — сказал Ридли.

— А, Хёрст.

— Хёрст и Хьюитт, для меня они одинаковы, оба мазаны одним миром. Знаешь, он советует ей читать Гиббона.

Хелен этого не знала, но она не могла признаться, что уступает мужу в наблюдательности. Она лишь сказала:

— Меня ничто не удивляет. Даже этот противный летун, с которым мы познакомились на танцах, даже мистер Дэллоуэй, даже...

— Советую быть бдительной. Есть ведь Уиллоуби, помни — Уиллоуби. — Ридли указал на письмо.

Хелен вздохнула и посмотрела на конверт, лежавший на туалетном столике. Да, очень характерно для Уиллоуби — сухость, невыразительность, беспрестанные шуточки, полная ясность мироздания, никаких тайн, вопросы о поведении дочери — не надоела ли она им, и если так, то пусть они отправят ее с первым же судном, — а потом благодарности и сдержанные

излияния нежных чувств, и еще полстраницы о собственных победах над несносными туземцами, которые объявили забастовку и отказывались грузить корабли, пока он не стал рычать на них, выкрикивая английские ругательства: «Высунулся из иллюминатора, как был, без пиджака. Негодяям хватило ума разбежаться».

— Если Тереза вышла за Уиллоуби, — заметила Хелен, переворачивая листок заколкой для волос, — не вижу, что может помешать Рэчел...

Но Ридли уже был занят своими обидами: начал он со стирки рубашек, а потом каким-то образом перешел к частым визитам Хьюлинга Эллиота: несмотря на то что тот — зануда, педант, сухарь, Ридли не может просто так указать ему на дверь. Суть в том, что они слишком много общаются с людьми. Итак далее и тому подобное — обычный супружеский разговор, ненавязчивый и не слишком осмысленный, который продолжался до тех пор, пока они не были готовы выйти к чаю.

Спускаясь по лестнице, Хелен сразу увидела экипаж у подъезда — он был полон юбок и перьев, свешивавшихся со шляпок. Хелен едва успела занять позицию в гостиной, как местная горничная смешно произнесла две фамилии, после чего в комнату вошли миссис Торнбери и чуть позади нее — миссис Уилфред Флашинг.

— Миссис Уилфред Флашинг, — объявила миссис Торнбери, делая волнообразное движение рукой. — Подруга нашей общей знакомой миссис Рэймонд Перри.

Миссис Флашинг энергично пожала руки хозяевам. Это была женщина лет сорока, очень стройная и прямая, пышущая здоровьем, хотя не такая высокая, какой она казалась благодаря своей осанке.

Она посмотрела на Хелен и сказала:

— У вас очаровательный дом.

У нее было выразительное лицо, глаза пристально смотрели на собеседника, а в манере поведения сочетались власть и нервозность. Миссис Торнбери играла роль переводчика, закругляя острые углы мягкими банальными замечаниями.

— Я взяла на себя смелость, мистер Эмброуз, — сказала она, — пообещать, что вы окажете любезность миссис Флашинг и поделитесь с ней своим опытом. Я уверена, что никто не осведомлен об этом крае лучше, чем вы. Никто не предпринимает такие прелестные долгие прогулки. И безусловно, никто не наделен такими энциклопедическими знаниями. Мистер Уилфред Флашинг — коллекционер. Он уже нашел несколько по-настоящему красивых вещиц. Я не имела представления, что крестьяне так художественно одарены, хотя, конечно, в прошлом...

— Вещи не старые, а новые, — перебила ее миссис Флашинг. — Он находит их, когда слушает меня.

Прожив в Лондоне много лет, Эмброузы неизбежно должны были знать хоть что-то о множестве людей, по крайней мере, держать в памяти имена, и, конечно, Хелен тут же вспомнила, что она слышала о Флашингах. У мистера Флашинга был магазин старинной мебели; он всегда говорил, что не вступает в брак, потому что у большинства женщин красные щеки, не снимает дом, потому что в большинстве домов узкие лестницы, и не ест мяса, потому что большинство животных истекают кровью, когда их убивают. В конце концов он женился на эксцентричной аристократке, уж точно не бледной и, судя по ее виду, отнюдь не вегетарианке, которая заставила его делать все, что он больше всего не любил, — так, значит, это она и есть... Хелен посмотрела на нее с интересом. Они вышли в сад, где под деревом был сервирован стол, и миссис Флашинг принялась за вишневый джем. Говоря, она имела обыкновение странно подергиваться всем телом, от чего дергалось и канареечного цвета перо на ее шляпке. Лицо у нее было живое, с мелкими, но правильными чертами, которые, вместе с ярким румянцем на

щеках и сочной краснотой губ, свидетельствовали о том, что предки ее хорошо питались и были хорошо образованы.

— Меня не интересует ничего, что старше двадцати лет, — продолжила она. — Заплесневелые старые картины, грязные старые книжки — их запихивают в музеи, когда они годятся только в печку.

— Вполне с вами согласна! — засмеялась Хелен. — Правда, муж мой тратит жизнь на то, чтобы откапывать рукописи, которые никому не нужны. — Ее позабавило выражение испуга и неодобрения на лице Ридли.

— В Лондоне есть умный человек по фамилии Джон [45], который пишет намного лучше старых мастеров, — сообщила миссис Флашинг. — Его картины приводят меня в восторг, а всякая старина меня совершенно не трогает.

— Но даже его картины состарятся, — вставила миссис Торнбери.

— Тогда я их сожгу или завещаю сжечь, — сказала миссис Флашинг.

— Кстати, миссис Флашинг жила в одном из прекраснейших старинных домов в Англии — в Чиллингли, — поведала присутствующим миссис Торнбери.

— Будь моя воля, я сожгла бы его завтра же, — засмеялась миссис Флашинг. Ее смех был похож на крик сойки — резкий и безрадостный. — Зачем человеку в здравом уме эти огромные дома? — спросила она. — Если ночью спускаешься вниз, на тебя сыплются тараканы и свет постоянно отключается. Представьте, вы открываете горячую воду, а из крана ползут пауки, что вы будете делать? — При этих словах она уставилась на Хелен.

Хелен пожала плечами с улыбкой.

— Вот это мне нравится, — сказала миссис Флашинг, кивнув в сторону виллы. — Маленький домик в саду. У меня был такой когда-то в Ирландии. Утром можно было прямо с постели срывать ногами розы через окно.

— А садовники не удивлялись? — спросила миссис Торнбери.

— Садовников не было, — хотела миссис Флашинг. — Только я и старуха без единого зуба. Знаете, в Ирландии они, бедняги, лишаются зубов после двадцати. Но политикам этого не понять, во всяком случае Артуру Бальфуру [46].

Ридли вздохнул, поскольку не ожидал понимания чего-либо от кого-либо, и меньше всего — от политиков.

— Однако, — произнес он, — в одном я вижу преимущество дряхлого возраста — ничто не имеет значения, кроме еды и пищеварения. Я лишь прошу — позвольте мне догнивать в одиночестве. Очевидно, что мир несется во весь опор в преисподнюю, и я только могу сидеть тихо и вдыхать как можно больше табачного дыма, — простонал он и с меланхолическим видом намазал джем себе на хлеб. Эта резкая дама явно была ему несимпатична.

— Я всегда возражаю мужу, когда он так говорит, — ласково проговорила миссис Торнбери. — Ах, мужчины! Что бы вы делали без женщин!

— Прочтайте «Пир», — мрачно сказал Ридли.

— «Пир»? — крикнула миссис Флашинг. — Это латынь или греческий? Скажите, есть хороший перевод?

— Нет, — ответил Ридли. — Вам придется выучить греческий.

Миссис Флашинг опять закричала:

— Ха-ха-ха! Я лучше буду дробить камни на дороге! Всегда завидовала этим людям в очках, которые дробят камни и целыми днями сидят на этих милых кучках. Мне бесконечно милее дробить камни, чем чистить курятники, или кормить коров, или...

Тут из нижнего сада пришла Рэчел с книгой в руке.

— Что это за книга? — спросил Ридли после того, как она со всеми поздоровалась.

— Гибbon, — ответила Рэчел и села.

— «Упадок и разрушение Римской империи»? — спросила миссис Торнбери. — Чудеснейшая книга, я знаю. Мой дорогой отец всегда нам ее цитировал, в результате чего мы дали себе слово не прочесть из нее ни строчки.

— Гибbon, который историк? — вступила миссис Флашинг. — Я связываю с ним счастливейшие часы в моей жизни. Мы любили читать Гиббона лежа в постели — помню, об избиениях христиан, — когда нам уже полагалось спать. Это не шутка — читать такую толстую книгу, текст в две колонки, при свете, проникающем через щелку в двери, да еще от ночника. К тому жеочные бабочки — полосатые, желтые — и мерзкие майские жуки. Луиза, моя сестра, хотела, чтобы окно было открыто. А я — чтобы закрыто. Каждую ночь мы дрались насмерть из-за этого окна. Видели, как ночная бабочка погибает в ночнике? — спросила она.

И опять беседа была прервана. Хёрст и Хьюит показались в окне гостиной и затем вышли к чайному столику.

Сердце Рэчел быстро забилось. Она почувствовала, как все вокруг приобрело необычайную глубину и четкость, как будто при появлении молодых людей с поверхности предметов слетел некий покров. Однако приветствия прозвучали вполне обыденно.

— Простите, — сказал Хёрст, поднимаясь со стула сразу после того, как сел. Он сходил в гостиную и вернулся с подушечкой, которую аккуратно подложил под себя. — Ревматизм, — сообщил он, усаживаясь во второй раз.

— Это после танцев? — спросила Хелен.

— Стоит мне физически устать, за этим всегда следует приступ ревматизма. — Он резко выгнулся назад кисть руки. — Прямо слышу, как трутся друг о друга мои отложения солей!

Рэчел посмотрела на него. Ей было смешно, и в то же время она испытывала почтение: верхняя часть ее лица смеялась, а нижняя изо всех сил старалась сдержать смех.

Хьюит подобрал с земли книгу.

— Нравится? — спросил он вполголоса.

— Нет, не нравится, — ответила Рэчел. В самом деле, она полдня пыталась читать эту книгу, но почему-то все великолепие, в котором Гибbon предстал поначалу, угасло, и Рэчел, как ни старалась, не могла уловить смысл. — Она раскручивается, раскручивается, как рулон kleenki, — рискнула Рэчел. Эти слова предназначались одному Хьюиту, но Хёрст вмешался:

— Что вы хотите сказать?

Рэчел тут же устыдилась своего сравнения, потому что не могла обосновать его трезвой критикой.

— Если речь идет о стиле, то он, вне всяких сомнений, совершенен и не знает равных, — продолжил Хёрст. — Каждая фраза фактически идеальна, и острота ума...

«Уродливая внешность, гадкие мысли, — подумала она вместо того, чтобы думать о стиле Гиббона. — Да, но зато мощный, пытливый, упорный ум». Она посмотрела на его крупную голову с непропорционально большим лбом, в его проницательные и строгие глаза.

— Отказываюсь от вас, отчаявшись, — сказал он полуслучаю, но Рэчел восприняла это всерьез и почувствовала, что ее ценность как человека уменьшилась, потому что она не восхищается Гиббоновым стилем. Остальные в это время беседовали о местных деревнях, которые миссис Флашинг следовало посетить.

— Я тоже в отчаянии, — резко ответила Рэчел. — Как вы можете оценивать людей по их уму?

— Вы, наверное, заодно с моей незамужней тетей, — предположил Сент-Джон в своей насмешливо-бодрой манере, которая всегда раздражала собеседника, потому что заставляла его чувствовать себя неуклюжим и слишком серьезным. — «Будь добродетельна, о дева...» Я

считал, что мистер Кингсли [47] вместе с моей тетей устарели.

— Можно быть хорошим человеком, не прочитав ни единой книги, — упрямо сказала Рэчел. Ее слова прозвучали примитивно и глупо, сделав Рэчел беззащитной для насмешек.

— Разве я это отрицаю? — спросил Хёрст, поднимая брови.

Неожиданно в разговор вступила миссис Торнбери — то ли потому, что в ее роль входило смягчать шероховатости, то ли в силу ее давнего желания поговорить с мистером Хёрстом, поскольку во всех молодых людях она видела своих сыновей.

— Я всю жизнь прожила с такими людьми, как ваша тетя, мистер Хёрст, — сказала она, наклоняясь вперед на стуле. Ее карие беличьи глазки засияли даже ярче обычного. — Они никогда не слышали о Гиббоне. Их заботят лишь их олени и крестьяне. Это крупные люди, которые смотрятся в седле так же славно, как смотрелись, наверное, всадники в эпоху великих войн. Можете говорить о них что угодно — что они животные, что они неумны; они не читают сами и не хотят, чтобы это делали другие, но они принадлежат к разряду лучших и добрейших людей на этом свете! Вас удивили бы истории, которые я могла бы рассказать. Вам, вероятно, и невдомек, какие романтические сюжеты разворачиваются в глубинке. Я считаю, что именно в среде этих людей рождается второй Шекспир, если он вообще рождается. В этих старых усадьбах, среди известковых холмов...

— Моя тетя, — перебил Хёрст, — всю жизнь живет в Восточном Ламбете [48] среди опустившейся бедноты. Я процитировал мою тетю лишь потому, что она склонна порицать людей, которых называет «интеллектуалами», в чем я подозреваю и мисс Винрэс. Теперь это модно. Если человек умен, само собой считается, что ему полностью недоступны сострадание, чуткость, привязанность — все, что по-настоящему важно. Эх вы, христиане! Вы — самые надменные, самодовольные, лицемерные притворщики в стране! Конечно, — продолжал он, — я первый признаю большие достоинства за вашими сельскими господами. Во-первых, они, вероятно, честно выражают свои чувства, в отличие от нас. Мой отец, а он священник в Норфолке, говорит, что в провинции едва ли найдется хоть один сквайр, который...

— А как насчет Гиббона? — перебил Хьюит. Это вмешательство сняло напряжение, которое читалось на лицах всех присутствующих. — Вы находите его однообразным, я полагаю. Но, знаете... — Он открыл книгу и начал просматривать текст в поисках фрагмента для чтения вслух. Вскоре он нашел нечто, по его мнению, подходящее. Но для Ридли не было ничего на свете скучнее, чем чтение вслух, и, кроме того, он был крайне привередлив к нарядам и поведению дам. За прошедшие пятнадцать минут он возненавидел миссис Флашинг — потому что ее оранжевое перо не шло к ее внешности, говорила она слишком громко и клала ногу на ногу; наконец, когда она приняла сигарету, предложенную Хьюитом, Ридли вскочил, пробормотал что-то о «питейных заведениях» и удалился. Его уход явно принес миссис Флашинг облегчение. Она пыхнула сигареткой, вытянула ноги и стала подробно расспрашивать Хелен о характере и репутации их общей знакомой миссис Рэймонд Перри. Прибегнув к серии небольших уловок, она заставила Хелен определить миссис Перри как явление устаревшее, не имеющее отношения к красоте и весьма искусственное — короче, как старую надменную каргу, чьи приемы интересны только тем, что там можно встретить странных людей; но Хелен всегда было жаль бедного мистера Перри, которого держат в нижнем этаже, в окружении шкафов, полных драгоценностей, тогда как его жена наслаждается жизнью в гостиной.

— Я, конечно, не верю тому, что про нее рассказывают, хотя ее и можно заподозрить...

Здесь миссис Флашинг вскрикнула от удовольствия:

— Она моя двоюродная сестра! Продолжайте, продолжайте!

Когда миссис Флашинг поднялась, чтобы уходить, всем стало ясно, что она довольна своими новыми знакомствами. По пути к экипажу она предложила три или четыре плана, как

им опять встретиться, или совершить экспедицию, или устроить для Хелен демонстрацию ее покупок. Все это она включила в неопределенное, но пышное приглашение.

Вернувшись в сад, Хелен вспомнила предостережение Ридли и с сомнением посмотрела на Рэчел, сидевшую между Хёрстом и Хьюитом. Но никаких выводов сделать не удалось, поскольку Хьюит до сих пор читал вслух Гиббона, а Рэчел, судя по выражению ее лица, уподобилась раковине на камне, для которой слова — что морские волны, омывающие ее створки.

У Хьюита был очень приятный голос. Дойдя до конца фразы, он остановился, и никто никакой критики не высказал.

— Люблю аристократов! — воскликнул Хёрст после небольшой паузы. — Поразительная беззастенчивость. Никто из нас не осмелился бы вести себя, как эта женщина.

— А что мне в них нравится, — сказала Хелен, садясь, — так это умение держать себя. Даже в голом виде миссис Флашинг была бы превосходна. Хотя одевается она, конечно, нелепо.

— Да, — сказал Хёрст. По его лицу прошла меланхолическая тень. — Я никогда не весил больше десяти стоунов. Что смехоторно при моем росте, и я еще похудел с тех пор, как мы сюда приехали. Видимо, это все ревматизм. — Он опять резко выгнулся назад свою кисть, чтобы Хелен услышала скрежет солевых отложений. Она не сдержала улыбки. — Честное слово, мне не до смеха, — обиделся он. — Моя мать — хронический инвалид, и я всегда жду, что у меня вот-вот найдут болезнь сердца. Ревматизм в конце концов всегда добирается до сердца.

— Бога ради, Хёрст! — запротестовал Хьюит. — Можно подумать, ты восьмидесятилетний калека. Если уж на то пошло, у меня самого тетя умерла от рака, но я к этому отношусь спокойно. — Он встал и начал раскачивать стул на задних ножках. — Никто не склонен погулять? За домом начинается великолепный маршрут. Можно выйти на скалу и посмотреть вниз, на море. Под водой видны красные камни. На днях у меня захватило дух от удивительного зрелища — штук двадцать медуз, полупрозрачных, розовых, с длинными щупальцами, качались на волнах.

— Это точно были не русалки? — спросил Хёрст. — Жарковато, чтобы взбираться на гору. — Он посмотрел на Хелен, которая сидела неподвижно.

— Да, слишком жарко, — решила Хелен.

Помолчали.

— Я хочу пойти, — сказала Рэчел.

«Могла бы как-то дать мне понять», — подумала Хелен, когда Хьюит и Рэчел ушли вместе и она осталась в обществе Сент-Джона, к его явному удовольствию.

Хотя он и был доволен, его обычная нерешительность в выборе темы разговора на некоторое время лишила его дара речи. Он сидел, пристально разглядывая головку горелой спички, в то время как Хелен размышляла — судя по выражению ее глаз — о чем-то весьма далеком.

Наконец Хёрст воскликнул:

— Проклятье! Будь проклято все! Будь прокляты все! — И добавил: — Вот в Кембридже есть с кем поговорить.

— В Кембридже есть с кем поговорить, — ритмичным и безучастным эхом отзывалась Хелен. Затем она очнулась. — Кстати, вы решили, что выберете — Кембридж или адвокатуру?

Он поджал губы и ответил, но не сразу, поскольку Хелен была еще слегка невнимательна. Она размышляла о Рэчел и о том, в кого из двоих молодых людей племянница, скорее всего, влюбится, а теперь, рядом с Хёрстом, она подумала: «Он безобразен. Жаль, что они все так безобразны».

Этот упрек не относился к Хьюиту: Хелен думала о знакомых ей умных, честных,

интересных молодых людях, типичным примером которых был Хёрст, и задавалась вопросом, неужели работа мысли и ученость обязательно должны так уродовать их тела и возносить их сознание на высочайшую башню, с вершины которой человеческий род кажется им чем-то вроде крыс или мышей, копошащихся внизу.

«А будущее? — подумала она, представляя, как мужская часть человечества все больше уподобляется Хёрсту, а женская — Рэчел. — О нет, — заключила она, взглянув на него. — За тебя никто не пойдет. Что ж, значит, будущее человечества — в руках Сьюзен и Артура. Нет, это ужасно. В руках тех, кто трудится на земле, причем вовсе не англичан, а русских и китайцев». Этот ход мыслей не принес ей удовлетворения и был прерван Сент-Джоном, который начал беседу заново:

— Жаль, вы не знаете Беннетта. Он чудеснейший человек в мире.

— Беннетт? — спросила она.

Сент-Джон почувствовал себя более непринужденно, оставил свою сосредоточенно-отрывистую манеру разговора и объяснил, что Беннетт живет на старой ветряной мельнице в шести милях от Кембриджа. Образ его жизни, по мнению Сент-Джона, идеален, он совершенно одинок, очень прост, заботит его лишь истинная сущность вещей, он всегда готов поговорить, исключительно скромен, хотя обладает глубочайшим умом.

— Вам не кажется, — спросил Сент-Джон, закончив описывать Беннетта, — что по сравнению с этим все выглядят довольно шатко? Вы заметили за чаем, как бедняге Хьюиту пришлось сменить тему беседы? Как они все были готовы наброситься на меня, потому что, по их мнению, я собирался произнести нечто неподобающее? А я вовсе не собирался. Okajis при этом Беннетт, он сказал бы все, что хотел, а не то просто встал бы и ушел. Это все довольно сильно портит характер — если не обладаешь таким характером, как у Беннетта. Можно стать злым. По-вашему, я злой?

Хелен не ответила, и он продолжил:

— Конечно, я злой, отвратительно злой, и мне самому это противно. Но хуже всего во мне, что я завистлив. Я завидую всем. Не выношу людей, которые что-то делают лучше, чем я, — вплоть до нелепости, — например, официантов, умеющих носить горы тарелок, даже Артура, потому что Сьюзен влюблена в него. Я хочу, чтобы люди мне симпатизировали, но тщетно. В том числе из-за моей внешности, полагаю. Хотя говорить, что во мне есть еврейская кровь, — совершенная ложь; между прочим, мы, Хёрсты из Хёрстберн-Холла, живем в Норфолке по меньшей мере уже три столетия. Наверное, ужасно приятно быть такой, как вы, — вы всем сразу нравитесь.

— Уверяю вас, это не так, — засмеялась Хелен.

— Так, — убежденно сказал Хёрст. — Во-первых, вы самая красивая женщина из всех, кого я видел. Во-вторых, вы исключительно приятный человек.

Если бы Хёрст взглянул на нее вместо того, чтобы пристально смотреть в свою чашку, он увидел бы, что Хелен покраснела — отчасти от удовольствия, отчасти от прилива нежности к молодому человеку, который только что казался ей — и еще покажется — таким безобразным и ограниченным. Она жалела его, поскольку подозревала, что он страдает, и он был интересен ей, потому что многое из сказанного им казалось ей верным; она приветствовала нравственные принципы молодого поколения, и все-таки она чувствовала себя стесненно. Хелен безотчетно захотела скрыться за чем-то ярким и безличным, что можно держать в руках, и поэтому она сходила в дом и вернулась со своей вышивкой. Но вышивка Хёрста не интересовала, он даже не взглянул на нее.

— Насчет мисс Винрэс... — начал он. — Послушайте, давайте будем друг для друга Сент-Джоном и Хелен, Рэчел и Теренсом? Что она за человек? Мыслит ли она, чувствует ли, или она

что-то вроде табуретки?

— О нет, — сказала Хелен с большим убеждением. В результате своих наблюдений во время чаепития она засомневалась, что Хёрст — тот человек, который должен заниматься образованием Рэчел. Хелен питала все больший интерес к племяннице и все больше симпатизировала ей; какие-то качества Рэчел ей совсем не нравились, другие радовали, в целом же она ощущала в ней живую, пусть еще не сформировавшуюся личность, открытую всему новому, не всегда удачливую в своих экспериментах, но обладающую некой внутренней силой и способностью чувствовать. А еще в глубине души она была привязана к Рэчел нерушимыми и необъяснимыми узами женской общности. — Она кажется рассеянной, но у нее есть воля, — сказала Хелен, как будто во время паузы она провела смотр достоинствам Рэчел.

Вышивание, над которым приходилось думать, поскольку рисунок был сложным, а цвета следовало тщательно подбирать, прерывало беседу, когда Хелен погружалась в свою коллекцию шелковых клубочков или, слегка откинув голову назад и прищурив глаза, оценивала свое творение в целом. Поэтому на слова Хёрста: «Я приглашу ее погулять», — она лишь ответила: «М-м».

Вероятно, эта раздвоенность внимания его обижала. Он сидел молча, неотрывно смотря на Хелен.

— Вы совершенно счастливы, — наконец заявил он.

— Да? — спросила Хелен, втыкая иглу.

— Брак, я полагаю.

— Да, — сказала Хелен, осторожно вытягивая иглу.

— Дети?

— Да, — сказала Хелен, опять втыкая иглу. — Не знаю, почему я счастлива, — вдруг засмеялась она, посмотрев ему прямо в глаза. Последовала значительная пауза.

— Между нами пропасть, — сказал Сент-Джон. Его голос звучал так, будто исходил из глубокой пещеры в скалах. — Вы бесконечно проще меня. С женщинами всегда так, конечно. В том-то и трудность. Никогда не понятно, как женщина делает умозаключения. Наверное, вы все время думаете: «Ах, какой мерзкий молодой человек!»

Хелен смотрела на него, держа в руке иглу. Его голова была видна ей на фоне темной пирамиды магнолии. Поставив одну ногу на перекладину стула и отведя локоть, она сидела в позе швеи и олицетворяла всей своей фигурой величие древней женщины, выющей нить судьбы, величие, к которому приобщаются и многие современные женщины, когда берутся за мытье или шитье. Сент-Джон посмотрел на нее.

— Вы, я полагаю, за всю свою жизнь никого ни разу не похвалили, — сказал он ни с того ни с сего.

— Ридли я сильно балую, — заметила Хелен.

— Я спрошу у вас прямо: я вам симпатичен?

После некоторой паузы она ответила:

— Да, безусловно.

— Слава Богу! — воскликнул он. — Это подарок судьбы. Знаете, — продолжил он с чувством, — мне хочется нравиться вам более, чем кому-либо.

— А как же пятеро философов? — спросила Хелен со смешком, мягко, но уверенно делая стежки. — Вы бы описали их.

Хёрст не испытывал особенного желания это делать, но, начав о них думать, он почувствовал облегчение и прилив сил. Далеко, на другой стороне земли, они сидели в прокуренных комнатах, выходящих в серые средневековые дворы, и казались замечательными, прямодушными, легкими в общении людьми, неизмеримо более утонченными в смысле чувств,

чем здешняя компания. Они давали ему то, чего не могла дать ни одна женщина, даже Хелен. От воспоминаний у него потеплело на душе, и он стал дальше излагать миссис Эмброуз свою ситуацию. Остаться ли ему в Кембридже или пойти в адвокатуру? В один день он склонялся к одному, в другой — к другому. Хелен внимательно слушала. Наконец, безо всяких предисловий, она объявила свое решение:

— Оставьте Кембридж и идите в адвокатуру.

Он потребовал привести основания.

— Я думаю, Лондон вам понравится больше, — сказала она. Это не было похоже на веское основание, но ей, судя по всему, оно казалось достаточным. Она взглянула на него и на цветущую магнолию за ним. Что-то странное было в этой картине. Возможно, из-за того, что тяжелые восковидные цветы были слишком спокойны и молчаливы, а сам Хёрст — он сбросил шляпу, волосы его растрепались, очки он держал в руке, и по сторонам переносицы виднелись красные вмятинки от них — выглядел слишком тревожным и словоохотливым. Куст был прекрасен, он раскинулся очень широко, и во время всего разговора Хелен посматривала на причудливые очертания его тени, формы листьев и на большие белые цветы среди зелени. Она делал это полуосознанно, и тем не менее куст каким-то образом принимал участие в беседе. Хелен отложила рукоделие и начала прогуливаться туда и обратно по саду, Хёрст тоже встал и зашагал рядом с ней. Он был взволнован, чувствовал себя не в своей тарелке, в его голове теснилось множество мыслей. Оба молчали.

Солнце начало клониться к закату, и горы постигла перемена: у них как будто отняли земную вещественность и теперь они состояли из одной только густой синей дымки. Длинные и тонкие облака цвета фламинго с завитыми краями, похожими на страусовые перья, на разной высоте прочерчивали небо. Казалось, городские крыши опустились ниже, чем обычно, кипарисы между ними выглядели очень черными, а сами крыши стали бело-коричневыми. Как всегда по вечерам, снизу доносились отдельные крики и удары колокола.

Внезапно Сент-Джон остановился.

— Ну, ответственность — на вас, — сказал он. — Я решился: пойду в адвокатуру.

Его слова прозвучали очень серьезно, почти с пафосом; Хелен откликнулась на них не сразу.

— Я уверена, что вы поступаете правильно, — тепло сказала она и пожала протянутую ей руку. — Вы станете великим человеком, я в этом не сомневаюсь.

Затем, как будто приглашая его оценить грандиозный вид, она провела рукой вокруг себя. От моря, через крыши города, по гребням гор, над рекой и равниной, и опять по гребням гор, к вилле, саду, магнолии и фигурам Хёрста и самой Хелен, стоящих рядом; наконец рука опустилась.

Глава 16

Хьюит и Рэчел уже давно добрались до того места на краю скалы, откуда, глядя вниз на море, можно было, если повезет, увидеть медуз и дельфинов. Но они смотрели в другую сторону, на бескрайние просторы суши, и при этом испытывали чувства, которые не может вызвать ни один, даже самый впечатляющий, пейзаж в Англии: там деревни и холмы имеют названия и самый дальний холмистый горизонт то и дело понижается, показывая полосу дымки, которая есть море. Здесь же перед их глазами лежала бескрайняя иссущенная солнцем земля, вздымающаяся пиками, вздыбленная огромными гребнями, земля, которая ширится и простирается дальше и дальше, похожая на грандиозное морское ложе, разграфленная на полосы временами суток, разделенная на разные страны, в которых построены знаменитые города, где темнокожие дикари сменяются белыми цивилизованными людьми и наоборот. Возможно, из-за их английской крови эта панорама показалась им слишком тревожно-безличной и даже враждебной, и поэтому, обратившись поначалу к ней, они затем отвернулись к морю и все остальное время смотрели на него. Здесь море было мелкой искрящейся водой, которая казалась неспособной злиться и подниматься валами, но дальше оно теснило само себя, добавляя серой краски в свой чистый синий тон, бурлило в узких проливах и бросалось пенными брызгами на мощные гранитные скалы. Именно это море подступало к устью Темзы, а Темза омывала корни города Лондона.

Мысли Хьюита текли примерно в таком направлении, вот почему первое, что он сказал, когда они стояли на краю скалы, было:

— Как хочется в Англию!

Рэчел легла, опершись на локоть, и раздвинула высокую траву, которая росла на краю обрыва, чтобы она не загораживала вид. Воды были очень спокойны — они мерно вздымались и опускались у подножия скалы — и так прозрачны, что на дне были хорошо видны красные камни. Так было в начале времен, и с тех пор ничего не изменилось. Возможно, ни один человек не беспокоил эти воды ни лодкой, ни своим телом. Подчиняясь какому-то импульсу, Рэчел решила нарушить этот вечный покой и бросила вниз самый большой камешек, который смогла найти. Он ударился в воду и пустил по ней рябь. Хьюит тоже посмотрел вниз.

— Чудесно, — сказал он, видя, как круги расходятся и исчезают. Чудесными ему казались свежесть и новизна, которые он ощущал. Он бросил следующий камешек. Всплеск почти не был слышен.

— Почему в Англию? — проговорила Рэчел тоном человека, захваченного зреющим. — Что у вас в Англии?

— Друзья в основном, — ответил Хьюит. — Ну, и всякие занятия.

Он мог смотреть на Рэчел без ее ведома. Она по-прежнему была поглощена водой и приятными ощущениями, которые создает созерцание морских волн, омывающих скалы на мелководье. Он заметил, что на ней было темно-синее платье из мягкой и тонкой хлопчатой материи, которое плотно облегало ее тело. Это было тело со всеми выпукостями и впадинами молодого женского тела, еще не до конца развитое, но без единого изъяна и потому интересное и даже привлекательное. Хьюит поднял глаза. Рэчел сняла шляпку, ее подбородок покоился на ладони. На лице было по-детски сосредоточенное выражение, как будто она ждала, что над красными камнями вот-вот проплынет рыба. И все-таки двадцатичетырехлетний возраст сказывался в определеннойдержанности. Ее рука, лежавшая на земле с чуть подогнутыми пальцами, имела красивую форму и выглядела уверенной; нервные пальцы с квадратными кончиками были пальцами музыканта. С чем-то вроде душевной боли Хьюит осознал, что ее

тело, и вообще довольно привлекательное, для него привлекательно особенно сильно. Вдруг она посмотрела на него. Ее глаза были полны искренним интересом.

— Вы пишете романы? — спросила она.

Мгновение он не мог понять, что она сказала. Его переполняло желание обнять ее.

— А, да, — сказал он. — Точнее, хочу их писать.

Она не отрывала от него своих больших серых глаз.

— Романы, — повторила она. — Зачем писать романы? Писать надо музыку. Понимаете, музыка... — Она отвела взгляд. Как только заработал ее мозг, выражение ее лица изменилось и она стала менее притягательной. — Музыка идет прямо к сути. Она говорит сразу все, что нужно сказать. А писательство мне кажется таким... — Она замолчала, подыскивая выражение, и поскребла пальцами землю. — Оно похоже на чирканье о спичечный коробок. Большую часть времени, что я сегодня читала Гиббона, мне было жутко, адски, дьявольски скучно! — Она засмеялась, глядя на Хьюита, который засмеялся в ответ.

— Я не буду давать вам книги, — заметил он.

— Почему, — продолжила Рэчел, — я могу смеяться над мистером Хёрстом с вами, но не при нем! За чаем я была совершенно подавлена — не его безобразностью, а его умом. — Она нарисовала руками круг в воздухе. Речел с радостью осознала, как легко ей говорить с Хьюитом; шипы или зазубренные углы, которые царапают поверхность отношений между людьми, сточились.

— Я заметил, — сказал Хьюит. — Что не перестает удивлять меня, — он настолько успокоился, что смог закурить сигарету, и, чувствуя, как Рэчел легко с ним, сам пришел в легкое и счастливое расположение духа, — так это уважение, которое женщины, даже образованные, очень способные женщины, питают к мужчинам. Наверное, мы имеем над вами власть вроде той, что, как говорят, мы имеем над лошадьми. Мы кажемся им в три раза больше, чем мы есть, — иначе они никогда не подчинились бы нам. Поэтому я склонен сомневаться, что вы чего-нибудь достигнете, даже получив избирательное право. — Он задумчиво посмотрел на нее. Она казалась спокойной и чуткой и очень юной. — Понадобится не меньше шести поколений, пока вы станете достаточно толстокожими, чтобы ходить в суды и деловые конторы. Представьте, насколько груб обычный мужчина. Рядовой, много работающий, честолюбивый стряпчий или делец, которому приходится кормить семью и блести свое положение. Ну и, конечно, дочери обязаны уступать дорогу сыновьям; те должны получать образование, страшать окружающих и пихаться локтями, чтобы кормить жен и детей, и так далее все сначала. А женщины остаются на заднем плане... Вы серьезно считаете, что избирательное право принесет вам благо?

— Избирательное право? — переспросила Рэчел. Она представила себе маленькую бумажку, которую надо бросать в ящик, и только тогда поняла, о чем Хьюит спрашивает; они посмотрели друг на друга и улыбнулись нелепости вопроса. — Мне — нет, — сказала она. — Но я играю на фортепьяно... Мужчины правда такие? — Она вернулась к тому, что ее интересовало. — Вас я не боюсь. — Она просто посмотрела на него.

— О, я не типичен, — ответил Хьюит. — У меня пять-шесть сотен годового дохода. И потом, слава Богу, никто не принимает романистов всерьез. Конечно, если все относятся к человеку очень-очень серьезно, это служит компенсацией за скуку его профессии: он получает назначения и степени, занимает посты, имеет титулы и множество букв после фамилии, носит ленточки... Я им в этом не завидую, хотя иногда меня поражает — что за удивительное варево! Мужская концепция жизни — это просто чудо природы: судьи, чиновники, армия, флот, парламент, лорд-мэры, — мы состряпали из этого целый мир! Теперь возьмем Хёрста. Уверяю вас, после нашего приезда дня не прошло без обсуждения того, оставаться ему в Кембридже или

пойти в адвокатуру. Ведь это его карьера, его священная карьера. Если я слышал об этом двадцать раз, то его мать и сестры — раз пятьсот, я уверен. Вы легко можете себе представить эти семейные советы и как сестру отсылают кормить кроликов, потому что комната для занятий нужна Сент-Джону: «Сент-Джон работает», «Сент-Джон просил принести ему чай». Разве вам это не знакомо? Ничего удивительного, что Сент-Джон считает это делом особой важности. Так и есть. Он должен зарабатывать на жизнь. А сестра Сент-Джона... — Хьюит помолчал, пыхнув сигаретой. — Ее, бедняжку, никто не принимает всерьез. Она кормит кроликов.

— Да, — сказала Рэчел. — Я кормила кроликов двадцать четыре года, теперь это кажется нелепым. — Она глубоко задумалась. И Хьюит, который говорил все, что приходило ему в голову, вдруг понял, что сейчас она не против поговорить о самой себе; этого хотелось и ему, поскольку так они могли лучше узнать друг друга.

Она стала вспоминать свое прошлое.

— Как вы проводили день? — спросил Хьюит.

Рэчел ответила не сразу. Вспоминая свой день, она увидела его разделенным трапезами на четыре части. Это деление было очень жестким, и все содержание дня следовало распределять между четырьмя жесткими барьерами. Такой представляла ее жизнь, когда она вспоминала прошлое.

— Завтрак — в девять, обед — в час, чай — в пять, ужин в восемь, — сказала Рэчел.

— Ну, а что вы делали утром?

— Часами играла на фортепьяно.

— А после обеда?

— Ходила за покупками с одной из тетушек. Или к кому-нибудь с визитом, или за почтой, или мы делали что-нибудь необходимое по дому, например если краны текли. Они часто посещают бедных — престарелых служанок с больными ногами, женщин, которым нужны больничные талоны. Иногда я одна гуляла в парке. А после чая к нам порою кто-нибудь заходил; летом мы сидели в саду или играли в крокет; зимой я читала вслух, пока они занимались рукодельем; после ужина играла на рояле, а они писали письма. Если папа был дома, его знакомые ужинали у нас, а примерно раз в месяц мы ходили в театр. Время от времени мы ужинали в ресторане; иногда я ездила на балы в Лондон, только возвращаться было трудно. Мы виделись со старыми друзьями семьи и родственниками, но с другими людьми общались мало. Обычно это были священник, мистер Пеппер и семья Хантов. Дома папа любит покой, потому что он много работает в Халле. К тому же тетушки мои не отличаются здоровьем. Если заниматься домом как следует, он забирает много времени. Слуги у нас всегда были плохие, поэтому тетя Люси много хлопотала на кухне, а тетя Клара каждый день почти все утро вытирала пыль в гостиной и перебирала белье и серебро. Потом, у нас были собаки. С ними надо было гулять, а еще мыть и расчесывать. Теперь Сэнди умер, но у тети Клары есть очень старый какаду, привезенный из Индии. В нашем доме все, — воскликнула Рэчел, — откуда-нибудь привезено! Он полон старой мебели — не очень старой, викторианской — из маминой семьи или из папиной, которую им, наверное, жалко было выбросить, хотя места для нее не хватает. Дом очень милый, разве что немножко тусклый или, скорее, тосклиwyй.

Перед ее глазами встала гостиная в родном доме. Это была большая и длинная комната с квадратным окном в сад. Вдоль стен — зеленые плюшевые стулья; тяжелый резной книжный шкаф со стеклянными дверцами; но главное впечатление создают выцветшие покрывала на диванах, широкие бледно-зеленые поверхности и корзины с выпадающим из них вязанием. На стенах висят репродукции старых итальянских мастеров, виды венецианских мостов и шведских водопадов, которыми много лет назад любовался кто-то из членов семьи. А еще — один-два портрета чьих-то отцов и бабушек и гравюра, изображающая Джона Стюарта Милла, с портрета

кисти Уоттса [49]. Комната лишена определенного характера, ее нельзя назвать ни типичной и откровенно пошлой, ни особенно изысканной, ни по-настоящему удобной.

— Но это вам не слишком интересно, — сказала Рэчел, подняв глаза.

— Боже правый! — воскликнул Хьюит. — Мне в жизни еще не было так интересно.

Рэчел поняла, что все время, пока она думала о Ричмонде, Хьюит не отрывал глаз от ее лица. Это взволновало ее.

— Продолжайте, прошу вас, — настаивал он. — Допустим, сегодня среда. Вы обедаете. Вы сидите тут, тетя Люси там, а тетя Клара — здесь. — Он расставил три камешка на траве между собой и Рэчел.

— Тетя Клара режет баранину, — проговорила Рэчел. Она неподвижно уставилась на камешки. — Передо мной — уродливая желтая стойка для посуды — мы называем ее «немой официант», — на ней три блюда: для печенья, для масла и для сыра. Горшок с папоротником. Горничная Бланш, которая шмыгает носом. Мы разговариваем... Ах да, сегодня тетя Люси собирается в Уолворт [50] поэтому мы обедаем быстро. Она уходит. У нее лиловая сумка и черная записная книжка. Тетя Клара по средам собирает в гостиной «Общество помощи девушкам», как они его называют, так что я вывозжу собак. Поднимаюсь на Ричмонд-Хилл, иду вдоль террасы и в парк. Сегодня восемнадцатое апреля — как и здесь. В Англии весна. Земля довольно влажная. Однако я пересекаю дорогу и выхожу на траву, теперь мы идем вдоль обочины. И я пою, как всегда, когда одна. Мы выходим на открытое место, откуда в ясный день виден внизу весь Лондон. Там — шпиль Хэмпстедской церкви, тут — Вестминстерский собор, а где-то здесь — заводские трубы. Над низинными районами обычно стоит дымка, но здесь, над парком, даже когда в Лондоне туман, часто бывает голубое небо. С площадки видны аэростаты, летящие в Херлингем [51]. Они бледно-желтые. Ну вот, а еще пахнет очень приятно, особенно если в домикесмотрителя жгут дрова. Я могу рассказать вам, как куда пройти, и какие деревья вы увидите по пути, и где надо будет переходить дороги. Ведь я там играла в детстве. Весной хорошо, но лучше всего осенью, когда ревут олени. Потом спускаются сумерки, и я возвращаюсь домой, и людей на улицах уже как следует не разглядишь: они проходят мимо очень быстро — только увидишь лицо, и человек уже ушел — это мне нравится — и никто не знает, где ты и что ты...

— Но вы должны вернуться к чаю, наверное? — справился Хьюит.

— К чаю? А, да. В пять часов. Тогда я рассказываю, чем занималась, а тети рассказывают, что делали они, и бывает, кто-то заходит — миссис Хант, например. Это пожилая дама, она хромает. У нее восемь детей или было когда-то восемь. Мы расспрашиваем о них. Они разъехались по всему миру. Мы спрашиваем, где они; иногда кто-то из них болеет, или они оказываются под карантином в холерном районе или там, где дождь выпадает лишь раз в пять месяцев. У миссис Хант, — Рэчел улыбнулась, — был сын, которого задавил насмерть медведь.

Тут она замолчала и посмотрела на Хьюита, чтобы понять, занимает ли его то же, что и ее. Убедившись в этом, она все-таки посчитала необходимым опять извиниться за то, что она так много говорит.

— Вы представить не можете, как мне интересно, — сказал он. И действительно, его сигарета истлела, и ему пришлось зажечь другую.

— Почему это вам интересно? — спросила Рэчел.

— В том числе и потому, что вы женщина, — ответил Хьюит. Когда он это сказал, Рэчел, уже было обо всем забывшая и вернувшаяся в детское состояние интереса и радости, вновь потеряла ощущение свободы и застеснялась. Она вдруг почувствовала себя редким экспонатом, объектом наблюдения — как она чувствовала себя рядом с Сент-Джоном Хёрстом. Она уже

хотела пуститься в спор, который неизбежно настроил бы их друг против друга, и определить чувства, не имевшие того значения, которое сообщали им слова, как Хьюит направил ее мысли в ином направлении.

— Я часто бродил по улицам, где рядами стоят одинаковые дома, в которых живут люди, и гадал, чем могут быть заняты женщины в этих домах, — сказал он. — Только подумайте: сейчас начало двадцатого века, но до самого недавнего времени ни одна женщина не могла заявить о себе во всеуслышание. Вся их жизнь текла на задворках — тысячи лет, — странная, безмолвная, нерассказанная жизнь. Конечно, мы всегда писали о женщинах — оскорбляли их, насмехались над ними или поклонялись им, но это никогда не исходило от них самих. Я считаю, что мы до сих пор не имеем ни малейшего понятия, как они живут, что чувствуют, чем именно заняты. Мужчина может рассчитывать лишь на откровенность девушек в разговоре об их любовных делах. Но жизнь сорокалетних женщин, незамужних женщин, работающих женщин, женщин, содержащих лавки и воспитывающих детей, женщин вроде ваших тетушек, или миссис Торнбери, или мисс Аллан — тайна за семью печатями. Они о себе не рассказывают. Либо просто боятся, либо таков их подход к мужчинам. Представлен и выражен всегда лишь мужской взгляд на жизнь, понимаете? Возьмем любой поезд: пятнадцать вагонов для мужчин, желающих курить. Разве у вас от этого не закипает кровь? Будь я женщиной, я бы кому-нибудь вышиб мозги. Неужели вы над нами не смеетесь? Неужели все это не кажется вам грандиозным надувательством? Вы, лично вы, как это воспринимаете?

Его решимость докопаться до истины сковывала Рэчел, хотя и придавала значимость их беседе; он как будто давил на нее все больше и больше, нагнетая некую важность. Рэчел попросила время на обдумывание ответа и стала еще и еще раз перебирать в памяти свои двадцать четыре года, высвечивая внутренним взором то одно, то другое — своих тетушек, отца, мать, — и, наконец остановившись на отношениях тетушек и отца, попыталась описать их так, как они ей виделись сейчас, на расстоянии.

Они очень боялись ее отца. В доме он олицетворял собой смутную силу, связывавшую их с большим миром, который был ежеутренне представлен газетой «Таймс». Но реальная жизнь дома состояла в чем-то совсем ином. Она текла независимо от мистера Винрэса и старалась спрятаться от него. Он относился к тетушкам доброжелательно, но высокомерно. Рэчел всегда принимала как само собой разумеющееся, что он всегда прав, и исходила из системы ценностей, согласно которой жизнь одного человека безусловно важнее, чем жизнь другого; по этой системе тетушки были гораздо менее важны, чем отец. Но верила ли она в это на самом деле? Слова Хьюита заставили ее задуматься. Она всегда покорялась отцу, как и тетушки, но именно они, а не он на самом деле оказывали влияние на ее жизнь. Они, тетушки, соткали тонкую и плотную ткань их домашнего мира. Они не были столь величественны, как отец, но были гораздо естественнее. Все ее негодование было направлено на них; она тщательно изучила и так хотела разрушить до основания именно их мир с этими четырьмя трапезами, пунктуальностью, со слугами на лестнице ровно в пол-одиннадцатого. Находясь во власти этих мыслей, она сказала:

— А в этом есть какая-то красота: вот сейчас, в это мгновение, они в Ричмонде все так же творят свою жизнь. Возможно, они кругом не правы, но в этом есть красота, — повторила Рэчел. — Неосознанная, скромная... И все-таки они умеют чувствовать. Им небезразлично, когда люди умирают. Старые девы всегда чем-то заняты. Чем — я точно не знаю. Но я это чувствовала, когда жила с ними. Это было что-то очень настоящее.

Она вспомнила их походы — в Уолворт, к служанкам с больными ногами, на собрания по тому или иному поводу, их мелкие акты милосердия и самоотверженности, которые естественно вытекали из точного знания, что они должны делать; их приятельниц, их вкусы и

привычки. Ей представилось, будто все это песчинки, которые падают, падают сквозь бесчисленные дни, творя воздух, плоть и фон жизни. Пока она думала, Хьюит наблюдал за ней.

— Вы были счастливы? — спросил он.

Она опять задумалась, Хьюит вернул ее к необычайно острому осознанию себя самой.

— И да и нет, — ответила она. — Я была счастлива, и мне было скверно. Вы представить себе не можете, что такое быть девушкой. — Она посмотрела ему в глаза. — Сплошные страхи и муки, — сказала она, не отрывая от него взгляда, словно стараясь разглядеть малейший намек на насмешку.

— Я вам верю. — Он ответил ей совершенно искренним взглядом.

— Эти женщины на улицах... — сказала она.

— Проститутки?

Она кивнула.

— То, о чем приходится гадать...

— Вам никогда не объясняли?

Она покачала головой.

— И потом... — Она начала и умолкла. Они приблизились к огромной части ее жизни, в которую никто никогда не проникал. Все, что она рассказывала об отце и тетушках, о прогулках в Ричмондском парке, об их ежедневных занятиях, было лишь на поверхности. Хьюит смотрел на нее. Он хочет, чтобы она описала и это тоже? Почему он сидит так близко и не сводит с нее глаз? Почему бы им не покончить с этими мучительными изысканиями? Почему бы просто не поцеловаться? Она хотела поцеловать его. Но вместо этого продолжала говорить слова:

— Девушка более одинока, чем юноша. Никого не интересует, что она делает. От нее ничего не ждут. Люди не слушают, что она говорит, — разве если она очень красива... А люблю я вот что, — добавила она с воодушевлением, как будто вспомнила что-то очень приятное. — Я люблю гулять по Ричмондскому парку и петь сама себе, зная, что до этого никому нет совершенно никакого дела. Мне нравится наблюдать — как мы наблюдали за вами, когда вы нас не видели, — мне нравится, что при этом я чувствую свободу, это все равно как быть ветром или морем. — Она отвернулась, вытянув вперед руки, и посмотрела на море. Оно было еще ярко-синим и простиралось вдаль, на сколько хватал глаз, но свет, отражавшийся от него, стал желтее, а облака окрасились в розоватый оттенок.

Когда Рэчел говорила, Хьюита охватило уныние. Очевидно, что никаких особенных чувств к кому бы то ни было она питать не склонна, она явно безразлична к нему; только что они, казалось, так сблизились, а потом опять разошлись далеко-далеко. Но движение, с которым она отвернулась от него, было необычайно красивым.

— Чепуха, — вдруг сказал он. — Вы любите людей. Вы любите, когда вами восхищаются. А Хёрст раздражает вас тем, что не восхищается вами.

Некоторое время она не отвечала. А потом сказала:

— Наверное, это так. Конечно, люди мне нравятся — мне нравятся почти все, кого я встречаю.

Она отвернулась от моря и окинула Хьюита дружелюбным, хотя и несколько оценивающим взглядом. Он обладал приятной внешностью в том смысле, что, судя по ней, никогда не испытывал недостатка в мясе и свежем воздухе. Голова у него была крупная, глаза — тоже большие, смотрели они обычно вяло, но могли и метать искры. Рот был чувственным. Про Хьюита можно было сказать, что это человек довольно страстный и порывистый, склонный поддаваться перепадам настроения, не слишком зависящим от окружающей реальности; одновременно терпимый и разборчивый. Высокий лоб свидетельствовал о незаурядных умственных способностях. Интерес, с которым Рэчел смотрела на него, был слышен и в ее

голосе.

— Что за романы вы пишете? — спросила она.

— Я хочу написать роман о Молчании, — сказал он. — О том, чего люди не говорят. Но это очень трудно. — Он вздохнул. — Однако вас это не трогает, — продолжил он, посмотрев на Рэчел почти свирепо. — Это никого не трогает. Вы читаете роман лишь для того, чтобы посмотреть, что за человек писатель и — если вы его знаете лично — кого из своих знакомых он вывел. Что касается самого романа, общей идеи, того, как автор видит свою тему, чувствует ее, соотносит ее с другими темами, — это волнует одного человека на миллион, даже меньше. И все же мне иногда кажется, что в мире нет более достойного занятия. Все эти люди, — он указал на гостиницу, — постоянно хотят того, что для них недоступно. А писательство, даже попытка писать дает невероятное удовлетворение. Вы правильно сказали: человеку не стоит стремиться к вершинам, достаточно способности их видеть.

Удовлетворение, о котором он говорил, отразилось на его лице, когда он смотрел на море.

Теперь настала очередь Рэчел впасть в уныние. Говоря о писательстве, он вдруг как будто отдалился. Пожалуй, он никогда и ни к кому не сможет питать какие-либо чувства. Все это желание узнать ее, сблизиться с ней, напор которого она ощущала почти болезненно, растаяло без следа.

— Вы хороший писатель? — спросила она.

— Да, — сказал он. — Не первоклассный, конечно. Хороший средний уровень, примерно наравне с Теккереем, я думаю.

Рэчел была удивлена. Во-первых, ей было странно слышать, что Теккерей средний писатель; затем, она не могла вдруг приобрести такую широту взглядов, чтобы поверить, будто великие писатели могут жить сейчас, или, даже если они есть, что великим писателем может оказаться ее знакомый. Его самоуверенность поразила и еще больше отдала ее.

— Другой мой роман, — продолжил Хьюит, — о молодом человеке, одержимом одной идеей — быть джентльменом. Он умудряется существовать в Кембридже на сто фунтов в год. У него есть пиджак — когда-то это был очень хороший пиджак. Но брюки уже не так хороши. Ну вот, он едет в Лондон, проникает в хорошее общество — благодаря одной утренней встрече на берегах Серпантина [\[52\]](#). Ему приходится лгать — понимаете, моя идея в том, чтобы показать постепенное разложение души — он выдает себя за сына крупного землевладельца из Девоншира. Тем временем пиджак все ветшает и ветшает, а брюки он уже едва осмеливается надевать. Вы можете представить, как этот нищий после какого-нибудь роскошного и разгульного вечера созерцает свой наряд — развешивает его на спинке кровати, раскладывает то на свету, то в тени и гадает, кто кого переживет — он эту одежду или она его. Его посещают мысли о самоубийстве. У него есть друг, добывающий себе пропитание продажей мелких птиц, которых ловит силками на полях у Аксбриджа [\[53\]](#). Оба — ученые. Я знаю несколько таких жалких голодных созданий, которые цитируют Аристотеля над жареной селедкой и пинтой портера. Светскую жизнь я тоже должен показать, чтобы представить моего героя в самых разных обстоятельствах. Леди Тео Бингэм Бингли, чью гнедую кобылу ему посчастливилось осадить, — дочь очень знатного пэра из партии тори. Я опишу приемы, на которые я сам когда-то ходил, светских интеллектуалов — знаете, из тех, что любят держать на столе новейшие издания. Они устраивают приемы, речные пикники, вечеринки с играми. Эпизоды придумать нетрудно, трудно их воплотить, не увлекаясь чрезмерно, как случилось с леди Тео. Для нее, бедняжки, все кончилось плачевно, а для книги я планировал финал, погруженный в глубокую и омерзительную респектабельность. Отец от леди Тео отказался, она вышла замуж за моего героя, и они живут на уютной маленькой вилле под Крайдоном — в этом городке он устроился агентом по недвижимости. Ему так и не удается стать настоящим джентльменом. В этом самое

интересное. Ну, хотели бы вы прочитать такую книгу? — спросил Хьюит. — А может, вам больше понравилась бы моя трагедия из эпохи Стюартов, — продолжил он, не дожидаясь ответа. — Моя идея в том, что в прошлом есть определенная красота, которую рядовой исторический романист губит своими нелепыми штампами. Луна становится «Регентом небес», всадники вонзают шпоры в конские бока и так далее. Я же хочу обращаться с персонажами, как будто они точно такие же люди, как мы. Преимущество в том, что, оторвавшись от нынешних условий, можно сделать их выразительнее и обобщеннее, чем если бы это были наши современники.

Рэчел выслушала все это со вниманием, но и с некоторой озадаченностью. Оба сидели и думали каждый о своем.

— Я не такой, как Хёрст, — задумчиво сказал Хьюит после паузы. — Я невижу меловых кругов, которые разделяют людей. Иногда мне хотелось бы их видеть. Все это кажется чудовищно сложным и запутанным. Принять решение невозможно, составить суждение становится все труднее и труднее. Вы не находите? Потом становится вообще непонятно, что ты сам чувствуешь. Мы все блуждаем во тьме. Мы пытаемся найти выход, но можно ли представить себе нечто более смехотворное, чем личное мнение того или иного человека? Человек думает, что он что-то знает, но на самом деле он не знает ничего.

Говоря это, он оперся на локоть и стал перекладывать на траве камешки, изображавшие Рэчел и тетушек за обедом. Он говорил столько же сам с собой, сколько и с Рэчел. Он боролся с желанием, которое вернулось с еще большей силой: обнять ее, покончить с экивоками, прямо излить свои чувства. Он не верил в то, что говорил; все важное о ней он уже знал; чувствовал это в окружающем ее воздухе. Однако, так ничего не сказав, Хьюит продолжал перекладывать камешки.

— Вы мне нравитесь, а я вам? — вдруг проговорила Рэчел.

— Вы мне нравитесь чрезвычайно, — ответил Хьюит, чувствуя облегчение как человек, которому неожиданно дали возможность сказать то, что он хочет. Он перестал двигать камешки. — Давайте называть друг друга Теренс и Рэчел? — предложил он.

— Теренс, — повторила Рэчел. — Теренс — похоже на крик совы.

Она посмотрела на Теренса с внезапным восторгом расширившимися от радости глазами и тут же была поражена, как изменилось небо за ними. Сочная синева сменилась бледной, более воздушной голубизной, облака стали ярко-розовыми, далекими, они теснили друг друга; дневная южная жара, при которой они начали свою прогулку, уступила место вечернему покою.

— Наверное, уже поздно! — воскликнула Рэчел.

Было почти восемь часов.

— Но здесь восемь часов ничего не значат, верно? — спросил Теренс, когда они встали и пустились в обратный путь. Они шли довольно быстро, спускаясь с холма по узкой тропинке между оливами.

Они чувствовали себя ближе друг к другу, поскольку теперь оба знали, что такое восемь часов вечера в Ричмонде. Теренс шел впереди — чтобы идти рядом, не хватало места.

— Я думаю, что хочу писать романы во многом ради того же, ради чего вы играете на рояле, — начал он, повернув голову и говоря через плечо. — Мы хотим добраться до сути вещей, не так ли? Посмотрите на огни внизу, — продолжал он. — Они рассыпаны беспорядочно. То, что я придумываю, приходит ко мне, как огни... Я хочу сочетать их... Вы видели фигурные фейерверки?.. Я хочу создавать фигуры... Ведь вы хотите того же?

Они вышли на дорогу и могли идти рядом.

— Когда я играю на рояле? Нет, музыка — это другое... Но я вас понимаю. — Они стали изобретать теории, чтобы привести в согласие свои взгляды. Поскольку Хьюит не разбирался в

музыке, Рэчел взяла его трость и стала чертить фигуры в легкой белой пыли, чтобы объяснить, как Бах создавал свои фуги.

— Мой музыкальный дар был погублен, — стал объяснять Хьюит, когда они пошли дальше после очередной наглядной демонстрации, — деревенским органистом у нас дома, который изобрел свою систему нотного письма и пытался преподать ее мне, в результате я так и не сыграл ни одной мелодии. Моя мать считала, что для мальчика музыка недостаточно мужественное занятие; она хотела, чтобы я убивал птиц и крыс — это худшее в сельской жизни. Мы живем в Девоншире. Самое прелестное место на свете. Только — когда взрослеешь, дома становится трудно. Я хотел бы познакомить вас с одной из моих сестер... А вот и ваша калитка. — Он толкнул ее. Они помолчали. Рэчел не могла пригласить его войти. Она не могла сказать, что надеется на следующую встречу, — сказать было нечего, поэтому она без слов прошла в калитку и вскоре скрылась. Как только Хьюит потерял ее из виду, он почувствовал, что к нему вернулась прежняя досада, только с еще большей силой. Их беседа была прервана посередине, как раз когда он начал говорить то, что хотел сказать. В конце концов, что они смогли сказать друг другу? Он припомнил все, о чем они говорили: случайные, необязательные темы, которые только вились вокруг да около и забирали время, так сблизили их, а потом так разделили и остали его неудовлетворенным, в прежнем неведении о том, что она чувствует и какая она. Что толку говорить, говорить и только говорить?

Глава 17

Был уже разгар сезона, и каждое судно, приходившее из Англии, оставляло на берегах Санта-Марины несколько человек, которые отправлялись в гостиницу. То, что у Эмброузов был дом, где можно было в любой момент скрыться от слегка бездушной атмосферы гостиницы, доставляло истинную радость не только Хёрсту и Хьюиту, но и Эллиотам, чете М., Торнбери, Флашингам, мисс Аллан, Эвелин, а также другим людям, чьи личности были столь неярко выражены, что Эмброузы так и не узнали, есть у них имена или нет. Постепенно между двумя домами — большим и малым — наладилась постоянная связь, так что в течение почти всего дня, находясь в одном, можно было узнать, что делается в другом, а слова «вилла» и «гостиница» стали означать два непохожих стиля жизни. Знакомства проявляли признаки перерастания в дружбу, поскольку первая ниточка от гостиной миссис Перри неизбежно разветвилась на множество других, протянувшихся к различным частям Англии; порой эти союзы казались цинично нестойкими, порой — болезненно проникновенными — все из-за того, что им не хватало организующей опоры на размеренную жизнь в Англии. Однажды вечером, когда полная луна светила сквозь ветви деревьев, Эвелин М. поведала Хелен историю своей жизни и попросила ее вечной дружбы; в другой раз, из-за одного лишь вздоха, или паузы в разговоре, или бездумно оброненного слова, бедная миссис Эллиот покинула виллу чуть ли не в слезах, поклявшись никогда больше не видеться с этой холодной и надменной женщиной, которая оскорбила ее; и действительно, они больше никогда не встречались. Такая эфемерная дружба не казалась достойной того, чтобы ее восстанавливать.

Хьюит между тем в это время мог найти превосходный материал для некоторых глав романа, который должен был называться «Молчание, или То, о чем не говорят». Хелен и Рэчел стали очень молчаливы. Миссис Эмброуз почудила, как ей казалось, какую-то тайну, и она свято уважала ее, но из-за этого, хотя и без их умысла, отношения между тетей и племянницей стали неловко-сдержаными. Вместо того чтобы делиться своими взглядами на всё и вся, смело пускаться вслед за темой беседы, куда бы она ни завела, они разговаривали главным образом о людях, которых видели, причем тайна, стоявшая между ними, ощущалась даже в том, что они говорили о Торнбери и Эллиотах. Всегда спокойная и бесстрастная в своих суждениях, миссис Эмброуз теперь определенно склонялась к пессимизму. Она была не то чтобы беспощадна к конкретным людям, но проявляла неверие в благосклонность судьбы, мрачно смотрела на долговременные перспективы и утверждала, что рок в целом враждебен людям настолько, насколько они этого заслуживают. И даже эту теорию она была готова сменить на другую — о главенстве хаоса, о том, что все происходит без причины, а люди слепо блуждают в иллюзиях и неведении. С некоторым удовольствием она излагала эти взгляды племяннице, иллюстрируя их письмом из дома: оно принесло добрые вести, но с таким же успехом могло принести и дурные. С чего ей быть уверенной, что сейчас ее дети не лежат мертвые, сбитые моторным омнибусом? «С другими это случается, так почему не может случиться со мной?» — спрашивала она с выражением stoical готовности к беде. Как бы ни были искренни эти воззрения, они, безусловно, были вызваны противоречивым состоянием души племянницы. Оно отличалось такой переменчивостью, так быстро переходило от радости к отчаянию, что казалось необходимым противопоставить ему какое-то устойчивое мнение, которое само собой получилось столь же мрачным, сколь устойчивым. Возможно, миссис Эмброуз полагала, что, заводя беседу в эти области, она разузнает, что на уме у Рэчел, но судить было трудно, потому что иногда та соглашалась с самыми удручающими заявлениями, а иногда отказывалась слушать, заставляя Хелен замолчать то смехом, то болтовней, а то и едкими насмешками и даже

яростными взрывами гнева, вызванного, как она говорила, «карканьем ворона в грязи».

— И без этого тяжело, — объясняла она.

— Что тяжело? — спрашивала Хелен.

— Жить, — отвечала Рэчел, после чего обе погружались в молчание.

Хелен могла делать собственные выводы о том, почему жизнь была тяжела, а также почему час спустя она становилась так прекрасна, что глаза Рэчел, взиравшей на эту жизнь, заражали радостью всех, кто оказывался рядом. Верная своим убеждениям, Хелен не пыталась вмешаться, хотя не было недостатка в приступах уныния, которые менее щепетильный человек использовал бы, чтобы все выяснить; возможно, Рэчел и жалела, что Хелен к этому не прибегает. Эти перепады настроения в целом создавали картину, которую Хелен сравнивала с течением реки, когда она, ускоряясь все сильнее и сильнее, приближается к водопаду. Сердце подсказывало Хелен крикнуть: «Остановись!» — но даже если в этом был бы смысл, она все равно воздержалась бы, считая, что все должно развиваться естественным образом и вода должна нестись вперед, раз уж земля приняла такую форму.

Казалось, сама Рэчел не подозревает о том, что за ней наблюдают или что в ее поведении есть нечто привлекающее внимание. Она не понимала, что с ней произошло. Ее сознание весьма походило на бегущую воду, с которой его сравнивала Хелен. Она хотела видеть Теренса, она желала этого постоянно, когда его не было рядом; не видеть его было мучением; из-за него ее дни были полны страданий, но она никогда не спрашивала себя, откуда взялась эта сила, завладевшая ее жизнью. Она думала о том, что из этого выйдет, не больше, чем дерево, постоянно пригибаемое к земле ветром, думает о том, каким будет конечный результат действия ветра.

За две или три недели, прошедшие после прогулки, в ее ящике скопилось с полдюжины записок от него. Она читала их и целые утра проводила в блаженном оцепенении; залитая солнцем земля за окном была не меньше способна анализировать свой цвет и жар, чем Рэчел — себя. В таком настроении она не могла ни читать, ни играть на рояле, она не испытывала ни малейшего желания даже двигаться. Время проходило незаметно. Когда темнело, ее влекли к окну огни гостиницы. Огонек, который то вспыхивал, то гас, был окном Теренса: он сидит там, возможно, читает; а теперь ходит по комнате, вытаскивая то одну книгу, то другую; а сейчас он опять сидит в своем кресле... И она старалась представить, о чем он думает. Немигающие огни отмечали комнаты, где Теренс сидел, а другие люди двигались вокруг него. Это были вовсе не заурядные люди. Рэчел приписывала мудрость миссис Эллиот, красоту — Сьюзен Уоррингтон, особую жизненную энергию — Эвелин М., — потому что Теренс разговаривал с ними. Приступы уныния были такими же интенсивными и столь же мало связанны с размышлениями. Тогда ее сознание походило на равнину под черными тучами, которую нещадно секут ветер и град. И опять она сидела в своем кресле, беспомощно отдавшись боли, и слова Хелен — странные или мрачные — вонзались в нее, как стрелы, и заставляли плакать над невыносимостью жизни. Лучше всего было, когда напряжение чувств безо всякой причины ослабевало и жизнь текла как обычно, только события ее были наполнены красками и радостью, дотоле совершенно незнакомыми; они обладали значением, как то дерево на тропе; ночи, точно черные полосы, отделяли один день от другого, тогда как ей хотелось бы соединить все дни в одно долгое, непрерывное ощущение. Хотя эти перепады настроения были прямо или косвенно вызваны присутствием Теренса или мыслями о нем, она никогда не говорила себе, что влюблена в него, и не думала, что будет, если она и дальше будет так чувствовать, поэтому придуманное Хелен сравнение с рекой, несущейся к водопаду, весьма соответствовало фактам, и тревога, которую Хелен иногда испытывала, была вполне оправданной.

Обуреваемая безотчетными чувствами, Рэчел была не способна как-либо управлять

состоянием своей души. Она предоставила себя на милость случайных событий: в один день она тосковала по Теренсу, в другой виделась с ним, и его письма всегда были для нее неожиданностью. Любая женщина, имеющая какой-то опыт в ухаживаниях, уже пришла бы к определенному мнению, по крайней мере, выстроила бы некую теорию об отношении к ней, но в Рэчел еще никто не влюблялся, и она ни в кого не влюблялась. Мало того, ни в одной из прочитанных ею книг — от «Грозового перевала» до «Человека и сверхчеловека» [54] и пьес Ибсена — героини, любовь которых там разбиралась, не переживали того, что сейчас переживала Рэчел. Ей казалось, что ее чувствам нет названия.

Она часто встречалась с Теренсом. Когда они не виделись, он имел обыкновение послать ей записку с книгой или записку о книге, поскольку все-таки не мог отказаться от этой формы общения. Но иногда он не приходил и не писал несколько дней подряд. И встречи их могли воодушевлять и радовать, а могли ввергать в досадное отчаяние. Каждый раз, когда они расставались, в воздухе витал дух прерванности, от чего они расходились неудовлетворенными, хотя и не зная, что другой испытывает то же чувство.

Рэчел и о своих-то чувствах была в неведении, но еще меньше она понимала, что чувствует Теренс. Вначале он представлял как бог; когда она узнала его получше, он все еще оставался светочем, но к этому великолепию присоединилось удивительное умение сообщать ей бесстрашие и уверенность в себе. Она замечала в себе чувства и способности, о которых раньше и не подозревала, и видела в мире глубины, до сих пор ей неизвестные. Думая об их отношениях, она не столько рассуждала, сколько представляла себе их зрительно; рисуя чувства Теренса, она видела его переходящим комнату, чтобы стать рядом с ней. Этот проход через комнату был связан с физическими ощущениями, но что они значили, она не понимала.

Так текло время, и поверхность его была подобна спокойной, но ярко блистающей водной глади. Приходили письма из Англии и от Уиллоуби, день за днем копились мелкие события, постепенно составляя собою год. На поверхности происходило следующее: три оды Пиндара были отредактированы, Хелен покрыла вышивкой примерно пять дюймов канвы, а Сент-Джон закончил первые два акта пьесы. Теперь он и Рэчел были добрыми друзьями, он читал ей вслух свои творения, она искренне восхищалась его стихами и разнообразием его эпитетов, равно как и тем, что он друг Теренса, и он даже начал задумываться: а может, его призвание — не юриспруденция, а литература? Это было время глубоких размышлений и внезапных признаний еще для нескольких пар и одиноких людей.

Настало воскресенье, чего на вилле не собирался замечать никто, кроме Рэчел и местной горничной. Рэчел по-прежнему ходила в церковь, потому что, как считала Хелен, она никогда не давала себе труда задуматься на темы религии. Поскольку службу отправляли в гостинице, она пошла туда, предвкушая, как приятно будет пройти через сад и холл, хотя она вряд ли могла надеяться на встречу с Теренсом и, уж во всяком случае, на разговор с ним.

Большинство постояльцев были англичанами, поэтому воскресенье в гостинице отличалось от среды почти так же, как в Англии, и напоминало безмолвный и темный, погруженный в раскаяние призрак рабочего дня. Англичане не могли приглушить солнечный свет, зато им каким-то чудесным образом удавалось замедлить время, притупить остроту событий, продлить трапезы и даже слугам с посыльными сообщить вид нудной благопристойности. Все надевали свои лучшие наряды, что усиливало общий эффект; казалось, ни одна женщина не может сесть, не поскрипев чистой крахмальной юбкой, и ни один мужчина не может вздохнуть без того, чтобы его жесткая манишка не издала внезапный треск.

В это воскресенье, когда стрелки часов приблизились к одиннадцати, разные люди стали собираться в холле, сжимая в руках книжечки с красными страницами. За несколько минут до того, как часы пробили, зал пересек полный человек в черном с озабоченным выражением лица,

как будто говорившим, что ему сейчас не до ответов на приветствия, хотя он и замечает их; человек исчез в коридоре, отходившем от холла.

— Мистер Бэкс, — прошептала миссис Торнбери.

После этого небольшая группа отправилась вслед за полной фигурой в черном. Провожаемые странными взглядами тех, кто не выказывал пополнений пойти вместе с ними, они удалялись в сторону лестницы медленно и чинно — за единственным исключением. Этим исключением была миссис Флашинг. Она сбежала по лестнице, быстрым шагом пересекла холл и присоединилась к процессии, запыхавшись.

— Куда, куда? — взволнованным шепотом спросила она у миссис Торнбери.

— Мы все идем, — мягко проговорила та, и вскоре они начали парами спускаться по лестнице. Рэчел шествовала одной из первых. Она не видела, что сзади подошли Теренс и Хёрст, без черных томиков в руках, лишь Сент-Джон нес под мышкой тонкую книгу в голубом переплете.

Молельней служила старая монастырская часовня. Это было глубокое прохладное помещение, где монахи сотни лет служили мессу, приносили покаяние в холодном лунном свете и поклонялись старинным бурым иконам и статуям святых, которые стояли в нишах, воздев руки в благословении. Переход от католичества к протестантизму был отмечен периодом, когда часовня употреблялась не по назначению: там не молились, а хранили кувшины с маслом, ликеры и шезлонги. Когда гостиница достигла процветания, зал прибрала к рукам религиозная община, и теперь он был оборудован желтыми лакированными лавками и бордовыми скамеечками для ног; еще там имелись небольшая кафедра и медный орел, на спине которого лежала Библия, а также несколько квадратных ковриков убогого вида и длинные полосы вышивок, усеянные золотыми монограммами, — дары благочестивых прихожанок.

Входящую паству встретили сладкозвучные аккорды фисгармонии — их проникновенно извлекала дрожащими пальцами мисс Уиллет, скрытая от взглядов суконной занавеской. Звуки распространялись по часовне, как круги от упавшего в воду камня. Двадцать — двадцать пять прихожан сначала склонили головы, а затем сели и огляделись. Было очень тихо, свет внизу казался сумрачнее, чем наверху. Приветствуя друг друга, люди обошлись без обычных улыбок и поклонов. Священник прочитал им «Отче наш». После этого приглушенно зазвучали голоса — точно как в школьном классе, — и прихожане, многие из которых до этого встречались только на лестнице, почувствовали задушевное единение и взаимное расположение. Молитва была словно факел, поднесенный к хворосту, от которого тут же поднялся дым, наполнивший часовню призраками бесчисленных церковных служб в бесчисленные воскресные утра дома, в Англии. Сьюзен Уоррингтон особенно сильно ощущала блаженный дух братства, когда, закрыв лицо руками, видела в щелочки между пальцами склоненные спины. Воодушевление поднималось в ней спокойно и ровно, наполняя ее удовлетворенностью и собой, и жизнью. Атмосфера была очень покойная и благостная. Но, едва создав ее, мистер Бэкс вдруг перевернул страницу и прочитал псалом. Хотя он нисколько не изменил интонацию, настроение собравшихся резко изменилось.

— «Помилуй меня, Боже! — читал он. — Ибо человек хочет поглотить меня; нападая всякий день, теснит меня... Всякий день извращают слова мои; все помышления их обо мне — на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами... Боже! Сокруши зубы их в устах их; разбей, Господи, челюсти львов! Да исчезнут они, как вода протекающая; когда направят стрелы, пусть они будут как переломленные» [\[55\]](#).

В жизни Сьюзен ничто не соответствовало этим строкам, и к языку она никакой любви не испытывала, поэтому давно перестала обращать внимание на подобные слова, но тем не менее слушала их с тем же бездумным почтением, которое у нее вызывали читаемые вслух монологи

Лира. Ее разум был все так же безмятежен и воздавал хвалы ей самой и Богу, то есть торжественному и приятному порядку вещей во Вселенной.

Однако, судя по лицам большинства молящихся, особенно мужчин, их побеспокоило внезапное вторжение древнего дикаря. Они приобрели более мирской и критический вид, слушая несвязные речи смуглого старика в набедренной повязке, который, яростно жестикулируя, возносил проклятия у костра посреди пустыни. Вслед за этим опять зашелестели страницы — как на уроке, — и они прочли немного из Ветхого Завета о выкапывании колодца, очень походя при этом на школьников, которые, закрыв учебники французской грамматики, переводят несложный фрагмент из «Анабасиса» [\[56\]](#). Затем они вернулись к Новому Завету, к печальному и прекрасному образу Христа. Пока вещал Христос, они опять попытались приладить его понимание жизни к тому, как жили сами, но, поскольку люди они были весьма непохожие друг на друга — кто практичен, а кто честолюбив, кто глуп, а кто неистов и жаждет нового, кто влюблен, а кто давно оставил позади все желания, кроме стремления к комфорту, — со словами Христа они обращались очень по-разному.

По их лицам казалось, что большинство не предпринимает вообще никаких умственных усилий: они сидели, удобно откинувшись на спинки, и воспринимали звучавшие слова как воплощение благости, совершенно так же, как какая-нибудь усердная рукодельница видит красоту в пошлом узоре на своей салфетке.

А Рэчел, по той или иной причине, впервые в жизни слушала священника критически — вместо того чтобы погрузиться в обволакивающее облако приятных ощущений, слишком знакомых, чтобы их обдумывать. Пока мистер Бэкс зачитывал свой текст, непривычно переходя от молитвы к псалмам и далее к хроникам, а затем к поэзии, Рэчел ощущала себя очень неуютно. То же самое она переживала, когда ей приходилось слушать несовершенную музыкальную пьесу в плохом исполнении. Рэчел всегда страдала и злилась на неуклюжую бесчувственность дирижера, который неверно расставлял акценты, досадовала на толпу в концертном зале, покорно и безмолвно одобрявшую то, в чем ничего не понимает и до чего ей нет никакого дела; так и теперь она страдала и злилась на полузакрытые глаза и поджатые губы, и атмосфера натужной торжественности только усиливала ее раздражение. Люди вокруг нее притворялись, будто чувствуют то, чего они не чувствовали; где-то наверху парила идея, которую никто из них не мог уловить, а лишь делал вид, что улавливает, — прекрасная идея, похожая на бабочку, неизменно ускользающую от ловца. Рэчел представляла себе одну за другой большие, жесткие и холодные церкви мира, в которых бесконечно предпринимались ложные усилия и повторялись заблуждения, — огромные здания, заполненные бесчисленными мужчинами и женщинами, неспособными ясно видеть и в конце концов оставлявшими попытки что-либо разглядеть, покорно, с полузакрытыми глазами и поджатыми губами, погружавшимися в безмолвное соглашательство. Эта мысль досаждала ей так же, как мутная пелена, всегда рано или поздно возникающая между глазами и печатной страницей. Рэчел изо всех сил постаралась избавиться от пелены и найти в службе что-либо достойное поклонения, но не смогла, потому что ей мешали голос мистера Бэksа, речи которого должно представляли идею, и бессмысленное овчье бормотание прихожан, подобное шороху падающих мокрых листьев. Эти попытки были утомительны и чреваты унынием. Рэчел перестала слушать и уставилась на сидевшую рядом женщину, сестру милосердия из больницы. Лицо той выражало благочестивое внимание, доказывавшее, что она, во всяком случае, получает удовлетворение. Однако, присмотревшись, Рэчел пришла к выводу, что сестра лишь объята безмолвным соглашательством и что удовлетворенный вид — вовсе не результат блаженного осознания Бога в себе. И действительно, как могла она осознать что-либо далеко выходящее за рамки ее личного опыта — женщина с таким невыразительным лицом, с красной круглой физиономией, на которой банальные занятия

и дрязги прочертили морщины, эта женщина, чьи водянисто-голубые глаза смотрели вяло, без всякого намека на индивидуальность, чьи черты были смазаны, бесчувственны и грубы. Ее восхищало нечто мелкое, благопристойно-чопорное, она цепко держалась за это, о чем свидетельствовал упрямый рот — рот усердного моллюска-прилипала; ничто не оторвет ее от ханжеской веры в собственную добродетельность и добродетельность ее религии. Она и была моллюском, чья чувствительная сторона прилипла к скале, и поэтому все свежее и прекрасное для нее навеки умерло. Лицо этой прихожанки отпечаталось в сознании Рэчел и вызвало у нее настоящий ужас; вдруг она поняла, что имели в виду Хелен и Сент-Джон, заявляя о своей ненависти к христианству. С неистовостью, которая теперь сопровождала все ее чувства, Рэчел отвергла все, во что до тех пор безоговорочно верила.

Тем временем мистер Бэкс дошел до середины второго отрывка. Рэчел посмотрела на него. Он был общительным человеком с мягкими губами и приятными манерами, о нем вполне можно было сказать, что он очень добр и прост, хотя и не умен, но Рэчел была не в том настроении, чтобы уважать кого-либо за такие качества, поэтому она рассматривала его, как будто он — воплощение всех недостатков своего богослужения.

В задней части часовни сидели рядом миссис Флашинг, Хёрст и Хьюит — в совершенно другом расположении духа. Хьюит, вытянув перед собой ноги, разглядывал крышу; поскольку он никогда не пытался подогнать богослужение под какие-то свои чувства или мысли, он мог без помех наслаждаться красотой языка. Сначала его внимание занимали случайные предметы — прически женщин, сидевших перед ним, свет на лицах, затем слова, которые казались ему восхитительными, а потом — более туманно — личности прихожан. Но когда он вдруг заметил Рэчел, из его головы вылетели все мысли, кроме одной — о ней. Псалмы, молитвы, литания, проповедь сошлись в один мелодичный гул, который прекращался, потом возобновлялся, иногда повышаясь в тоне, иногда понижаясь. Хьюит попеременно смотрел на Рэчел и на потолок, но на лице его отражалось не то, что он видел, а то, о чем он думал. И собственные мысли почти так же болезненно терзали его, как Рэчел — ее мысли.

В начале службы миссис Флашинг обнаружила, что взяла Библию вместо молитвенника, и, поскольку она сидела рядом с Хёрстом, она стала подглядывать ему через плечо. Он невозмутимо читал тонкую книжку в голубом переплете. Не различив буквы, миссис Флашинг наклонилась поближе, и Хёрст предупредительно положил книгу перед ней, указав на первую строку греческого стиха, а потом на перевод на противоположной странице.

— Что это? — шепотом полюбопытствовала миссис Флашинг.

— Сапфо, — ответил он. — И перевод Суинберна — лучшее из всего, что было написано.

Миссис Флашинг не могла упустить такую возможность. Она проглотила «Оду к Афродите» во время литании, с трудом удерживаясь от вопроса, когда жила Сапфо и что еще у нее стоит почитать. Она умудрилась закончить чтение одновременно со словами «...в отпущение грехов, воскресение из мертвых и в жизнь вечную. Аминь».

Тем временем Хёрст достал конверт и начал что-то писать на нем. Когда мистер Бэкс взошел на кафедру, Хёрст закрыл Сапфо, заложив томик конвертом, поправил очки и со вниманием взирался на священника. На кафедре тот выглядел очень крупным и толстым; в свете, падавшем сквозь неокрашенное, но зеленоватое окно, его лицо казалось гладким и белым, как гигантское яйцо.

Он оглядел лица, смиренно обращенные к нему, хотя среди молящихся были люди, годившиеся ему в бабушки и дедушки, и с особой значительностью приступил к проповеди. Ее идея состояла в том, что гости этой прекрасной страны, хотя они приехали только на отдых, облечены долгом перед местным населением. Проповедь, по правде говоря, не слишком отличалась от передовицы на общие темы в еженедельной газете. Гладкая и многословная, она

перетекала от одного подзаголовка к другому, проводя мысль, что все люди под кожей весьма походят друг на друга, — это иллюстрировалось сходством игр, в которые играли местные мальчики и девочки на улицах Лондона, а также утверждением, что мелочи сильно влияют на людей, особенно на аборигенов. Например, близкий друг мистера Бэкс говорил ему, что успех нашего правления в Индии, в этой обширной стране, во многом зависел от строгого кодекса вежливости, который англичане установили в общении с аборигенами; из этого был сделан вывод, что мелочи не всегда малы, и далее почему-то последовали рассуждения о добродетели сострадания, особенная необходимость в которой ощущается именно сейчас, в эпоху экспериментов и перемен — взять хотя бы аэроплан и беспроволочный телеграф, — и трудности сейчас встречаются такие, какие были не знакомы нашим отцам, но которые всякий, кто называет себя человеком, не может оставить без разрешения. Здесь мистер Бэкс добавил религиозности и с невинной хитростью свел дело к тому, что все это налагает особые обязанности на ревностных христиан. Сейчас люди склонны говорить: «А, этот человек? Он священник». Мы же хотим, чтобы они говорили: «Он хороший человек», — другими словами: «Он брат наш». Мистер Бэкс призвал своих слушателей общаться с людьми современного типа, разделять их многочисленные интересы, чтобы постоянно напоминать им: сколько открытий ни будет сделано, одно открытие навсегда останется непревзойденным, и оно так же необходимо самым преуспевающим и блестательным из них, как оно было необходимо их отцам. В этом деле могут помочь и самые скромные из нас; самые незначительные мелочи способны оказать влияние (тут мистер Бэкс окончательно перешел к пастырской манере, обращаясь, по-видимому, прямо к женщинам, поскольку обычно они в основном и составляли его аудиторию и он привык указывать на их обязанности во время своих мирных духовных кампаний). Не вдаваясь в более конкретные рекомендации, он перешел к эффектной концовке, перед которой сделал глубокий вдох и выпрямился:

— Капля воды, одинокая, отделенная от всех остальных капель, выпадая из тучи и вливаясь в огромный океан, изменяет, как нам говорят ученые, не только то место в океане, в котором она оказывается, но, поскольку мириады и мириады капель составляют великую вселенную воды, она изменяет форму всего земного шара и жизнь миллионов морских тварей и, в конце концов, жизнь людей, которые обитают на берегах, — единственная капля влияет на все это; и каждый ливень доставляет миллионы капель, которые должны исчезнуть на земле, — исчезнуть, говорим мы, но мы прекрасно знаем, что плоды земли не могут произрасти без них; чудо, подобное этому, способен совершить каждый из нас — вливая свое малое слово или малое дело, мы изменяем огромную Вселенную; да, и это великая истина, именно изменяем — к доброму или ко злу, — и не на одно мгновение и не в ограниченном месте, но во всем человечестве и на веки вечные, — взмахнув рукой, будто чтобы избежать аплодисментов, он продолжил, не делая вдоха, но сменив интонацию: — Во имя Отца...

Мистер Бэкс благословил прихожан, после чего из-за занавеса опять полились торжественные аккорды фисгармонии и люди начали с неловкостью и смущением протискиваться к выходу. На середине лестницы, в том месте, где свет и звуки верхнего мира сталкивались с сумраком и затихающими гимнами нижнего, Рэчел почувствовала, что на ее плечо легла чья-то рука.

— Мисс Винрэс, — повелительно прошептала миссис Флашинг, — оставайтесь на обед. Сегодня такой унылый день. Даже мяса не подают. Прошу вас, останьтесь.

Они вышли в холл, где небольшая компания опять была встречена любопытными и уважительными взглядами тех постояльцев, которые не ходили в церковь, но своими нарядами демонстрировали, что признают воскресенье полностью — разве что только в церковь не ходят. Рэчел чувствовала себя больше не в силах выносить эту атмосферу и уже собиралась сказать,

что ей надо возвращаться, когда мимо прошел Теренс, занятый разговором с Эвелин М. Поэтому Рэчел ограничилась лишь фразой о том, что все выглядят так торжественно... Это осуждающее замечание миссис Флашинг истолковала как согласие остаться.

— Англичане за границей! — откликнулась она с оживленным злорадством. — Они ужасны, правда? Но мы отсюда удалимся. — Она потянула Рэчел за руку. — Идемте в мой номер.

Она протащила ее мимо Хьюита, Эвелин, четы Торнбери и Эллиотов. Хьюит сделал шаг навстречу.

— Обед... — начал он.

— Мисс Винрэс обещала пообедать со мной, — сказала миссис Флашинг и энергично бросилась вверх по лестнице, как будто ее преследовал весь средний класс Англии. Она не останавливалась, пока не захлопнула за ними дверь своей спальни.

— Ну, и что вы об этом думаете? — спросила она, слегка запыхавшись.

Все отвращение и ужас, накопившиеся у Рэчел, прорвались наружу.

— Я никогда не видела более гнусного спектакля! — выпалила она. — Как они могут... Как им не стыдно... Что они изображают — мистер Бэкс, сестры милосердия, старики, проститутки, — какая мерзость...

Рэчел торопливо называла все, что могла вспомнить, но она была охвачена слишком сильным негодованием, чтобы анализировать свои чувства. Миссис Флашинг с явным удовольствием наблюдала за тем, как она, стоя посреди комнаты, возмущается и порывисто жестикулирует.

— Продолжайте, продолжайте, прошу вас! — Миссис Флашинг засмеялась и захлопала в ладоши. — Слушать вас — такое наслаждение!

— Но зачем вы ходите? — удивленно спросила Рэчел.

— Я это делаю каждое воскресенье, всю жизнь, сколько себя помню, — хихикнула миссис Флашинг, как будто это само по себе было основанием.

Рэчел резко отвернулась к окну. Она не понимала, что привело ее в такое неистовство; после того как она увидела Теренса в холле, мысли ее запутались и осталось лишь негодование. Она смотрела прямо на свою виллу, стоявшую на середине склона. Давно знакомый вид в обрамлении окна и за стеклом выглядел непривычно, и Рэчел постепенно успокоилась. Затем, вспомнив, что рядом с ней человек, не слишком хорошо ей знакомый, она повернулась и посмотрела на миссис Флашинг. Та все так же сидела на краю кровати, глядела на нее, приоткрыв рот, так что были видны два ряда крепких белых зубов.

— Скажите, — обратилась к ней миссис Флашинг, — кто вам больше нравится, мистер Хьюит или мистер Хёрст?

— Мистер Хьюит, — ответила Рэчел, но ее голос прозвучал неестественно.

— А который из них читает в церкви по-гречески? — спросила миссис Флашинг.

Это мог быть и тот и другой, и, пока миссис Флашинг описывала обоих и признавалась, что оба пугают ее, но один сильнее, чем другой, Рэчел искала, куда бы сесть. Номер, конечно, был одним из самых просторных и роскошных в гостинице. В нем стояло множество кресел и диванчиков, обитых небеленым полотном, но все места были заняты кусками картона, каждый из которых покрывали пятна, линии и мазки яркой масляной краски.

— Вам не полагается на них смотреть, — сказала миссис Флашинг, заметив удивление в глазах Рэчел. Она вскочила и сбросила, сколько смогла, картонок на пол, изображениями вниз. Однако Рэчел успела завладеть одной из них, и миссис Флашинг, с тщеславием художника, взволнованно спросила:

— Ну как?

— Это холм, — ответила Рэчел. Не было сомнений, что миссис Флашинг изобразила энергичное и резкое выпячивание земли; казалось, она запечатлела даже летящие вихрем комья почвы.

Рэчел стала переходить от одного картона к другому. Все они были отмечены порывистостью и решимостью их создателя; они представляли собой результаты неумелых схваток кисти с полуосознанными идеями, которые были навеяны холмами и деревьями; и все так или иначе выражали характер миссис Флашинг.

— Я все вижу в движении, — объяснила миссис Флашинг. — Поэтому... — Она широко взмахнула рукой в воздухе, затем взяла один из картонов, отложенных Рэчел в сторону, уселась на скамеечку и начала черкать огрызком угля. Пока она наносила свои штрихи, которые, по-видимому, служили ей тем же, чем другим служит речь, Рэчел, чувствовавшая сильное беспокойство, стала оглядываться вокруг. — Откройте гардероб, — после паузы сказала миссис Флашинг — неразборчиво, потому что держала во рту кисть. — Посмотрите вещи.

Рэчел заколебалась, и миссис Флашинг подошла сама, все так же с кистью во рту, распахнула створки шкафа и вывалила на кровать ворох шалей, кусков материи, накидок и вышивок. Рэчел начала перебирать их. Миссис Флашинг опять подошла и высыпала прямо на ткани гору бисера, брошей, серег, браслетов, кисточек и гребешков. Затем она вернулась на свою скамеечку и принялась молча писать маслом. Среди тканей были и темные, и светлые; они лежали на покрывале причудливой мешаниной линий и цветов, которую усеивали красноватые капли камней, глазки павлиньих перьев и бледные черепаховые гребни.

— Женщины носили эти вещи сотни лет назад, и до сих пор носят, — заметила миссис Флашинг. — Мой муж ездит по округе и собирает их. Тут никто не понимает их цену, поэтому мы покупаем их задешево. А в Лондоне продадим их элегантным дамам, — сказала она со смешком, будто ее позабавила мысль об этих дамах и их нелепых нарядах. Пописав несколько минут, она вдруг отложила кисти и уставилась на Рэчел. — Я скажу вам, чего мне хочется, — проговорила она. — Я хочу поехать туда и все увидеть сама. Глупо сидеть здесь с кучкой старых дев, как будто мы на английском побережье. Хочу отправиться вверх по реке и увидеть аборигенов в их поселениях. Всего каких-то десять дней в походных условиях. Мужу не впервые. Ночью лежишь под деревьями, днем тебя везут по реке, а если что увидим на берегу — будем кричать, чтобы они остановились. — Она поднялась и стала втыкать в кровать длинную золотую булавку, глядя на Рэчел, чтобы понять, как она восприняла это предложение. — Надо составить группу, — продолжила миссис Флашинг. — Десять человек могут нанять баркас. Поедете вы, миссис Эмброуз... А мистер Хёрст и второй господин поедут? Где карандаш?

Развивая свою идею, она все больше преисполнялась решимостью и восторгом. Она села на край кровати и составила список фамилий, причем каждую написала с ошибками. Рэчел была воодушевлена: план показался ей восхитительным. Она давно мечтала увидеть реку, а имя Теренса в списке озарило проект таким светом, что он стал казаться слишком прекрасным, чтобы воплотиться. Она старалась помочь миссис Флашинг, называя фамилии, объясняя, как они пишутся, и считая по пальцам дни недели. Миссис Флашинг хотела знать все о происхождении и занятиях каждого и сама рассказывала диковинные истории о характерах и привычках художников, о людях с такими же фамилиями, когда-то бывавших в Чиллингли, хотя, конечно, фамилии были другими, но это были тоже очень умные мужчины, интересовавшиеся египтологией, — словом, они просидели за этим делом довольно долго. Наконец миссис Флашинг принялась искать свой дневник, поскольку метод подсчета дней по пальцам не оправдал себя. Она выдвинула и задвинула обратно все ящики своего письменного стола, а затем крикнула:

— Ярмут! Ярмут! Ну что за женщина! Пропадает всегда, когда она нужна!

В этот момент завопил обеденный гонг, как будто у него начался дневной истерический припадок. Миссис Флашинг яростно позвонила в колокольчик. Дверь открыла миловидная горничная, почти такая же прямая, как ее хозяйка.

— Так, Ярмут, — сказала миссис Флашинг, — найдите мой дневник и посмотрите, что у нас будет через десять дней, потом спросите портье в холле, сколько надо гребцов, чтобы отвезти восемь человек вверх по реке, и сколько это стоит, запишите все это на листке бумаги и оставьте его на моем туалетном столике. А теперь... — Она указала на дверь своим изящнейшим пальчиком, так что Рэчел пришлось пойти первой. — Да, и еще, Ярмут, — добавила миссис Флашинг через плечо, — уберите эти вещи и развесыте их по местам, будьте умницей, а то мистер Флашинг рассердится.

На все это Ярмут лишь ответила:

— Да, мэм.

Когда они вошли в длинную столовую, сразу стало ясно, что все еще воскресенье, хотя атмосфера слегка и разрядилась. Стол Флашингов был накрыт сбоку у окна, так, чтобы миссис Флашинг могла разглядывать каждого входящего, а любопытства ей было не занимать.

— Старая миссис Пейли, — прошептала она, когда Артур медленно вкатил инвалидное кресло. — Супруги Торнбери, — последовало дальше. — Эта милая женщина, — она подтолкнула Рэчел локтем, чтобы та посмотрела на мисс Аллан. — Как ее зовут?

Сильно накрашенная женщина, которая всегда опаздывала, вошла в столовую с заготовленной улыбкой — как будто на сцену; она вполне могла бы вздрогнуть под взглядом миссис Флашинг, который выражал стальную неприязнь ко всему племени накрашенных женщин. Затем появились два молодых человека, которых миссис Флашинг собирательно называла «Хёрстами». Они сели напротив, через проход.

В обращении мистера Флашинга с женой смешивались восхищение и снисходительность, а его утивая и плавная речь уравновешивала порывистость супруги. На фоне ее фырканья и вскрикиваний он представил Рэчел краткий очерк южноамериканского искусства. Он отвечал на восклицания жены, а потом спокойно возвращался к своей теме. Мистер Флашинг очень хорошо умел превращать обед в приятное времяпрепровождение, не соскальзывая в излишнюю задушевность. У него, как он сказал Рэчел, составилось мнение, что дебри этого края таят удивительные сокровища; то, что Рэчел видела, — лишь безделушки, собранные во время одной короткой поездки. Он предполагал, что на склонах гор можно найти гигантских богов, высеченных из камня, что колоссальные изваяния стоят в одиночестве посреди обширных зеленых пастбищ, там, где случалось бывать лишь аборигенам. Он считал, что задолго до рождения европейского искусства первобытные охотники и жрецы построили храмы из огромных каменных плит, вырубили из темных скал и мощных кедров величественные фигуры богов и зверей, символы великих стихий воды, огня и леса, среди которых они жили. Могут здесь быть и доисторические города, как в Греции и в Азии, стоящие на равнинах среди зарослей, и там сохранилось множество творений древнего народа. Здесь никто еще не был, почти ничего не известно. Говоря таким образом, излагая самые красочные из своих теорий, он полностью завладел вниманием Рэчел.

Она не видела, что Хьюит смотрит на нее через проход, между фигур официантов, сновавших мимо с блюдами. Он был рассеян, а Хёрст находил, что он к тому же зол и сварлив. Они затронули все обычные темы — политику, литературу, сплетни и христианство. По поводу богослужения они повздорили, поскольку Хьюит считал, что оно было ничем не хуже Сапфо, а язычество Хёрста — это просто показное чванство. Зачем ходить в церковь, спросил он, если ты читаешь там Сапфо? Хёрст возразил, что он слышал каждое слово проповеди и может доказать это — если Хьюит пожелает, он повторит ее. А в церковь он пошел, дабы осознать природу

Творца, что в это утро у него получилось весьма ярко благодаря мистеру Бэксу, который вдохновил его на создание трех строк, принадлежавших к вершинам английской литературы и составлявших обращение к Божеству.

— Я написал их на обороте конверта от последнего письма моей тети, — сказал он и вытащил его из томика Сапфо.

— Что ж, послушаем, — отозвался Хьюит, немного смягчившись от перспективы литературной дискуссии.

— Дорогой Хьюит, ты хочешь, чтобы нас обоих вышвырнула из гостиницы разъяренная толпа Торнбери и Эллиотов? — спросил Хёрст. — Даже шепота хватит, чтобы я был заклеймен навеки. Боже! — воскликнул он. — Что толку в попытках писать, если мир населен такими ужасными глупцами? Серьезно, Хьюит, я советую тебе бросить литературу. Что в ней пользы? Вот твои читатели.

Он кивком показал на столики, за которыми весьма разнообразные европейцы жевали — а некоторые и грызли — жилистую местную птицу. Хьюит посмотрел и пришел в крайнее раздражение. Хёрст тоже посмотрел. Его взгляд попал на Рэчел, и он поклонился ей.

— Сдается мне, что Рэчел влюблена в меня, — заметил он, опять уставившись в тарелку. — Худший вид дружбы — с девушками, они склонны влюбляться.

На это Хьюит ничего не возразил, только как будто застыл. Хёрст, судя по всему, не обиделся на то, что остался без ответа, поскольку он опять перевел разговор на мистера Бэksa и процитировал финал проповеди о капле воды. Хьюит и на это никак не откликнулся, и Хёрст лишь поджал губы, взял инжир и погрузился в свои мысли, в которых он никогда не испытывал недостатка. Закончив обедать, они взяли чашки с кофе и разошлись по разным частям холла.

Со своего кресла под пальмой Хьюит видел, как Рэчел вышла из столовой вместе с Флашингами. Они искали, куда бы сесть, и выбрали три кресла в углу, где можно было приватно побеседовать. Лекция мистера Флашинга была в самом разгаре. Он достал листок бумаги и принялся иллюстрировать свои слова рисунками. Хьюит увидел, как Рэчел наклонилась и стала смотреть, водя по ним пальцем. Он едко сравнил мистера Флашинга, который был слишком хорошо одет для жаркого климата и слишком усердно-изыскан в своих манерах, с назойливым лавочником. Так, сидя и наблюдая, он вдруг оказался в гуще компании, состоявшей из супругов Торнбери и мисс Аллан, которые, покружив минуту-другую с чашками в руках, устроились в креслах вокруг него. Они спросили, не может ли он что-нибудь рассказать им о мистере Бэksе. Мистер Торнбери, как всегда, сидел молча, рассеянно глядя перед собой, лишь изредка поднимая очки, как будто чтобы надеть их, но всегда в последний момент передумывая и опуская их обратно. После недолгого обсуждения дамы согласились, что мистер Бэks, безусловно, не сын мистера Уильяма Бэksа. Воцарилась пауза. Затем миссис Торнбери сообщила, что она все так же по привычке упоминает «королеву» вместо «короля» в государственном гимне [57]. Опять наступила пауза. Миссис Аллан задумчиво сказала, что посещение церкви за границей всегда создает у нее ощущение, будто она на похоронах моряка. Очередная пауза оказалась очень длинной и грозила стать последней, однако, к счастью, на террасе, в том месте, которое было им видно с кресел, появилась птица размером с сороку, но синего цвета с металлическим отливом. Это побудило миссис Торнбери задать вопрос: а если бы все грачи были синими, хорошо бы это было?

— Как ты думаешь, Уильям? — Она дотронулась до колена мужа.

— Если бы все грачи были синими, — он поднял очки и наконец-то водрузил их на нос, — в Уилтшире они долго не прятнули бы, — заключил он, опять снял и положил очки. Троє пожилых людей задумчиво взорвались на птицу, которая была так любезна, что довольно долго оставалась на виду, избавляя их от необходимости разговаривать. Хьюит начал подумывать, не

перейти ли ему в угол Флашингов, но тут к ним с другой стороны подошел Хёрст, уселся в кресло рядом с Рэчел и завел с ней беседу, ведя себя во всех отношениях фамильярно. Хьюит встал, взял шляпу и резко вышел.

Глава 18

Все, что он видел, вызывало у него отвращение. Он ненавидел синеву и белизну, яркость и четкость, гудение и жару юга; пейзаж казался ему жестким и ненатуральным, как картонный задник на сцене, а гора — деревянной ширмой на фоне выкрашенной в синий цвет завесы. Он шел быстро, несмотря на палящее солнце.

Две дороги вели из города на восток; одна ответвлялась в сторону виллы Эмброузов, а вторая углублялась в сельскую местность, в конце концов достигая деревни на равнине, но от нее отходило множество тропинок, протоптанных, когда земля была влажной; они пересекали обширные высохшие поля, ведя к разбросанным фермам и виллам богатых туземцев. Хьюит сошел на одну из таких тропинок, чтобы избежать твердости и зноя большой дороги, а также туч пыли, вздымаемых телегами и ветхими пролетками, которые везли то подгулявших крестьян, то индюшек, выпиравших под сеткой неровными выпукростями, как воздушные шары, то медную кровать и черные деревянные сундуки только что обвенчавшейся пары.

Прогулка действительно развеяла раздражение, накопившееся за утро, но тоска осталась. Хьюиту казалось несомненным, что Рэчел безразлична к нему: она почти не смотрела на него и, беседуя с мистером Флашингом, проявляла такой же интерес, как в разговорах с ним. Наконец, в его памяти всплыли неприятные слова Хёрста; они стегнули его по душе, словно кнутом. А ведь он оставил ее беседующей с Хёрстом. Она и сейчас разговаривает с ним и, возможно, в самом деле влюблена в него. Хьюит перебрал в уме все доказательства этого предположения: ее внезапный интерес к творениям Хёрста; то, как она цитировала его — уважительно или только слегка подсмеиваясь; само прозвище, которое она дала ему — «Великий Человек», — могло означать нечто серьезное. А вдруг они правда поладили?

— Проклятье! — сказал он сам себе. — Я что, влюблен в нее?

На это он мог дать лишь один ответ. Безусловно, он был в нее влюблен, если вообще понимал, что такое любовь. С тех пор как он впервые увидел ее, она интересовала и привлекала его, и чем дальше, тем сильнее, пока он практически не потерял способности думать ни о чем другом, кроме как о Рэчел. Но, уже начиная, по своему обыкновению, погружаться в долгие грэзы о ней и о себе, он остановил себя вопросом: хочет ли он жениться на ней? Вопрос был самым насущным, потому что долго терпеть эти муки и терзания невозможно, необходимо на что-то решиться. Он немедленно постановил, что не хочет жениться ни на ком. Мысль о браке вызывала у него досаду — в том числе и потому, что он досадовал на Рэчел. Он сразу же представил себе картинку: двое сидят наедине перед камином, мужчина читает, женщина шьет. Последовала вторая картинка. Мужчина в компании вскакивает, прощается и спешит оставить друзей с заговорщикским видом человека, который украдкой пробирается к своему маленькому счастью. Обе картинки были очень неприятны, а третья была еще хуже: муж, жена и друг семьи; супруги переглядываются, поскольку кое-что для них само собой разумеется, — они обладают более глубокой истиной и горды этим. Из-за раздражения он шел очень быстро, и сцены вставали перед его мысленным взором сами собой, без малейшего усилия с его стороны, как будто на экране. Вот усталые муж и жена сидят в окружении детей, очень терпеливые, снисходительные и мудрые. Но и эта картинка была неприятна. Он перебрал самые разнообразные сюжеты, беря их из жизни своих друзей, поскольку знал много супружеских пар. Но их он всегда видел заточенными в теплых, залитых светом комнатах. Затем он начал вспоминать тех, кто не состоял в браке, — эти неизменно были деятельны, и существовали в ничем не ограниченном мире, и, кроме того, находились в равном положении с остальными, без какой-либо защиты и преимуществ. Среди его знакомых самыми яркими и добрыми людьми

были холостяки и старые девы. В самом деле, он с удивлением понял, что те женщины, с которыми он дружил и которыми восхищался, были незамужними. Создавалось впечатление, что для них брак более вредоносен, чем для мужчин. От этих общих картин он перешел к людям, которых наблюдал в последнее время в гостинице. Те же самые вопросы возникали у него, когда он видел Сьюзен и Артура, или мистера и миссис Торнбери, или мистера и миссис Эллиот. Он замечал, как застенчивое счастье и удивление новизной, свойственные помолвленной паре, постепенно уступали место умиротворенно-терпеливому состоянию, как будто приключения души остались позади и все свелось к исполнению определенной роли. Сьюзен ходила за Артуром с теплой кофтой, потому что он однажды проговорился, что его брат умер от воспаления легких. Хьюиту было забавно смотреть на это, но, если заменить Артура и Сьюзен на Теренса и Рэчел, становилось неприятно. Артур проявлял гораздо меньшие охоты отвести кого-нибудь в уголок и поговорить о полетах, о механике аэропланов. Люди остепеняются. Затем Хьюит перешел к парам, женатым уже не первый год. Да, у миссис Торнбери был муж, и ей, как правило, успешно удавалось вовлечь его в беседу, но невозможно было представить, что они говорят друг другу наедине. Те же самые вопросы возникали и в отношении Эллиотов, разве что эти, вероятно, наединессорились. Иногда они ссорились и на людях, хотя жена отчаянно старалась скрыть эти перебранки, позволяя себе немножко лицемерить, — она очень боялась общественного мнения, потому что была гораздо глупее мужа и должна была прилагать усилия, чтобы держать его в узде. Нет никаких сомнений, решил Хьюит, что для мира было бы намного большим благом, если бы эти пары расстались. Даже если взять Эмброузов, которыми он восхищался, которых глубоко уважал, — несмотря на всю их любовь друг к другу, разве их брак не был компромиссом? Она уступала ему, баловала его, убирала за ним; в общении с другими она была сама искренность, а с мужем — нет, как и со своими друзьями, если они вступали в конфликт с ее мужем. Станный и прискорбный изъян. Наверное, в ту ночь, в саду, Рэчел была права, когда сказала: «Мы пробуждаем друг в друге самое плохое, мы должны жить отдельно».

Нет, Рэчел была в высшей степени не права! Ему казалось, что по всем соображениям ему не стоит возлагать на себя бремя брака, — но лишь до того, как он вспомнил довод Рэчел, который был ну уж совсем нелеп. Из преследуемого Хьюит превратился в преследователя. Оставив рассуждения о том, почему не следует жениться, он стал думать, какие странности натуры Рэчел привели ее к такому высказыванию. Всерьез ли она говорила? Конечно, следует знать, каков характер человека, с которым ты собираешься провести всю жизнь. Ведь он писатель, вот и надо разобраться, что она за человек. Находясь рядом с ней, он не мог анализировать ее качества, он как будто чувствовал их интуитивно, но вдали от нее ему иногда казалось, что он совсем ее не знает. Она была молода, но и стара одновременно; в ней почти не было уверенности в себе, но она хорошо разбиралась в людях. Она была счастлива — но счастлива чем? Если они станут вместе, а все восторги иссякнут и им придется иметь дело с обыденностью — что тогда будет? Бросив взгляд на собственный характер, он выделил два качества: он был весьма неаккуратен и не любил отвечать на письма. По его наблюдениям, Рэчел была аккуратна, но он не мог вспомнить ее с пером в руке. Он решил представить званый ужин, например у Крумзов: Уилсон, усадив Рэчел за стол и сев рядом, рассуждает о состоянии либеральной партии. Она говорит... — конечно, она совершенно невежественна в политике. Тем не менее она, безусловно, умна, а также искренна. Нрав у нее неопределенный — это он заметил, — и в ней нет домовитости, и непринужденности нет, нет спокойствия, и не скажешь, что она красива — разве что в некоторых нарядах и в определенном свете. Но у нее есть редкий дар: она понимает то, что ей говорят; как собеседница она не знает равных. Можно говорить о чем угодно, обо всем — она никогда не бывает подобострастна. В этот момент он остановился:

ему вдруг показалось, что он знает о Рэчел меньше, чем о ком-либо. Все эти мысли приходили ему в голову уже много раз, часто он пытался рассуждать и спорить с собой; и вот опять кончилось тем, что он вернулся к своим сомнениям. Он не знал ее, не знал, что она чувствует, смогут ли они жить вместе, и хочет ли он жениться на ней, — и все-таки он любил ее.

Допустим, он придет к ней и скажет (он замедлил шаг и начал говорить вслух, как будто обращаясь к Рэчел):

— Я боготворю тебя, но брак мне ненавистен, я не выношу его самодовольство, предсказуемость, компромиссы, меня пугает мысль, что ты будешь вторгаться в мою работу, мешать мне. Что ты на это скажешь?

Он остановился, прислонился к стволу дерева и невидящим взором уставился на камни, разбросанные по берегу сухого русла реки. Он отчетливо видел лицо Рэчел, ее серые глаза, волосы, губы; это лицо могло восприниматься очень по-разному: как невзрачное, безучастное, почти бесмысленное или — неистовое, страстное, почти красивое, однако в глазах Хьюита оно всегда было одинаковым, потому что Рэчел всегда смотрела на него с необычайной свободой и говорила, что думает. Как она ответит? Что она чувствует? Любит ли она его или относится к нему так же, как к любому другому мужчине, потому что она, по ее же словам, свободна, как ветер или море?

— Да, ты свободна! — воскликнул он, почувствовав восторг при мысли о ней. — И я сохраню твою свободу. Мы будем свободны вместе. Мы все будем переживать вместе. Мы будем счастливы, как никто никогда не был. Ничья жизнь не сравнится с нашей. — Он широко распахнул руки, будто чтобы обнять Рэчел и вместе с нею весь мир.

Он больше не мог ни обдумывать перспективу брака, ни трезво разбирать характер Рэчел, ни представлять, как они будут жить вместе, — он опустился и сел на землю, поглощенный мыслями о ней, и вскоре почувствовал мучительное желание оказаться с ней рядом.

Глава 19

Но Хьюит зря умножал свои терзания, представляя, что Хёрст все еще говорит с Рэчел. Компания очень скоро распалась: Флашинги пошли в одну сторону, Хёрст — в другую, а Рэчел осталась в холле. Она листала иллюстрированные издания, то одно, то другое, и в ее движениях чувствовалось какое-то неоформленное, беспокойное желание, владевшее ее душой. Она не знала, уйти или остаться, хотя миссис Флашинг повелела ей явиться к чаю. В холле было пусто, если не считать мисс Уиллет, которая выступила пальцами гаммы на листе с нотами духовной музыки, и состоятельной четы Картеров, которым девушка не нравилась, потому что у нее были развязаны шнурки и выглядела она недостаточно жизнерадостной, из чего они путем косвенных умозаключений делали вывод, что они не нравятся ей. Рэчел они, конечно, не понравились бы, если бы она их увидела, — уже потому, что у мистера Картера были нафабренные усы, а миссис Картер носила браслеты, и эти люди явно были не из тех, кому могла понравиться Рэчел. Однако она была слишком поглощена своими тревогами, чтобы о чем-то еще думать или куда-то смотреть.

Рэчел переворачивала скользкие страницы американского журнала, когда дверь распахнулась, на пол упал клин света и невысокая белая фигурка, на которой, казалось, весь свет сфокусировался, прошла через зал прямо к ней.

— Как! Вы здесь? — воскликнула Эвелин. — Я заметила вас за обедом, но вы не снизошли до того, чтобы взглянуть на меня.

Одной из черт характера Эвелин была способность, несмотря на все щелчки, которые она получала или воображала, никогда не сдаваться, если она хотела с кем-то познакомиться поближе, и в конце концов она знакомилась и даже завоевывала расположение.

Она огляделась.

— Не выношу это место. И этих людей, — сказала она. — Прошу вас, поднимемся в мой номер. Я очень хочу поговорить с вами.

Поскольку у Рэчел не было желания ни уходить, ни оставаться, Эвелин взяла ее за руку и потянула прочь из холла, на лестницу. Они поднимались, шагая через ступеньку, и Эвелин, не отпуская руку Рэчел, возбужденно говорила о том, что чужое мнение ее не волнует.

— А почему оно должно волновать, если человек уверен в своей правоте? Пусть они все провалятся! У меня свое мнение!

Она была сильно взволнована, отчего мышцы ее рук нервно подергивались. Она явно не могла дождаться, чтобы захлопнуть дверь и все рассказать Рэчел. И действительно, как только они оказались в номере, она села на край кровати и спросила:

— Наверное, думаете, что я сумасшедшая?

Рэчел была не в том настроении, чтобы обдумывать чье-то состояние души. Однако она всегда была склонна говорить прямо все, что придет ей в голову, не боясь последствий.

— Вам кто-то сделал предложение, — сказала она.

— Как, скажите, ради Бога, вы догадались?! — воскликнула Эвелин, удивленно, но не без удовольствия. — Разве по мне видно, что мне сделали предложение?

— По вам видно, что вам их делают каждый день, — ответила Рэчел.

— Но вряд ли чаще, чем вам. — Эвелин довольно неискренне засмеялась.

— Со мной этого не было ни разу.

— Будет, неоднократно, на свете нет ничего проще!.. Но сегодня случилось не совсем это. Это... Ах, это такая путаница, гадкая, жуткая, отвратительная путаница!

Она подошла к умывальнику и стала прикладывать губку с холодной водой к горящим

щекам. Продолжая это делать и слегка дрожа, она обернулась и на повышенных тонах объяснила причины своего нервического возбуждения:

— Альфред Перротт говорит, что я обещала выйти за него, а я говорю, что не обещала. Синклер говорит, что застрелится, если я не выйду за него, а я говорю: «Ну и стреляйтесь!» Но он, конечно, не застрелится, этого никогда не бывает. Сегодня после обеда Синклер пристал ко мне, требуя ответа, обвинил в том, что я флиртую с Перроттом, заявил, что у меня нет сердца, что я просто сирена и еще много столь же приятных вещей. В общем, в конце концов я сказала ему: «Ну, Синклер, вы наговорили достаточно. Теперь позвольте мне уйти». И тогда он схватил меня и поцеловал, гадкий зверь, я до сих пор чувствую его волосатое лицо вот здесь! Как будто он имел на это хоть малейшее право после того, что я сказала!

Эвелин сильно прижала губку к левой щеке.

— Я никогда не встречала мужчину, достойного сравнения с женщиной! — прокричала она.

— В них нет достоинства, нет мужества, ничего, кроме животных страстей и звериной силы! Разве повела бы себя так хоть одна женщина — если бы мужчина сказал, что она не нужна ему? Мы слишком уважаем себя, мы бесконечно тоньше их.

Она ходила по комнате, прикладывая к щекам полотенце. Теперь вместе с каплями холодной воды по ним стекали слезы.

— Меня это злит! — объяснила она, вытирая глаза.

Рэчел сидела, наблюдая за ней. Она не задумывалась над положением Эвелин, ей только пришло в голову, что мир полон людей, испытывающих терзания.

— Есть только один мужчина, который мне действительно нравится, — продолжила Эвелин. — Теренс Хьюит. Чувствуется, что ему можно доверять.

— Почему? — спросила Рэчел. — Почему ему можно доверять?

— Не знаю. Разве вы не чувствуете людей? И всегда как-то точно знаешь, что это ощущение правильное, да? Недавно мы с ним проговорили почти целый вечер. После этого я почувствовала, что мы настоящие друзья. В нем есть что-то от женщины... — Она умолкла, как будто вспомнив нечто очень личное из сказанного Теренсом, по крайней мере, Рэчел так истолковала ее взгляд.

Рэчел попыталась напрячь силы и спросить: «Он сделал вам предложение?» — но вопрос был слишком тяжелым, и Эвелин заговорила дальше о том, что самые умные мужчины подобны женщинам, что женщины благороднее мужчин, — например, нельзя представить, чтобы такая женщина, как Лилла Харрисон, задумала какую-нибудь мерзость или имела какие-то низменные свойства.

— Вот бы вам с ней познакомиться! — воскликнула она.

Она стала намного спокойнее, и щеки у нее совсем высохли. Глаза приобрели обычное выражение энергичного жизнелюбия, и она, по-видимому, вполне забыла об Альфреде, Синклере и своих треволнениях.

— Лилла управляет лечебницей для алкоголиков на Дептфорд-Роуд, — продолжала Эвелин. — Она основала ее, организовала, все совершенно самостоятельно, и теперь это одно из крупнейших заведений подобного рода в Англии. Вы не представляете, что это за женщины и в каких семьях они живут. Но она целыми днями с ними. Я часто у нее бывала... В этом наша беда... Мы ничего не делаем. Вот вы что делаете? — спросила она, посмотрев на Рэчел со слегка иронической улыбкой. Рэчел почти не слушала, и выражение ее лица было отсутствующим и недовольным. Она ощущала равную неприязнь и к Лилле Харрисон с ее работой на Дептфорд-Роуд, и к Эвелин с ее бесконечными романами.

— Я играю, — сказала Рэчел, стараясь казаться вяло-безразличной.

— Вот именно! — засмеялась Эвелин. — Мы все только и делаем, что играем. Из-за этого

женщины вроде Лиллы Харрисон, которая стоит двадцати таких, как вы и я, должны работать до изнеможения. Но мне надоело играть. — Она легла навзничь на кровать и протянула руки над головой. Так, вытянувшись, она казалась еще миниатюрнее, чем обычно. — Я собираюсь заняться делом. У меня есть великолепная идея. Послушайте, вы должны присоединиться. Я уверена, в вас есть многое, хотя выглядите вы... ну, как будто вы всю жизнь прожили в саду. — Она села и принялась рассказывать, жестикулируя: — В Лондоне я состою в одном клубе. Он собирается каждую субботу поэтому так и называется — «Субботний клуб». Предполагается, что мы должны разговаривать об искусстве, но мне надоело говорить об искусстве — какой в этом толк? При том, что вокруг происходит столько всего настоящего. Да и сказать-то об искусстве им особенно нечего. Так вот, я собираюсь заявить им, что мы довольно говорили об искусстве, пора для разнообразия поговорить о жизни. О том, что действительно влияет на жизнь людей, о торговле женщинами, об избирательных правах женщин, о законопроекте государственного страхования и так далее. И когда мы решим, что хотим делать, то сможем создать общество для выполнения этого... Я уверена, что если бы люди вроде нас взяли дело в свои руки, а не полагались бы на полицейских и судей, то мы смогли бы искоренить... проституцию, — она понизила голос на нечистом слове, — за шесть месяцев. Моя идея в том, что мужчины и женщины должны для этого объединиться. Мы должны выйти на Пиккадилли, остановить одну из падших бедняжек и сказать: «Послушайте, я ничем не лучше вас и не делаю вид, что я лучше, но вы же сами понимаете — то, чем вы занимаетесь, мерзко, а я не могу спокойно смотреть, как вы делаете мерзости, потому что внутри мы все одинаковые, и если вы делаете мерзости, то это затрагивает и меня». Об этом и мистер Бэкс говорил сегодня утром, и это верно, хотя вы, умные люди — вы ведь тоже умная, да? — не верите в это.

Когда Эвелин начинала говорить, мысли приходили к ней так быстро, что у нее не было времени выслушивать мнения других, — о чем она сама часто сожалела. Сделав паузу, слишком большую для вдоха, она продолжила:

— Не понимаю, почему члены Субботнего клуба не могли бы славно поработать в этом направлении. Конечно, нужна организация, кто-то должен посвятить всего себя, но я к этому готова. Мой принцип — сначала думать о людях, а абстрактные идеи как-нибудь сами обойдутся. В чем недостаток Лиллы — если у нее вообще есть недостатки, — она сначала думает о Трезвости, а о женщинах потом. В свою пользу я могу сказать одно: я не интеллектуалка, не имею способностей к искусству или чему-либо подобному, но я очень человечна. — Она соскользнула с кровати и уселась на полу, глядя на Рэчел. Она всматривалась в лицо Рэчел, будто пытаясь понять, какой характер за ним скрывается. Она положила руку на колено Рэчел. — Главное — быть человечной, правда? — продолжила она. — Быть настоящей, что бы там ни говорил мистер Хёрст. Вы настоящая?

Рэчел, как недавно и Теренс, почувствовала, что Эвелин находится слишком близко от нее, и в этой близости было что-то волнительное, хотя в то же время она была тягостна. Ей не пришлось искать ответа, потому что Эвелин опять спросила:

— Вы во что-нибудь верите?

Чтобы избавиться от пронизывающего взгляда ясных голубых глаз и ослабить чувство физической неловкости, Рэчел отодвинула назад свой стул и воскликнула:

— Во всё! — И стала перебирать разные предметы: книги на столе, фотографии, растение с мясистыми листьями, покрытыми жесткими щетинками, которое стояло в глиняном горшке на подоконнике. — Я верю в эту кровать, в фотографии, в горшок, в балкон, в солнце, в миссис Флашиング, — сказала она, все так же не заботясь о действии произносимого ею, будто нечто в глубине души подстегивало ее говорить то, что обычно не говорят. — Но я не верю в Бога, не верю в мистера Бэкса, в сестру из больницы. Я не верю... — Она взяла фотографию и оборвала

фразу, глядя на нее.

— Это моя мать, — сказала Эвелин. Она по-прежнему сидела на полу, обхватив колени, и с любопытством смотрела на Рэчел.

Рэчел задумалась над портретом.

— И в нее я не очень-то верю, — заметила она через некоторое время тихим голосом.

Миссис Мёргатройд действительно выглядела так, будто из нее высосали все силы; она сидела с ногами в кресле, жалостно выглядывая из-за шпица, которого прижимала к щеке, как будто защищаясь.

— А это мой пapa, — сказала Эвелин: в рамку были вставлены две фотографии. Второй снимок запечатлел пригожего военного с яркими и правильными чертами лица и густыми черными усами; его рука покоялась на рукояти сабли; сходство между ним и Эвелин было несомненным. — Именно из-за них, — продолжила Эвелин, — я собираюсь помогать другим женщинам. Вы обо мне слышали, наверное? Они, видите ли, не были женаты; я, собственно, никто. Я нисколько этого не стыжусь. Во всяком случае, они любили друг друга, а этого большинство людей о своих родителях сказать не может.

Рэчел села на кровать, держа в руках две фотографии, и стала их сравнивать — мужчину и женщину, которые, по словам Эвелин, любили друг друга. Это интересовало ее больше, чем кампания по спасению несчастных женщин, которую Эвелин опять принялась описывать. Рэчел переводила взгляд со снимка на снимок.

— Что это такое, по-вашему, — спросила она, когда Эвелин на минуту замолчала, — любить?

— Вы что, никогда не любили? Хотя — достаточно посмотреть на вас, чтобы понять это. — Эвелин задумалась. — Я любила по-настоящему один раз. — Она погрузилась в воспоминания, отчего ее глаза потеряли энергичный блеск и в них пропало нечто близкое к нежности. — Это было божественно! Пока продолжалось. Плохо только то, что все быстро кончается, по крайней мере, у меня. В том-то и беда.

Она опять обратилась к трудностям с Альфредом и Синклером и сделала вид, будто спрашивает у Рэчел совета. Но вовсе не совет был ей нужен, а задушевность. Рэчел по-прежнему сидела на кровати и смотрела фотографии, и Эвелин не могла не понять, что та не думает о ней. О чём же она тогда думает? Эвелин не давала покоя горевшая в ней живая искорка, которая всегда стремилась пробиться к другим людям и всегда получала отпор. Она замолчала и стала разглядывать свою гостью, ее туфли, чулки, гребни в ее волосах, все детали ее одежды, будто стараясь ухватить все мелочи и тем самым приблизиться к ее внутренней жизни.

Наконец Рэчел положила фотографии, отошла к окну и заметила:

— Странно. Люди рассуждают о любви не меньше, чем о религии.

— Я хотела бы, чтобы вы сели и поговорили со мной, — сказала Эвелин с нетерпением.

Но Рэчел открыла окно, состоявшее из двух высоких створок, и выглянула в сад.

— Вот где мы заблудились в первый вечер, — сказала она. — Наверное, в тех кустах.

— Там забивают кур, — сказала Эвелин. — Отрубают им головы ножом — отвратительно! Но скажите, что...

— Я хотела бы осмотреть гостиницу, — перебила ее Рэчел. Она обернулась к Эвелин, все так же сидевшей на полу.

— Она такая же, как все остальные, — сказала Эвелин.

Возможно, это было и так, но в глазах Рэчел каждая комната, каждый коридор и каждый стул обладали своим характером. К тому же она больше не могла стоять на одном месте и медленно пошла к двери.

— Чего вы хотите? — спросила Эвелин. — С вами у меня такое чувство, как будто вы все

время думаете о чем-то, но не говорите о чем... Скажите!

Но Рэчел не ответила и на эту просьбу. Она остановилась, положив пальцы на дверную ручку, будто вспомнив, что от нее ждут каких-то слов.

— Думаю, вы выйдете замуж за одного из них, — проговорила Рэчел, повернула ручку и закрыла дверь за собой. Она медленно пошла по коридору, ведя рукой по стене. Она не думала, куда ей направиться, а коридор мог привести только к окну и балкону, которыми он кончался. Рэчел посмотрела вниз на кухонные постройки, составлявшие изнанку гостиницы, которая была отделена от лицевой стороны лабиринтом низких кустов. Земля там была голой, по ней были разбросаны старые жестянки, а на кустах сушились полотенца и фартуки. То и дело наружу выходил официант в белом фартуке и выбрасывал отходы на кучу мусора. Две крупных женщины в хлопчатобумажных платьях сидели на лавке, перед ними стояли измазанные кровью оловянные подносы, а на коленях у них лежали желтые тушки. Они ощипывали птицу, переговариваясь. Вдруг во двор выскочила курица, она наполовину летела, наполовину бежала, спотыкаясь, преследуемая третьей женщиной, которой было никак не меньше восьмидесяти лет. Хотя старуха была совсем высохшая и нетвердо держалась на ногах, она не оставляла погони, подстрекаемая смехом женщин; на ее лице была ярость, на бегу она ругалась по-испански. Птицу пугали то хлопки в ладости, то висящая на кусте салфетка, она носилась туда-сюда, поворачивая под острыми углами, и наконец влетела прямо в старуху, которая распахнула свои ветхие серые юбки, чтобы не упустить добычу, повалилась на курицу, а потом вытащила ее и, с победно-мстительным выражением лица, отхватила ей голову. Кровь и корчи жертвы приковали взгляд Рэчел, поэтому, хотя она знала, что кто-то подошел сзади и встал рядом, она не оборачивалась, пока старуха не уселась на лавку рядом с другими женщинами. Тогда она резко отвела взгляд, поскольку увиденное ею было отвратительно. Рядом с ней стояла мисс Аллан.

— Неприглядное зрелище, — сказала мисс Аллан. — Хотя, полагаю, это намного гуманнее, чем наш метод... Мне кажется, вы еще не были в моем номере, — добавила она и повернулась, вероятно ожидая, что Рэчел последует за ней. Рэчел так и сделала, потому что в каждом новом человеке видела надежду на разрешение мучившей ее тайны.

Все спальни в гостинице отвечали одному образцу, разве что одни были побольше, а другие поменьше: в каждой пол был выложен темно-красной плиткой, имелись высокая кровать, завешенная противомоскитным пологом, письменный стол и туалетный столик, а также пара кресел. Но, как только упаковку распечатывали, номера приобретали различия, так что номер мисс Аллан был совсем не похож на номер Эвелин. Здесь на туалетном столике не было ни разноцветных шляпных булавок, ни флакончиков с духами, ни узких изогнутых ножниц, на полу не стояла батарея туфель и ботинок всех сортов и мастей, а на стульях не висели шелковые юбки. В комнате царила безупречная аккуратность. Казалось, тут всего было по две пары. Зато письменный стол был завален рукописями и придинут к креслу, на котором двумя стопками были сложены темные библиотечные книги с ворохом бумажных закладок в каждой. Мисс Аллан пригласила Рэчел зайти из любезности, решив, что та чего-то ожидает и ей нечего делать. Кроме того, она любила молодых девушек, потому что преподавала им, а еще она не раз пользовалась гостеприимством Эмброузов и была рада хоть немного отплатить тем же. Она оглядела комнату, ища, что бы показать Рэчел. В номере было не слишком много занятых вещей. Мисс Аллан прикоснулась к рукописи.

— Эпоха Чосера, эпоха Елизаветы, эпоха Драйдена, — задумчиво проговорила она. — Я рада, что есть еще много эпох. Сейчас я на середине восемнадцатого века. Не присядете ли, мисс Винрэс? Кресло хотя и мало, зато крепко... Эвфуэс [\[58\]](#). Зародыш английского романа, — добавила она, взглянув на другую страницу. — Вас подобные вещи интересуют?

Она смотрела на Рэчел по-доброму и просто, как будто была готова расстаться, лишь бы

выполнить все ее желания. Благодаря этому выражению лицо мисс Аллан, обычно покрытое морщинами забот и размышлений, стало очень обаятельным.

— Ах нет, ведь ваше пристрастие — музыка, не так ли? — вспомнила она. — По моим наблюдениям, одно с другим не сочетается. Бывают, конечно, уникумы... — Она осмотрелась, что-то отыскивая, увидела банку на каминной полке и передала ее Рэчел. — Если засунете в эту банку палец, может быть, сумеете достать кусочек консервированного имбиря. Так вы уникум?

Но имбирь лежал на самом дне, и достать его было невозможно.

— Не беспокойтесь, — сказала Рэчел, когда мисс Аллан огляделась в поисках какого-нибудь орудия. — Скорее всего, я не люблю консервированный имбирь.

— Вы никогда не пробовали? — спросила мисс Аллан. — Тогда я считаю, что ваш долг — попробовать сейчас. А что, вы можете привнести в свою жизнь новое удовольствие, и поскольку вы еще молоды... — Она решила пустить в дело крючок для застегивания пуговиц. — Я взяла за правило пробовать все. Разве вам не кажется весьма огорчительным впервые попробовать имбирь на смертном одре и обнаружить, что он нравится вам больше всего на свете? Я бы крайне огорчилась — настолько, что, наверное, от одного этого выздоровела бы.

Наконец мисс Аллан удалось выудить кусок имбиря на кончике крючка. Она отошла, чтобы вытереть крючок, а Рэчел тем временем откусила от имбиря и сразу вскрикнула:

— Я должна это выплюнуть!

— Вы уверены, что распрабовали? — настойчиво спросила мисс Аллан.

Вместо ответа Рэчел выбросила имбирь в окно.

— Во всяком случае, полезный опыт, — спокойно сказала мисс Аллан. — Так, посмотрим... Мне больше нечего вам предложить, если только вы не хотите отведать вот этого. — Над кроватью висел небольшой шкафчик, из которого она достала изящный графин, наполненный ярко-зеленой жидкостью. — Crème de Menthe [59], — сказала мисс Аллан. — Ликер, знаете ли. Можно подумать, что я пью, да? Между тем этот графин доказывает мою исключительнуюдержанность. Он у меня двадцать и еще шесть лет, — добавила она, посмотрев с гордостью и опрокинув графин, отчего стало видно, что его ни разу не открывали.

— Двадцать шесть лет?! — воскликнула Рэчел.

Мисс Аллан была довольна, поскольку ожидала от Рэчел удивления.

— Когда двадцать и еще шесть лет назад я поехала в Дрезден, — сказала она, — одна моя подруга заявила о желании сделать мне подарок. Она подумала, что в случае кораблекрушения или иной катастрофы может пригодиться стимулирующее средство. Однако, поскольку ничего подобного со мной не приключилось, я вернула его по возвращении. Накануне любого заграничного путешествия у меня появляется тот же самый графин, с тем же самым письменным сопровождением; возвращаясь невредимой, я всегда отдаю его обратно. Я считаю его чем-то вроде талисмана. Хотя однажды меня на сутки задержало крушение шедшего впереди поезда, сама я ни в какие катастрофы ни разу не попадала. Да, — продолжила она, обращаясь к графину, — мы с вами повидали много стран и буфетов, не так ли? Я намерена в скором времени заказать серебряную табличку с надписью. Это джентльмен, как вы, наверное, поняли, и зовут его Оливер... Не надейтесь, что я вас прощу, мисс Винрэс, если вы разобьете моего Оливера. — Мисс Аллан твердо взяла графин из рук Рэчел и вернула его в шкафчик.

И не зря: Рэчел раскачивала графин, держа за горльшко. Мисс Аллан до того заинтересовалась ею, что она забыла о графике.

— Да, — воскликнула она, — мне это кажется так удивительно — двадцать шесть лет иметь подругу, и график, и... столько путешествовать!

— Вовсе нет, на мой взгляд, это отнюдь не удивительно, — ответила мисс Аллан. — Я всегда считала себя самым обычновенным человеком из всех, кого я знаю. Быть такой

обыкновенной, как я, весьма славно. Я забыла, что вы сказали, — вы уникум или вы не уникум?

Она очень добро улыбнулась Рэчел. Рэчел смотрела, как угловато она передвигается по комнате, и ей казалось, что эта женщина так много знает, так много пережила, что у нее должно быть средство от любой боли, надо только побудить ее к тому, чтобы она к нему прибегла. Однако мисс Аллан, запиравшая дверцу шкафчика, не проявляла никакого намерения преодолеть сдержанность, которая покрывала ее, словно многолетний слой снега. Рэчел молчала, чувствуя неловкость; с одной стороны, ей хотелось поднять бурю и зажечь искру в охладевшей, но живой плоти, а с другой — она понимала, что все бесполезно и им остается лишь проплыть друг мимо друга в безмолвии.

— Я не уникум. Мне очень трудно выражать то, что я хочу сказать, — проговорила она наконец.

— Это вопрос темперамента, я полагаю, — помогла ей мисс Аллан. — Некоторые люди подобных трудностей не испытывают; что касается меня, то многие вещи я просто не могу сказать. Но и вообще, до меня все доходит очень медленно. Одна из моих коллег решает, нравится ей человек или нет — погодите, как она это делает? — а, по тому, как он говорит «доброе утро» за завтраком. А мне порой требуются годы, чтобы прийти к какому-то решению. Но большинству молодых людей это дается легко, не так ли?

— О нет, — сказала Рэчел. — Это трудно!

Мисс Аллан спокойно посмотрела на Рэчел и ничего не сказала. Она подозревала, что здесь имеются кое-какие трудности. Затем она подняла руку к затылку и обнаружила, что один длинный седой локон выбился из прически.

— Я должна попросить у вас извинения, — сказала она, вставая. — Мне надо причесаться. Я так до сих пор и не нашла шпилек удачной конструкции. Мне, кстати, необходимо и переодеться. Буду весьма благодарна, если вы мне поможете, поскольку там есть несносные крючки, которые я, конечно, могла бы застегнуть сама, но это занятие отнимает от десяти до пятнадцати минут, тогда как с вашим содействием...

Она сняла жакет, юбку и блузку и встала перед зеркалом, причесываясь, — крупная аляповатая фигура в такой короткой нижней юбке, что были видны ее толстые сероватые ноги.

— Люди говорят, что хорошо быть молодым; лично я нахожу средний возраст гораздо более приятным, — заметила она, вытаскивая шпильки и гребешки и беря щетку. Распрямившись, волосы лишь закрыли ее шею. — В молодости все кажется таким серьезным — при определенном воспитании... А теперь платье.

Удивительно быстро ее волосы были опять уложены в привычные извины. Верхняя часть ее тела теперь стала темно-зеленой в черную полоску; юбку, однако, следовало застегнуть крючками в разных направлениях, и Рэчел пришлось встать на колени, чтобы отыскать глазами крючки и петли.

— Наша мисс Джонсон раньше, как я помню, была очень недовольна жизнью, — продолжала мисс Аллан. Она повернулась спиной к свету. — А потом она занялась разведением морских свинок и весьма этим увлеклась. Я недавно узнала, что желтая морская свинка произвела на свет черного детеныша. Мы поспорили об этом на шесть пенсов. Она будет счастлива своей победой.

Юбка была застегнута. Мисс Аллан посмотрелась в зеркало, придав лицу нелепую чопорность — как обычно бывает, когда человек смотрится в зеркало.

— Достойна ли я предстать перед близкими? — спросила она. — Не помню точно, но, кажется, у черных животных очень редко бывают окрашенные детеныши, а может быть, и наоборот. Мне так часто это объясняли, что очень глупо с моей стороны опять все забыть.

Она стала ходить по комнате, собирая уверенной рукой мелкие предметы и прилаживая их

к себе: медальон, часы с цепочкой, тяжелый золотой браслет, пестрый значок общества суфражисток. Наконец, снаряженная для воскресного чаепития, она встала перед Рэчел и ласково улыбнулась. Она не была импульсивной женщиной, и жизнь научила ее сдерживать свой язык. В то же время в ней было много доброжелательности к людям, особенно к молодежи, отчего она часто жалела, что говорить с ними так трудно.

— Не спуститься ли нам? — сказала она.

Опершись одной рукой на плечо Рэчел, она наклонилась, взяла пару прогулочных туфель и аккуратно поставила их рядом за дверью. Идя по коридору, они видели много пар ботинок и туфель, черных и коричневых, стоявших рядом и очень разных, даже в том, как они стояли.

— Мне всегда казалось, что люди очень похожи на свою обувь, — сказала мисс Аллан. — Это туфли миссис Пейли... — Но в этот момент дверь открылась, и миссис Пейли выкатилась на свое кресле, тоже снаряженная к чаю.

Она поздоровалась с мисс Аллан и Рэчел.

— Я говорила, что люди очень похожи на свою обувь, — сказала мисс Аллан. Миссис Пейли не расслышала. Мисс Аллан повторила громче. Миссис Пейли опять не расслышала. Мисс Аллан повторила в третий раз. Теперь миссис Пейли расслышала, но не поняла. Мисс Аллан уже собиралась повторить в четвертый раз, но тут Рэчел вдруг произнесла что-то нечленораздельное и бросилась прочь по коридору. Взаимонепонимание, из-за которого коридор оказался полностью перегорожен, показалось ей невыносимым. Она шла быстро, не глядя, и вскоре очутилась в конце тупика. Там было окно, у которого стояли стол и стул, а на столе были ржавая чернильница, пепельница, старая французская газета и перо со сломанным кончиком. Рэчел села, как будто собираясь просмотреть газету, но на неясные французские буквы упала слеза, и от нее расплзлось мокре пятно. Рэчел резко подняла голову и громко сказала:

— Это невыносимо!

Глядя в окно глазами, которые ничего не видели бы, даже если бы их не застилали слезы, она наконец позволила себе сорвать зло в яростных обвинениях по адресу прошедшего дня. Он был ужасен с самого утра: сначала служба в часовне, потом обед, потом Эвелин, потом мисс Аллан, потом старая миссис Пейли, перегородившая коридор. Весь день Рэчел мучилась и испытывала отвращение. Теперь она пережила кризис и в своем новом состоянии, будто с высоты, увидела весь мир в истинном свете. Вид этот был довольно мерзок: церкви, политики, неудачники, чудовищные обманы — люди вроде мистера Дэллоуэя и мистера Бэksа, Эвелин с ее болтовней, миссис Пейли, перегораживающая коридор. Между тем мерное биение ее сердца напоминало о горячем потоке чувств, бурливших в глубине ее души; они бились, сопротивлялись, тревожили. Сейчас ее тело было источником всей жизни в мире, и эта жизнь пыталась вырваться наружу то здесь, то там, но ее подавляли то мистер Бэks, то Эвелин, то чья-то навязчивая и тяжеловесная глупость, то бремя всего мира. Терзаясь, Рэчел заломила руки, ибо все было неправильно, все люди — глупы. Едва различая какие-то фигуры в саду, она представила этих людей как бес смысленные массы материи, перетекающие с места на место, без всякой цели, кроме той, чтобы мешать ей, Рэчел. Чем они заняты, эти обитатели мира?

— Никто не знает, — сказала она. Ее гнев начал иссякать, и недавно столь яркая картина мира стала сумрачной. — Это сон, — прошептала Рэчел. Она посмотрела на ржавую чернильницу, перо, пепельницу и старую французскую газету. Мелкие и ненужные предметы показались ей символами человеческой жизни. — Мы спим и видим сны, — повторила она. Однако то, что одна из фигур внизу может быть фигурой Теренса, вывело ее из меланхолического забытья. Она снова разволновалась. Мир уже не лежал перед ней, как город в долине. Его скрыл лихорадочный красный туман. Она пришла в то же состояние, в котором

пребывала весь день. Размышления не могли избавить ее от этого. Единственное средство — двигаться, входить в комнаты и выходить, проникать в души людей и покидать их, что-то искать — она сама не знала что. Поэтому Рэчел встала, отодвинула стол и спустилась по лестнице. Затем вышла из холла, обогнула гостиницу и оказалась среди тех, кого видела из окна. Но оттого, что она вышла из полутемных коридоров на солнце, из грез — к настоящей жизни, люди предстали перед ней с поразительной яркостью, как будто с поверхности сдули всю пыль и осталась одна реальность этого мгновения. На зеленом фоне были разбросаны белые, серые и лиловые фигуры, между ними стояли круглые плетеные столы, и в центре горело пламя кипятильника, над которым колыхался воздух, похожий на неровное стекло, а надо всем этим нависло большое зеленое дерево, — казалось, оно только что двигалось и сейчас остановилось отдохнуть. Приблизившись, Рэчел услышала голос Эвелин, монотонно повторявший:

— Иди сюда, иди, хороший песик, иди сюда...

Некоторое время как будто ничего не происходило, все застыло в неподвижности. Потом Рэчел поняла, что одна из фигур принадлежит Хелен Эмброуз, и пыль опять начала оседать.

Компания действительно собралась случайным образом; один чайный столик поставили к другому, а шезлонги служили связующими звеньями между двумя группами. Но даже издали было видно, что главенствует надо всеми прямая и царственная миссис Флашинг. Она что-то горячо излагала, обращаясь через стол к Хелен.

— Десять дней в походных условиях, — говорила миссис Флашинг. — Никаких удобств. Если вам нужны удобства, ехать не надо. Но, поверьте, если вы не поедете, будете потом жалеть всю жизнь. Вы согласны?

В этот момент миссис Флашинг заметила Рэчел.

— А, вот и ваша племянница. Она обещала. Вы поедете, не так ли? — Приняв план, она осуществляла его с детским пылом.

Рэчел охотно принялась исполнять свою роль.

— Конечно, поеду. И ты, Хелен. И мистер Пеппер тоже. — Сев за стол, она осознала, что окружена знакомыми, но Теренса среди них нет. Тут все принялись обсуждать будущую экспедицию. Кое-кто считал, что будет жарко, а по ночам — холодно; другие полагали, что труднее всего будет достать судно и преодолеть языковой барьер. Миссис Флашинг отмела все возражения, касались ли они людей или природы, заявив, что ее муж все это уладит.

Тем временем мистер Флашинг спокойно объяснял Хелен, что экспедиция — дело очень простое: займет она не более пяти дней, а туземная деревня — их цель — весьма достойна того, чтобы увидеть ее перед возвращением в Англию. Хелен бормотала что-то неопределенное, не связывая себя ни отказом, ни согласием.

В чаепитии, однако, участвовали слишком разные люди, чтобы их всех могла занять общая беседа; Рэчел же видела в этом то преимущество, что ей самой не было никакой необходимости говорить. Сьюзен и Артур рассказали миссис Пейли о предполагаемой экспедиции; миссис Пейли уловила суть и как старая путешественница дала совет взять хорошие овощные консервы, меховые накидки и порошок от насекомых. Она наклонилась к миссис Флашинг и прошептала пару слов, судя по огонькам в ее глазах — о клопах. Хелен декламировала Сент-Джону Хёрсту «Звони по храбрецам» [\[60\]](#) с целью выиграть шестипенсовик, лежавший на столе. Тем временем часть аудитории, принадлежавшая мистеру Хьюлингу Эллиоту, молча слушала его увлекательный рассказ о лорде Керзоне [\[61\]](#) и велосипеде студента-старшекурсника. Миссис Торнбери пыталась вспомнить фамилию человека, чуть не ставшего вторым Гарибальди и написавшего книгу, которую стоит прочитать, а мистер Торнбери сообщил, что у него есть бинокль — если кому нужно, он одолжит. Мисс Аллан с нежной доверительностью, часто свойственной старым девам в общении с собаками, что-то мурлыкала фокстерьеру, которого

Эвелин наконец уговорила подойти к ним. Время от времени частицы пыли и цветочные лепестки падали на тарелки, когда ветви наверху вздыхали от ветра. Рэчел мало что видела и слышала — не больше, чем река чувствует веточки, падающие в нее, и видит небо над собой, — но, по мнению Эвелин, ее взгляд был уж слишком отсутствующим. Эвелин подошла и села на землю у ног Рэчел.

— Ну? — вдруг сказала она. — О чём вы думаете?

— О мисс Уоррингтон, — поспешила ответить Рэчел, поскольку надо было что-то сказать. Она действительно заметила, что Сьюзен шепчеться с миссис Эллиот, в то время как Артур взирает на нее с полной уверенностью в своей любви. И Рэчел, и Эвелин прислушались к тому, что говорила Сьюзен.

— Распоряжения, собаки, сад, дети, которые приходят учиться, — ее голос звучал ритмично, будто она читала список, — и теннис, и деревня, и писание писем для папы, и еще тысяча мелочей, которые кажутся незначительными, но у меня не остается ни секунды на себя, и когда я ложусь в постель, то засыпаю, не успев положить голову на подушку. Кроме того, я люблю проводить время с тетушками — я страшная зануда, правда, тетя Эмма? — Она улыбнулась миссис Пейли, которая, чуть наклонив голову, с задумчивым обожанием смотрела на кекс. — А зимой папе надо особенно остерегаться простуды, и это требует большой суety, потому что он о себе не заботится, так же как и ты, Артур! В общем, накапливается!

В ее голосе слышалось неприкрытое довольство собой и своей жизнью. Рэчел внезапно почувствовала резкую неприязнь к Сьюзен, забыв о том, какая она добрая, скромная и даже жалкая. Она казалась неискренней и жестокой; Рэчел представила ее себе растолстевшей и многодетной — мягкие голубые глаза стали пустыми и водянистыми, а цветущий румянец свернулся в сухую сетку красных прожилок.

Хелен обернулась к Рэчел и спросила:

— Ты была в церкви? — Она выиграла шестипенсовик и, видимо, собралась уходить.

— Да, — сказала Рэчел. И добавила: — В последний раз.

Надевая перчатки, Хелен одну уронила.

— Вы ведь не уходите? — спросила Эвелин, подняв перчатку, как будто чтобы задержать их.

— Самое время нам уйти, — сказала Хелен. — Вы не заметили, как все затихли?

Люди погрузились в молчание — частью в силу случайности, частью потому, что увидели идущего к ним человека. Хелен не видела, кто это, но, глядя на Рэчел, заметила нечто позволившее ей сказать про себя: «Итак, это Хьюит». Она натянула перчатки с ощущением значительности момента. Потом она встала — потому что миссис Флашинг тоже увидела Хьюита и потребовала у него сведений о реках и кораблях, из чего следовало, что весь разговор вот-вот начнется заново. Рэчел последовала за ней, и они молча пошли по аллее. Несмотря на то что Хелен увидела и поняла, ее мысли были заняты до странности неуместным предметом: если она поедет в экспедицию, то не сможет принимать ванну, а этоказалось ей слишком большой и тягостной жертвой.

— Как все-таки неприятно оказаться в одной компании с едва знакомыми людьми, — заметила она. — С людьми, которые стесняются своей наготы.

— Ты не собираешься ехать? — спросила Рэчел.

Напор, с которым был задан вопрос, вызвал у миссис Эмброуз раздражение.

— Я не собираюсь ни ехать, ни оставаться, — ответила она. Она становилась все более небрежной и безразличной. — В конце концов, мы видели все, что стоит увидеть, добираться туда — целая история, и, что бы они ни говорили, это будет сопряжено с ужасными неудобствами.

Некоторое время Рэчел ничего не говорила, но каждая фраза Хелен увеличивала ее досаду. Наконец ее прорвало:

— Слава Богу, Хелен, что я не такая, как ты! Иногда мне кажется, что ты не думаешь, не чувствуешь, ни о чем не волнуешься, только существуешь! Ты как мистер Хёрст. Ты видишь, что все плохо, и тебе приятно на это указывать. Ты называешь это честностью, а на самом деле это лень, это бесчувствие, это пустота. Ты никому не помогаешь, только все уничтожаешь.

Хелен улыбнулась, как будто атака Рэчел доставила ей удовольствие.

— И что? — спросила она.

— Мне кажется, что это плохо, и все, — ответила Рэчел.

— Весьма вероятно, — сказала Хелен.

В любое другое время прямota тетки заставила бы Рэчел замолчать, но сегодня у нее было не то настроение. Она была не прочь поссориться.

— Ты живая только наполовину, — продолжила она.

— Это потому, что я не приняла приглашения миссис Флашинг? — спросила Хелен. — Или ты и раньше так думала?

Сейчас Рэчел казалось, что она всегда видела эти недостатки Хелен, с самого первого вечера на «Евфросине» — несмотря на ее красоту, на ее великодушие, на их взаимную любовь.

— Ах, это можно сказать о каждом! — воскликнула она. — Никто ничего не чувствует, ничего не может, кроме как причинять боль! Говорю тебе, Хелен, мир ужасен. Какое мучение жить, чего-то желать...

Она сорвала с куста несколько листьев и стала терзать их, чтобы взять себя в руки.

— Эти люди так живут... — попыталась она объяснить. — Их жизнь так бессмысленна. Говоришь с одним, с другим, и все одно и то же. Ни от кого ничего нельзя добиться.

Смятение Рэчел, обнаженность ее чувств могли бы обеспечить Хелен легкую победу, если бы она захотела поссориться или вызвать племянницу на откровенность. Но вместо того чтобы разговаривать, она погрузилась в молчание. Бесцельность, банальность, бессмысленность... нет уж, во все это она верить не собирается после того, что она увидела во время чаепития. Шуточки, болтовня, пустяки прошедшего дня поблекли перед ее мысленным взором. Взаимное расположение, неприязнь, встречи и расставания — все это было на поверхности, под которой творилось нечто большое — и страшное, именно в силу своей огромной значимости. Она почуяла опасность, как будто под сухими ветками и листьями заметила движение змеи. Ей показалось, что им всем была позволена недолгая передышка, недолгое притворство, а теперь опять вступил в силу глубинный и беспричинный закон, который гнет людей на свой лад, творит и губит неумолимо.

Она посмотрела на Рэчел, которая шла рядом, все так же разрывая пальцами листья, погруженная в свои мысли. Племянница была влюблена, и Хелен искренне жалела ее. Но она отмела эти мысли и извинилась.

— Прости меня, — сказала она. — Но если я бесчувственна, то такова моя природа, и тут ничего не поделаешь.

Однако если это и был ее природный недостаток, она знала простое средство. Она сказала, что, по ее мнению, план миссис Флашинг очень хорош, его только надо было слегка обдумать, и, когда они дошли до дома, оказалось, что она уже это сделала. Хелен и Рэчел договорились, что, если приглашение поступит еще раз, они его примут.

Глава 20

Когда мистер Флашинг и миссис Эмброуз детально обсудили будущую экспедицию, оказалось, что она нисколько не трудна и не опасна. Они также обнаружили, что в ней даже нет ничего необычного. Каждый год в это время компании англичан отправлялись на пароходах вверх по реке; пройдя небольшое расстояние, они высаживались, осматривали туземную деревню, покупали у местных некоторое количество вещиц и возвращались безо всякого ущерба для души и тела. Вскоре после того, как выяснилось, что шестеро человек действительно согласны в своих желаниях, были сделаны необходимые приготовления.

Со времен Елизаветы очень немногие люди видели реку, и уж совсем ничего не было сделано, чтобы изменить облик, в котором она представляла перед елизаветинскими путешественниками. Эпоха Елизаветы отстояла от настоящего времени лишь на мгновение по сравнению с вечностью, прошедшей с тех пор, как между этими берегами потекла вода, как на них зазеленели заросли и тонкие деревца превратились в гигантов с морщинистой корой. Меняясь в зависимости лишь от солнца и облаков, зеленая чаща колыхалась там век за веком, а вода бежала меж берегов не останавливаясь, унося с собой землю и ветки деревьев, в то время как в других частях света над руинами одних городов поднимались другие, а их обитатели умножали свои знания и отличительные черты. С вершины той горы, на которой несколько недель назад компания из гостиницы устроила пикник, было видно несколько миль этой реки. Ее видели Сьюзен и Артур, целуясь, и Рэчел с Теренсом, когда сидели и беседовали о Ричмонде, и Эвелин с Перроттом, когда бродили, воображая себя великими капитанами, посланными осваивать мир. Они видели широкую синюю полосу, разделявшую песчаный берег в том месте, где она впадала в море, и зеленые массы деревьев выше по течению, там, где воды реки исчезали на горизонте. На протяжении первых двадцати миль на берегах здесь и там попадались дома; постепенно дома превратились в хижины, а еще дальше пропали и дома, и хижины, остались только трава да деревья, которые случалось видеть лишь охотникам, путешественникам и купцам, передвигавшимся водой или сушей, но не оставлявшим за собой никаких поселений.

Покинув Санта-Марину ранним утром, проехав двадцать миль в экипажах, а затем еще восемь — верхом, компания, которая теперь состояла из шести англичан, достигла берега реки, когда уже стемнело. Они скакали среди деревьев легким галопом — мистер и миссис Флашинг, Хелен Эмброуз, Рэчел, Теренс и Сент-Джон. Усталые приземистые лошадки остановились сами, и англичане спешились. Миссис Флашинг пошла к реке в приподнятом настроении. Позади был длинный и жаркий день, но она наслаждалась быстрой ездой и открытыми пространствами; она вырвалась из гостиницы, которую не выносила, и спутники ей нравились. Река неслась в темноте. Можно было различить лишь гладкую текучую поверхность воды, и воздух был наполнен ее голосом. Люди вышли на открытый участок между огромными деревьями и по качающемуся вверх-вниз зеленому огоньку поняли, где стоит пароход, на борт которого им предстояло подняться.

Ступив на его палубу, они обнаружили, что это маленькое суденышко; оно несколько минут трепетало под ними, а затем начало скользить по водной глади. Им казалось, что они устремились в самое сердце ночи, потому что деревья сомкнулись перед ними и со всех сторон стал слышен шелест листвьев. Как обычно бывает, непроглядная тьма лишила людей желания общаться — слова звучали слабо и ничтожно; обойдя палубу три или четыре раза, они сбились вместе, широко зевая, все глядя на одно черное пятно на берегу. Говоря очень тихо и ритмично, будто подавленная пространством, миссис Флашинг начала выражать беспокойство по поводу того, где они будут спать: внизу они спать не могут, потому что нельзя спать в пропахшей

нефтью каморке, не могут они спать и на палубе, они не могут спать... Тут она широко зевнула. Хелен это предвидела; вопрос наготы уже возник, хотя они засыпали на ходу и почти не видели друг друга. При помощи Сент-Джона она натянула тент и убедила миссис Флашинг в том, что та может за ним раздеться и никто не заметит, если случайно окажется обнаженной какая-либо часть ее тела, которую она скрывала в течение сорока пяти лет. Были разложены туфяки, извлечены пледы, и три женщины улеглись рядом на открытом и ласковом воздухе.

Мужчины, выкурив по несколько сигарет, бросили тлеющие окурки в реку и еще некоторое время смотрели вниз на рябь, морщинившую черную воду. Затем они тоже разделись и легли на другом конце судна. Они очень устали и были отделены друг от друга завесой темноты. Свет от единственного фонаря падал на несколько веревок и палубных досок и на леер, но дальше все окутывала кромешная тьма, ни единого лучика не доходило до человеческих лиц и до деревьев, маячивших черными массами по обе стороны.

Скоро Уилфред Флашинг заснул, заснул и Хёрст. Один Хьюит лежал без сна, глядя в небо. Мягкий ход судна, темные очертания, безостановочно проплывавшие мимо, лишили его способности думать. Близкое присутствие Рэчел тоже убаюкивало его мысли. Из-за того что она была здесь, рядом, всего в нескольких шагах, он не мог думать о ней, как не мог бы ее видеть, если бы она стояла слишком близко, прижавшись лбом к его лбу. Странным образом он отождествил себя с кораблем, и так же, как было бы бесполезно встать и пойти управлять кораблем, было бесполезно дальше бороться с непреодолимой силой своих чувств. Судно скользило по гладкой поверхности реки, унося его дальше и дальше, прочь от всего, что ему знакомо, за привычные пределы и пограничные знаки, в неведомые воды. Погруженный в безмятежный покой, впервые за много ночей ни о чем не думая, он лежал на палубе и смотрел, как верхушки деревьев перемещаются, едва различимые на фоне неба, нависают арками, опускаются и вздыхают; наконец явь уступила место снам, в которых он лежал под тенью огромных деревьев и смотрел в небо.

Когда наутро они проснулись, судно уже продвинулось довольно далеко вверх по реке; справа был высокий песчаный берег с редкими группами деревьев, а слева тянулось болото, над которым колыхался тростник и на вершинах высоких бамбуков, слегка раскачиваясь, сидели яркие зеленые и желтые птицы. Утро было тихим и жарким. После завтрака они сдвинули стулья и сели неровным полукругом на носу. Тент защищал их от палящего солнца, ветерок, возникавший благодаря движению судна, мягко оевал их. Миссис Флашинг уже наносила на холст пятна и полосы, и при этом ее голова подергивалась туда-сюда, как голова птицы, пугливо клюющей зерно. Остальные держали на коленях кто книгу, кто листок бумаги, кто рукodelье, на которые они время от времени поглядывали, а потом опять устремляли взоры на реку. Один раз Хьюит прочитал вслух кусок стихотворения, но вокруг столько всего двигалось, что его слова совершенно потерялись. Он перестал читать, и никто ничего не сказал. Они плыли дальше под сенью деревьев. На одном из островков слева кормилась стая красных птиц. Сине-зеленый попугай, пронзительно крича, перелетал с дерева на дерево. Чем дальше, тем более дикой становилась окружающая местность. Казалось, что у самой земли деревья и подлесок душат друг друга в нескончаемой борьбе, но здесь и там высоко над зарослями поднимались великолепные деревья, чьи тонкие, похожие на зонтики кроны качались в поднебесье. Хьюит опять посмотрел в свою книгу. Утро было наполнено покоем, как и ночь, странность состояла лишь в том, что было светло, и он мог видеть Рэчел, слышать ее голос и быть рядом с ней. Ему представлялось, что он неподвижно ждет чего-то, а все остальное — предметы, голоса, тела людей, птицы — проносится мимо и только Рэчел ждет вместе с ним. Иногда он смотрел на нее, как будто она должна была знать, что они ждут вместе, что их влечет друг к другу и они не могут этому сопротивляться. Он опять прочел из своей книги:

Кто б ни был ты, в руке меня держащий,
Без одного все будет бесполезно [\[62\]](#).

Какая-то птица дико захохотала, обезьяна, хихикая, задала ехидный вопрос, и, как пламя, невидимое под ярким солнцем, слова Хьюита затрепетали и потухли.

По мере того как река сужалась, высокие песчаные берега превратились в плоскую равнину, густо поросшую деревьями, и стали слышны голоса леса. Было гулко, как в зале. Внезапные крики сменялись долгими промежутками тишины, как в соборе, когда голос мальчика затихает, а эхо, кажется, еще бродит где-то под самой крышей. В какой-то момент мистер Флашинг встал, переговорил с матросом и даже объявил, что после обеда пароход сделает остановку и все смогут немного прогуляться по лесу.

— Среди деревьев множество тропинок, — объяснил он. — Мы еще не сильно удалились от цивилизации.

Он внимательно разглядывал творение своей жены. Слишком тактичный, чтобы открыто хвалить его, одной рукой он заслонил полкартины, а другой произвел в воздухе одобрительный жест.

— Боже! — воскликнул Хёрст, глядя вперед. — Удивительная красота, не правда ли?

— Красота? — удивилась Хелен. Это словоказалось таким ничтожным, и они с Хёрстом — такими маленькими, что она забыла ответить ему.

Хьюит почувствовал, что ему пора что-то сказать.

— Вот откуда елизаветинцы взяли свой стиль, — заметил он, смотря на изобилие листьев, цветов и крупных плодов.

— Шекспир? Ненавижу Шекспира! — воскликнула миссис Флашинг, на что Уилфред отозвался с восхищением:

— Кажется, ты единственная осмеливаешься сказать это, Элис.

Но миссис Флашинг продолжала писать. Она, по-видимому, не придала большого значения комплименту мужа, и писала не отрываясь, порой постанывая, а иногда бормоча что-то нечленораздельное.

Стало очень жарко.

— Посмотрите на Хёрста! — прошептал мистер Флашинг. Листок бумаги слетел на палубу, а Сент-Джон, с откинутой назад головой, похрапывал, глубоко дыша.

Теренс подобрал листок и расправил его перед Рэчел. Это было продолжение поэмы о Боге, начатой в часовне, и она была так непристойна, что Рэчел не поняла и половины, хотя то, что она непристойна, до нее дошло. Хьюит начал вписывать слова там, где Хёрст оставил пропуски, но вскоре бросил; его карандаш покатился по палубе. Судно постепенно приближалось к правому берегу, свет стал совсем зеленым, потому что проникал сквозь завесу листьев, миссис Флашинг отодвинула свой этюд и молча воззрилась вперед. Хёрст проснулся. Всех позвали обедать, и, пока они ели, пароход остановился невдалеке от берега. Лодку, которую пароходик тащил за собой на буксире, подвели к борту, и дамам помогли сойти в нее.

В качестве средства от скуки Хелен взяла книгу мемуаров, которую держала под мышкой, а миссис Флашинг — свой ящик с красками; таким образом снаряженные, они позволили высадить себя на берег у края леса.

Не пройдя и сотни ярдов по тропе, тянувшейся параллельно реке, Хелен заявила, что жара невыносима. Ветерка, который дул на реке, здесь не было, а лес источал горячий и влажный воздух, пропитанный пряными ароматами.

— Я сяду здесь, — постановила она, указывая на ствол дерева, которое упало когда-то

давным-давно и теперь было сплошь увито ползучими растениями и плетями ежевики. Она уселась, раскрыла зонтик и посмотрела на реку, видневшуюся между деревьями. За ее спиной сгущалась черная тень леса.

— Согласна с вами, — сказала миссис Флашинг и начала раскладывать художнические принадлежности. Ее муж бродил вокруг, отыскивая для нее интересную точку обзора. Хёрст расчистил на земле место рядом с Хелен и уселся весьма основательно, как будто не собирался никуда уходить, пока не наговорится с ней вволю. Теренс и Рэчел стояли сами по себе без каких-либо занятий. Теренс понял, что настал момент, которому было суждено настать рано или поздно, и, несмотря на это, он был совершенно спокоен и полностью владел собой. Он решил не спешить и немного поговорить с Хелен — начал убеждать ее, чтобы она оставила свой трон. Рэчел поддержала его и посоветовала ей пойти с ними.

— Из всех, кого я знаю, — сказала она, — ты наименее склонна к приключениям. Сидеть ты сможешь и на зеленых стульях в Гайд-парке. Ты что, собираешься весь день так провести? Даже не погуляешь?

— Нет, — ответила Хелен. — Достаточно просто раскрыть глаза. Здесь всё есть — всё, — повторила она сонным голосом. — Что вы выигрываете своей ходьбой?

— К чаю вы будете измучены жарой и брюзгливы, а мы — свежи и любезны, — вставил Хёрст. В его глазах, смотревших на них снизу вверх, желтыми и зелеными бликами отражались небо и ветви, придавая им отсутствующее выражение, как будто он думал не то, что говорил. Таким образом, то, что Теренс и Рэчел отправляются в лес вдвоем, выглядело совершенно естественно; переглянувшись, они ушли.

— До свидания! — прокричала Рэчел.

— До свидания. Берегитесь змей, — ответил Хёрст. Он устроился поудобнее под тенью от упавшего дерева и фигуры Хелен. Мистер Флашинг крикнул вдогонку ушедшим:

— Мы отплываем через час. Хьюит, пожалуйста, помните об этом. Через час.

Широкая тропа, то ли проложенная человеком, то ли созданная природой, углублялась в лес, отходя от реки под прямым углом. Она напоминала просеку в английском лесу, если не считать тропических кустов с саблевидными листьями, росших по бокам, и того, что почва была покрыта не травой, а упругим мхом, который был испещрен мелкими звездочками желтых цветов. Чем глубже в лес, тем сумрачнее становился свет, тем больше привычные звуки уступали место скрипам и вздохам, которые создают у бредущего по лесу впечатление, будто он идет по морскому дну. Тропа сузилась и повернула; по сторонам она была ограничена плотными завесами лиан, которые связывали дерево с деревом и во многих местах были украшены темно-красными звездчатыми цветами. Доносившиеся сверху вздохи и скрипы то и дело перебивал резкий крик какого-то испуганного животного. Было душно, лишь вялые ароматные дуновения слегка колыхали воздух. Ровное зеленое сияние здесь и там нарушили желтые круги чистого солнечного света, который проникал сквозь разрывы в огромном лиственном куполе, и в этих желтых пространствах кружили бордовые и черные бабочки. Теренс и Рэчел почти не говорили.

Их подавляла не только тишина, они не могли сформулировать ни одной мысли. Между ними происходило нечто, о чем следовало поговорить. Кто-то должен был начать, но кто? Хьюит подобрал красный плод и изо всей силы подбросил его вверх. Когда плод упадет, он заговорит. Они услышали хлопанье больших крыльев, а затем — как плод зашелпал по листьям и, наконец, упал с глухим ударом. Опять воцарилась полная тишина.

— Вам не страшно? — спросил Теренс, когда звук от падающего плода окончательно затих.

— Нет, — ответила Рэчел. — Мне хорошо. — И она повторила: — Мне хорошо. — Она шла быстро и держалась прямее, чем обычно.

— Вам хорошо со мной? — спросил Теренс.

— Да, с вами, — ответила она.

Он помолчал. Казалось, тишина охватила весь мир.

— Я это чувствую все время, что знаю вас, — сказал Теренс. — Нам хорошо вместе. — Он как будто не говорил, а она как будто не слушала.

— Очень хорошо, — ответила она.

Какое-то время они шли молча, неосознанно ускоряя шаг.

— Мы любим друг друга, — сказал Теренс.

— Мы любим друг друга, — повторила Рэчел.

Затем тишину разорвали их голоса, слившиеся в одном странном и непривычном звуке без слов. Они шли все быстрее и быстрее, затем одновременно остановились, обнялись и, отпустив друг друга, упали на землю. Они сели рядом. Звуки выступили из окружающего пространства, перекинувшись мостом через их молчание: они услышали шелест деревьев и — далеко-далеко — хриплый голос какого-то зверя.

— Мы любим друг друга, — повторил Теренс, глядываясь в ее лицо. Оба были бледны и спокойны и ничего не говорили. Он боялся поцеловать ее еще раз. Постепенно она приблизилась и прижалась к нему. Они посидели какое-то время в этом положении. Один раз она сказала: «Теренс». Он отозвался: «Рэчел».

— Ужасно, ужасно, — прошептала она после очередной паузы, но, говоря это, она столько же думала о непрестанном плеске воды, сколько о своих чувствах. Он звучал и звучал в отдалении — бесмысленный и жестокий плеск воды. Она заметила, что по щекам Теренса текут слезы.

Затем пошевелился он. Казалось, прошло очень много времени. Он достал часы.

— Флашинг сказал, через час. Мы ушли уже больше получаса назад.

— И столько же надо на обратный путь, — сказала Рэчел. Она медленно поднялась. Вставая, она вытянула руки и то ли зевнула, то ли глубоко вздохнула. Она выглядела очень усталой. Щеки ее были бледными. — Куда? — спросила она.

— Туда, — сказал Теренс.

Они пошли назад по мшистой тропе. Высоко над их головами все так же раздавались вздохи и скрипы и резкие крики животных. Бабочки по-прежнему кружили в солнечных просветах. Сначала Теренс был уверен, что знает, куда идти, но через некоторое время он засомневался. Пришлось остановиться и подумать, а потом вернуться и начать сначала — хотя он точно знал, с какой стороны река, у него не было уверенности, где то место, в котором они оставили своих спутников. Рэчел шла за ним, останавливалась там же, где он, поворачивала вместе с ним, не задумываясь, куда они идут, почему он останавливается и поворачивает.

— Не хотелось бы опоздать, — сказал Теренс, — потому что... — Он вложил ей в руку цветок, и ее пальцы покорно сомкнулись на нем. — Мы так опаздываем, так опаздываем, так ужасно опаздываем, — повторял он, будто во сне. — А, вот. Повернем здесь.

Они опять очутились на широкой тропе, похожей на просеку в английском лесу, по которой они ушли от остальных. Они брели молча, как соннамбулы, время от времени странно ощущая тяжесть своих тел. Вдруг Рэчел вскрикнула:

— Хелен!

В просвете на краю леса они увидели Хелен, по-прежнему сидевшую на стволе; в солнечных лучах ее платье казалось ярко-белым; рядом с ней Хёрст все так же полулежал, опершись на локоть. Теренс и Рэчел инстинктивно остановились. Они не могли продолжать в том же духе на виду у других людей. Минуту или две они молча стояли, держась за руки. Присутствие других людей было невыносимо.

— Но мы должны идти, — наконец настояла Рэчел странным глухим голосом — оба они все это время говорили такими голосами, — и, сделав огромное усилие, они заставили себя преодолеть небольшое расстояние, которое отделяло их от пары, сидевшей на стволе.

Когда они были уже близко, Хелен обернулась и посмотрела на них. Некоторое время она ничего не говорила, а когда они подошли совсем близко, спокойно спросила:

— Вы не встретили мистера Флашинга? Он пошел искать вас. Решил, что вы заблудились, хотя я говорила ему, что вы не заблудились.

Хёрст полуобернулся и, откинув голову, посмотрел на ветви, скрещенные над ним.

— Ну, дело стоило усилий? — спросил он сонно.

Хьюит сел на траву рядом с ним и начал обмахиваться.

— Жарко, — сказал он.

Рэчел присела около Хелен на кончике ствола.

— Очень жарко, — сказала она.

— Вид у вас измученный, — сказал Хёрст.

— Там среди деревьев страшная духота, — заметила Хелен, подбирая книгу и вытряхивая сухие травинки, которые набились между страницами. Затем все погрузились в молчание и стали смотреть на реку, которая текла перед ними за стволами деревьев, пока мистер Флашинг не прервал это созерцание. Он вышел из леса на сто ярдов левее и пронзительно крикнул:

— А, так вы все-таки нашли дорогу! Но уже поздно — гораздо позже, чем мы договаривались, Хьюит.

Он был слегка раздосадован, а как руководитель экспедиции склонялся к некоторому деспотизму. Говорил он быстро, подбирая непривычно резкие, малозначащие слова:

— Обычно опоздание, конечно, не имеет значения, но когда все должно идти по плану...

Он собрал их вместе и повел к берегу, где ждала лодка, которая должна была доставить их на пароход.

Дневная жара начала спадать, и за чаем Флашинги вновь стали общительными. Когда Теренс слушал их, ему казалось, что теперь жизнь течет на двух разных уровнях. Вот Флашинги, они разговаривают — где-то высоко над ним, а он и Рэчел вместе опустились на дно мира. Но миссис Флашинг, наряду с детской непосредственностью, обладала неким инстинктом, который позволяет ребенку угадывать то, что взрослые предпочитают скрывать. Она уставилась на Теренса своими живыми голубыми глазами и обратилась лично к нему. Как бы он поступил, желала она знать, если бы судно налетело на камни и затонуло.

— Вас беспокоило бы что-либо, кроме собственного спасения? А меня? Нет, нет, — она засмеялась, — ни в малейшей степени, и не убеждайте! Есть лишь два существа, за которых беспокоится рядовая женщина: ее ребенок и ее собака, а у мужчин и двух, боюсь, не наберется. О любви много пишут — оттого поэзия так скучна. Но что в реальной жизни, а? Любви нет! — воскликнула она.

Теренс пробормотал что-то нечленораздельное. Мистер Флашинг, однако, вернулся к своей благовоспитанности. Он закурил сигарету и решил ответить жене.

— Не забывай, Элис, — сказал он, — что твоё воспитание было весьма неестественным — необычным, лучше сказать. У них не было матери, — объяснил он, немного убавив официальности в своем голосе. — А их отец... Он был приятнейшим человеком, несомненно, но заботили его только скаковые лошади и греческие статуи. Расскажи им о ванне, Элис.

— Она была в конюшне, — сказала миссис Флашинг. — Зимой — покрытая льдом. Нам приходилось залезать, иначе нас били кнутом. Сильные выжили, остальные умерли. То, что называется выживанием самых приспособленных, — превосходнейший метод, скажу я, когда у вас тринадцать детей.

— И все это — в сердце Англии, в девятнадцатом веке! — воскликнул мистер Флашинг, поворачиваясь к Хелен.

— Будь у меня дети, я обращалась бы с ними точно так же, — сказала миссис Флашинг.

Каждое слово звучало в ушах Теренса вполне отчетливо; но что они говорили, с кем беседовали и кто они были, эти фантастические люди, пребывавшие где-то далеко наверху? Выпив чай, они встали и облокотились на леер на носу парохода. Солнце садилось, вода потемнела и стала бордовой. Река опять расширилась, судно шло мимо островка, торчавшего клином посреди течения. Две большие белые птицы с красным отливом стояли там на своих ходулевидных ногах, на берегу островка не было видно никаких следов, кроме геометрических отпечатков птичьих лап. Ветви прибрежных деревьев казались еще более искривленными и угловатыми, чем обычно, а зелень листьев пылала и лучилась золотыми бликами. Теперь заговорил Хёрст.

— Создается ужасно странное ощущение, вы не находите? — пожаловался он. — Эти деревья действуют на нервы, безумие какое-то. Бог, несомненно, сумасшедший. Разве кто-нибудь в здравом уме мог бы придумать такую глушь, да еще населенную обезьянами и аллигаторами? Я потерял бы разум, если бы жил здесь, — точно, сошел бы с ума.

Теренс попытался ответить ему, но его опередила миссис Эмброуз. Она призвала Хёрста видеть главное — удивительные цвета, очертания деревьев. Она как будто оберегала Теренса, не давая другим приближаться к нему.

— Да, — сказал мистер Флашинг. — И по моему мнению, — продолжил он, — отсутствие населения, на которое пеняет Хёрст, — это весьма важный компонент. Вы должны признать, Хёрст, что какой-нибудь итальянский городишко только опошил бы весь пейзаж, уменьшил бы грандиозность, ощущение стихийного величия. — Он взмахнул рукой в сторону леса и помолчал, глядя на мощную зеленую массу, постепенно погружавшуюся в тишину. — Согласен, мы на этом фоне кажемся очень маленькими — мы, но не они. — Он кивнул на матроса, который перегнулся через борт и плевал в реку. — И это, думаю, и есть то, что моя жена считает природным превосходством крестьянина...

Пользуясь тем, что мистер Флашинг продолжал говорить, мягко урезонивая и убеждая Сент-Джона, Теренс отвел Рэчел в сторону, для предлога указав на огромный узловатый древесный ствол, который упал и наполовину лежал в воде. Так или иначе, Теренс хотел быть рядом с ней, но обнаружил, что ничего не может сказать. Они слышали, что мистер Флашинг продолжал разглагольствовать — то о своей жене, то об искусстве, то о будущем страны, — маленькие бессмысленные слова парили высоко в воздухе. Стало холодать, и Флашинг с Хёрстом начали прогуливаться по палубе. Обрывки их беседы звучали ясно, когда они проходили мимо: искусство, истина, чувства, реальность...

— Это правда или сон? — прошептала Рэчел, когда они ушли.

— Правда, правда, — ответил Теренс.

Но ветер посвежел, и желание двигаться возникло у всех. Когда компания опять устроилась под пледами и накидками, Теренс и Рэчел оказались на противоположных сторонах круга и не могли разговаривать друг с другом. Но спустилась тьма, чужие слова съежились и разлетелись, как пепел сгоревшей бумаги, оставив их сидеть в полной тишине на дне мира. Иногда их охватывал трепет ни с чем не сравнимой радости, а потом к ним опять возвращался покой.

Глава 21



Благодаря дисциплине, установленной мистером Флашингом, отрезки реки преодолевались в запланированное время, и, когда на следующее утро стулья были опять расставлены полукругом на носу, лишь несколько миль отделяли пароходик от местного поселения, которое было конечной точкой путешествия. Усевшись, мистер Флашинг посоветовал всем внимательно смотреть на левый берег, где вскоре должен был появиться расчищенный участок с хижиной, в которой Маккензи [63], знаменитый первопроходец, умер от лихорадки десять лет тому назад, не дойдя совсем немного до цивилизации; Маккензи, повторил он, человек, дальше которого в глубь континента не проник до сих пор никто. Все послушно обратили глаза в ту сторону. Глаза Рэчел не видели ничего. Конечно, мимо них проплывали желтые и зеленые формы, но Рэчел сознавала только, что одна форма больше, а другая меньше, не отдавая себе отчета в том, что это деревья. Указания смотреть туда или сюда досаждали ей, как человеку, погруженному в свои мысли, досаждает любое вмешательство, хотя она ни о чем определенном не думала. Ее раздражало все, что говорилось, все бесцельные движения человеческих тел словно мешали ей и не давали говорить с Теренсом. Очень скоро Хелен заметила, что Рэчел угрюмо смотрит на канатную бухту, не делая никакого усилия, чтобы слушать. Мистер Флашинг и Сент-Джон завели довольно продолжительную беседу о будущем этой страны с политической точки зрения и о том, до какой степени она уже исследована; остальные, вытянув ноги или подперев подбородки руками, созерцали в молчании.

Хелен смотрела и слушала вполне покорно, однако в душе ее возникло беспокойство, которое она пока ничем определенным объяснить не могла. Взирая на берег, как велел мистер Флашинг, она думала, что здесь очень красиво, но слишком душно и тревожно. Ей не нравилось быть во власти непонятных чувств, а она, чем дальше пароходик скользил под горячим утренним солнцем, ощущала все большее волнение. Была ли причина в том, что ее окружал незнакомый лес, или в чем-то менее конкретном, она не могла разобраться. Ее мысли покинули настоящее, теперь она тревожилась за Ридли, за детей и размышляла на более отвлеченные темы, такие, как старость, бедность и смерть. Хёрст тоже был подавлен. Он ждал экспедиции как праздника, потому что, думал он, стоит только вырваться из гостиницы, обязательно произойдет нечто необыкновенное, а вместо этого не происходило ничего: тот же комфорт, те же рамки, та же скованность, что и обычно. Конечно, так всегда бывает, если чего-то ждешь с нетерпением — разочарование неминуемо. Хёрст винил Уилфреда Флашинга с его безупречными нарядами и официальными манерами, винил Хьюита и Рэчел. Почему они не разговаривают? Он посмотрел на них, сидевших в молчании, погруженных в себя, и вид их вызвал у него досаду. Он подозревал, что они помолвлены или недалеки от этого, но в этом не было ничего романтического, радостного — такая же скука, как во всем остальном. Мысль о том, что они влюблены, тоже вызывала у него досаду. Он подвинулся поближе к Хелен и начал рассказывать, как плохо ему было ночью: он лежал на палубе, мучаясь то от жары, то от холода, и звезды были так ярки, что он не мог заснуть. Всю ночь он пролежал без сна, напряженно думая, а когда стало достаточно светло, написал еще двадцать строк своей поэмы о Боге, и самое ужасное — практически доказал факт Его существования. Хёрсту было невдомек, что он надоел ей, и он принялся рассуждать — если Бог действительно существует, то каков он?

— Бородатый старик в длинном синем халате, брюзгливый и сварливый, наверное? Вы не подскажете рифму? Бог, рог, сапог — эти все уже использованы, других нет?

Хотя он говорил не больше, чем обычно, Хелен могла бы заметить, если бы захотела, что он

тоже раздражен и встревожен. Но ей не пришлось отвечать, потому что мистер Флашинг воскликнул:

— Вон она!

Все посмотрели на хижину на берегу. Это было заброшенное строение с большой дырой в крыше, земля вокруг была желтой, на ней виднелись старые раны кострищ и ржавые пустые жестянки.

— Здесь нашли его тело? — взволнованно спросила миссис Флашинг, подаваясь вперед от желания разглядеть место, где умер путешественник.

— Здесь нашли его тело, шкуры животных и дневник, — ответил ее муж. Но судно вскоре унесло их дальше, и хижина пропала из виду.

Было так жарко, что они почти не двигались, разве что для того, чтобы поменять положение ног или зажечь спичку. Их глаза, сосредоточенно смотревшие на берег, были полны все тех же зеленых отражений, а губы — слегка поджаты, будто проплывавшие мимо виды пробуждали какие-то мысли, и только губы Хёрста время от времени шевелились, когда он полуосознанно искал рифму к слову «Бог». О чем бы ни думали остальные, довольно долго никто ничего не говорил. Они так привыкли к стенам зарослей по обе стороны, что встрепенулись, когда просвет внезапно расширился и деревья кончились.

— Почти как в английском парке, — сказал мистер Флашинг.

Действительно, перемена была разительна. На обоих берегах реки лежали открытые луга, поросшие травой, вершины холмиков были украшены изящными деревьями, явно кем-то посаженными, поскольку изысканность и упорядоченность пейзажа свидетельствовали о человеческой заботе. Сколько хватал глаз, луга поднимались и опускались с размеренностью английского парка. Путешественники встали и облокотились на леер.

— Вылитый Арундель или Виндзор [\[64\]](#), — продолжил мистер Флашинг, — если не считать вон тот куст с желтыми цветами. Господи Боже, посмотрите!

Ряд бурых спин задержался на мгновение, а потом запрыгал, как будто по волнам, и пропал из виду.

В первый момент никто не поверил, что они действительно видели живых зверей на воле — это было стадо диких оленей, — и зрелище вызвало детскую радость, которая развеяла мрачное настроение.

— Я в жизни не видел никого крупнее зайца! — воскликнул Хёрст с искренним восторгом. — Какой же я осел, что не взял свой «Кодак»!

Вскоре после этого пароходик замедлил ход и остановился, а капитан сказал мистеру Флашингу, что пассажирам было бы приятно совершить прогулку по берегу; если они предпочтут вернуться через час, он доставит их в деревню, а если им угодно пройтись — осталась всего миля-другая, — то он будет ждать их у пристани.

Дело было решено, их опять высадили на берег, а матросы, достав изюм и табак и облокотившись на леер, стали наблюдать, как шестеро англичан, чьи костюмы и платья выглядели так странно на фоне зелени, побрали прочь. Матросы расхохотались какой-то шутке — вряд ли весьма приличной, — а затем отвернулись и вольготно разлеглись на палубе.

Сойдя на землю, Теренс и Рэчел сразу же пошли вместе, чуть впереди от остальных.

— Слава Богу! — воскликнул Теренс, глубоко вздохнув. — Наконец-то мы одни.

— Мы пойдем впереди и сможем поговорить, — сказала Рэчел.

Но хотя несколько ярдов, отделявшие их от всех, позволяли им говорить друг другу что угодно, оба молчали.

— Ты любишь меня? — наконец спросил Теренс, делая мучительное усилие, чтобы прервать тишину. И говорить, и молчать было одинаково трудно, поскольку в молчании они

остро ощущали присутствие друг друга, но все слова казались либо слишком банальными, либо слишком значительными.

Рэчел пробормотала что-то нечленораздельное, закончив вопросом:

— А ты?

— Да, да, — ответил он; но сказать надо было так много, и теперь, наедине, казалось необходимым сблизиться еще больше и преодолеть барьер, который вырос после их последнего разговора. Это было трудно, даже страшно и вызывало непривычную неловкость. То все представлялось ему вполне ясно, то он опять терялся.

— Начну сначала, — сказал он решительно. — Расскажу тебе то, что должен был рассказать раньше. Во-первых, я никогда еще не любил женщин, но женщины у меня были. Потом, у меня есть большие недостатки. Я очень ленив, я человек настроения... — Он настоял, несмотря на ее протестующее восклицание: — Ты должна знать о моих худших качествах. Я сластолюбив. Меня одолевает ощущение бесполезности, никчемности... Наверное, я вообще не должен был просить твоей руки. Во мне есть снобизм, я щеславен...

— Наши недостатки! — вскрикнула Рэчел. — Какое они имеют значение! — А потом спросила: — Я люблю? Это и есть любовь? Мы должны пожениться?

Очарованный ее голосом, самим ее присутствием, Теренс воскликнул:

— Ах, Рэчел, ты свободна! Тебя не изменит ни время, ни брак, ни...

Голоса остальных продолжали звучать за ними, то ближе, то дальше, и особенно выделялся смех миссис Флашинг.

— Брак? — повторила Рэчел.

Им в спину опять начали кричать, предупреждая, что они слишком отклонились влево. Скорректировав направление, Теренс продолжил:

— Да, брак.

Ощущение, что они не смогут соединиться, пока она не узнает о нем все, заставило его опять пуститься в объяснения:

— Все, что во мне есть плохого, с чем мне приходилось мириться — за неимением лучшего...

Рэчел что-то прошептала о своей жизни, но не смогла описать, какой она видится ей сейчас.

— И одиночество! — продолжал он. Он представил, как вместе с ней идет по лондонским улицам. — Мы будем вместе гулять, — сказал он. Простота этой перспективы сняла напряжение, и они впервые рассмеялись. Они были бы рады взяться за руки, но их еще не оставило смущение перед глазами, уставившимися на них сзади.

— Книги, люди, места... Миссис Нэтт, Грили, Хатчинсон, — бормотал Хьюит.

С каждым словом понемногу рассеивался таинственный туман, окутывавший их в глазах друг друга, отчего их общение становилось все более естественным. Сквозь знойный южный пейзаж все казалось им яснее и более живо, чем раньше. Как в тот раз, когда Рэчел сидела у окна гостиницы, она увидела весь мир где-то внизу и в истинном свете. Время от времени она с любопытством смотрела на Теренса, разглядывала его большой серый пиджак и лиловый галстук, разглядывала мужчину, с которым ей предстояло провести всю жизнь.

После одного из таких взглядов она тихо проговорила:

— Да, я люблю. Нет сомнений, я люблю тебя.

И все же между ними еще оставалась какая-то неловкая отдаленность; когда она говорила, казалось, они уже очень близки, их ничто не разделяет, а в следующее мгновение они опять расходились врозь, далеко-далеко друг от друга. Остро ощущив это, она воскликнула:

— Мы будемссориться! — Но, посмотрев на него, она почувствовала — по форме его глаз,

по складочкам у рта и другим характерным чертам, — как он ей по душе, и добавила: — Когда я хочу ссориться, ты все понимаешь. Ты тоныше, чем я, намного тоныше.

Он ответил на ее взгляд улыбкой, замечая в ней, почти как она — в нем, мельчайшие черточки, вызывавшие у него пронзительную нежность. Она принадлежит ему — навсегда. Барьер преодолен, и теперь их ждут неисчислимые радости.

— Я не тоныше, — сказал он. — Просто я старше, ленивее; и я мужчина.

— Мужчина, — повторила она и, охваченная новым чувством обладания, вдруг поняла, что может дотронуться до него. Она протянула руку и легко прикоснулась к его щеке. Он потрогал пальцами то место, где побывали ее пальцы, и прикосновение к собственному лицу опять вернуло непреодолимое ощущение нереальности. Его тело нереально, весь мир нереален.

— Что случилось? — начал он. — Почему я сделал тебе предложение? Как это произошло?

— А ты сделал мне предложение? — удивилась Рэчел. Они как будто потеряли друг друга из виду и не могли вспомнить, что было уже сказано.

— Мы сидели на земле, — сказал он.

— Мы сидели на земле, — подтвердила она. Одно воспоминание о том, как они сидели на земле, опять объединило их, они пошли дальше молча, при этом сознание каждого работало с трудом, а то и вовсе переставало работать, и тогда окружающий мир воспринимали только их глаза. Он снова попытался рассказать ей о своих недостатках и почему он ее любит; а она стала описывать, что чувствовала в те или иные моменты, и они старались вместе истолковать ее чувства. Их голоса звучали так прекрасно, что постепенно они перестали вникать в смысл фраз. Слова разделялись длинными паузами, но теперь это были не паузы смущения и внутренней борьбы, а освежающие промежутки тишины, во время которых обыденные мысли текли легко и свободно. Рэчел и Хьюитт начали говорить естественно о самых обычных предметах, о деревьях и цветах: «Смотри, вон там, какие красные, точно как садовые цветы у нас дома» и: «А вон кривая ветка, как скрюченная рука старика».

Исподволь, очень спокойно, как будто внимая току крови в своих жилах или журчанию воды на камнях, Рэчел осознавала в себе новое чувство. Она недолго гадала, что это такое, а потом сказала сама себе, удивившись тому, что обнаружила в себе нечто столь известное:

— Это счастье, наверное, — и повторила громко Теренсу: — Это счастье.

Не успела она умолкнуть, как он произнес:

— Это счастье, — отчего они решили, что у них одновременно возникло одно и то же чувство. И они стали описывать друг другу, какие чувства вызывает у них то и это, как все вроде бы осталось прежним, но и как изменилось — потому что изменились они сами.

Голоса, раздававшиеся за ними, не могли проникнуть сквозь воды, в которые они погрузились. Много раз повторенное, имя Хьюита распалось на короткие слоги и звучало в их ушах как треск сухой ветки или птичий хохот. Вокруг них шептали и бормотали травы и ветерки, и они не замечали, что шелест травы становился все громче и громче и не затихал, когда прерывался ветер. Внезапно рука, тяжелая, будто железная, упала на плечо Рэчел; это могла быть и молния небесная. Рэчел упала, трава хлестнула ее по глазам, набилась в рот и в уши. Сквозь трепещущие стебельки она увидела фигуру, большую и бесформенную на фоне неба. Над ней стояла Хелен. Катаясь по земле, видя то одни зеленые заросли, то высокое голубое небо, Рэчел потеряла дар речи и почти лишилась чувств. Наконец она замерла, но дышала часто и тяжело, отчего сотрясались все травы вокруг нее и перед ней. А над ней маячили две огромные головы — мужчины и женщины, Теренса и Хелен.

Оба раскраснелись, оба хохотали, их губы двигались; они встретились и поцеловались в воздухе над Рэчел. До нее, лежавшей внизу, долетали отдельные слова. Ей показалось, что они говорят о любви, а потом — о браке. Она села и почувствовала рядом мягкое тело Хелен,

сильные и добрые руки, и счастье опять поднялось и схлынуло последней высокой волной. Когда все улеглось, травы успокоились, небо опять стало горизонтальным, земля со всех сторон плоской, а деревья выпрямились, она первая заметила нескольких человек, терпеливо стоявших поодаль в ряд. В первый момент она не могла понять, кто они такие.

— Кто это? — спросила она и тут же вспомнила.

Они шли вереницей за мистером Флашингом, и Рэчел старалась сохранять не меньше трех ярдов между краешком своей юбки и подошвами его ботинок.

Он вел их по зеленой лужайке вдоль берега реки, а потом через рощу, обращая их внимание на знаки человеческого присутствия — на почерневшую траву, обугленные пни, на видневшиеся за стволами странные деревянные гнезда, сбившиеся полукругом там, где деревья расступались, — это и была деревня, цель путешествия.

Осторожно выходя из рощи, они смотрели на треугольные фигуры женщин, сидевших на корточках на земле и двигавших руками, — одни плели из соломы, другие что-то растирали в мисках. Поначалу туземцы их не замечали, а когда увидели, мистер Флашинг вышел в центр поляны и заговорил с худым величавым мужчиной — по сравнению с его рельефными формами тела англичан сразу стали выглядеть уродливо и неестественно. Женщины никак не отреагировали на пришельцев, только руки их замерли на мгновение, а узкие удлиненные глаза скользнули в сторону и остановили на них неподвижный и безразличный взгляд — так смотрят друг на друга люди настолько далекие, что никакие слова не способны перекинуть между ними мост. Руки вновь задвигались, но глаза не опустились. Они следили за англичанами все время, что те ходили по деревне и заглядывали в хижины, в которых можно было различить ружья, стоящие в углу, миски на полу, кучи тростника и глаза младенцев и старух, смотревшие на них из полутьмы. И когда они бродили вокруг, пристальный взгляд не оставлял их, ощупывал их ноги, тела, головы, любопытный, но не лишенный враждебности; он ползал по ним, как зимняя муха. И когда одна из женщин распахнула свою одежду, чтобы обнажить грудь и сунуть ее в рот ребенку, глаза ее не отрывались от их лиц, хотя им было неволовко двигаться под ее взглядом, и они наконец отвернулись, не в силах больше стоять и смотреть на нее. Когда путешественникам предложили сладости, они протянули свои большие красные руки, чтобы взять их, и почувствовали, что рядом с этими мягкими, естественными людьми они неуклюжи, как солдаты, затянутые в тесные мундиры. Но вскоре деревня перестала обращать на них внимание, ее жизнь поглотила их. Руки женщин опять занялись плетением, их глаза опустились. Если они вставали, то лишь для того, чтобы принести что-нибудь из хижины, или поймать расшалившегося ребенка, или пересечь поляну с кувшином на голове, а если говорили, то лишь резкими нечленораздельными выкриками. Голоса звучали, когда ребенок получал шлепки, а потом затихали опять, голоса звучали в песне, которая то чуть повышалась, то чуть понижалась и вновь возвращалась к одной и той же негромкой печальной ноте. Найдя друг друга, Теренс и Рэчел отошли под дерево. Вид женщин, переставших смотреть на них, сначала был преисполнен покоя и даже красоты, но теперь вызывал ощущение холода и тоски.

— Да, — вздохнул Теренс, — мы кажемся здесь ничтожными, правда?

Рэчел согласилась. И это будет продолжаться бесконечно, сказала она, эти женщины под деревьями, деревья и река. Они отвернулись и пошли среди деревьев, держа друг друга под руку, без страха, что их увидят. Отойдя совсем немного, они опять начали убеждать друг друга в том, что любят, счастливы и довольны жизнью; но почему так больно любить, почему в счастье так много боли?

Вид деревни подействовал на всех, но на каждого по-разному. Сент-Джон, покинув остальных, медленно брел вдоль реки, погруженный в горькие и тосклевые мысли, — он остро ощущал свое одиночество. Хелен стояла одна на залитой солнцем площадке среди туземных

женщин, и ее терзало предчувствие беды. В ее ушах звучали крики бессмысленных тварей, доносившиеся и сверху, и снизу, как будто они карабкались по стволам на верхушки. Какими маленькими кажутся фигурки, блуждающие среди деревьев! Хелен живо представила себе маленькие руки и ноги, тонкие сосуды, нежную плоть мужчин и женщин, которая повреждается и выпускает из себя жизнь так легко — в сравнении с этими огромными деревьями и глубокими водами. Упадет ветка, нога отступится — и земля раздавит их, или вода утопит. Думая так, она следила за влюбленными тревожным взглядом, как будто этим могла защитить их от судьбы. Повернувшись, она увидела рядом Флашингов.

Они обсуждали свои покупки и спорили, действительно ли это старинные вещи и не заметны ли в них признаки европейского влияния. Хелен тоже попросили высказаться. Ее заставили осмотреть брошь, а затем еще пару серег. Все это время она про себя ругала их, что они устроили эту экспедицию, что пришлось так далеко забраться и подвергнуть себя таким опасностям. Затем Хелен встряхнулась и попыталась говорить, но через несколько мгновений в ее сознании возникла картина: в Англии на реке посреди дня переворачивается лодка. Она знала, что это нездоровые фантазии, и все-таки отыскала глазами знакомые фигуры среди деревьев и после этого смотрела на них уже не отрываясь, чтобы уберечь их от беды.

Но когда солнце село и пароход, развернувшись, начал обратный путь к цивилизации, все тревоги Хелен улеглись. В полутьме стулья на палубе и люди на стульях выглядели, как угловатые формы; огненная точка сигареты отмечала рот, а двигаясь вверх и вниз — руку. Слова улетали в темноту и оседали неизвестно где, поэтому в них не вкладывалось особенной энергии и содержания. Глубокие вздохи, хотя и подавляемые до некоторой степени, регулярно раздавались со стороны белой возвышенности, представлявшей собой миссис Флашинг. Позади был длинный и очень жаркий день, а теперь все цвета утонули во мраке, и прохладный ночной воздух будто мягкими пальцами давил на веки, тянул их вниз. Какое-то философское замечание, адресованное, по-видимому, Сент-Джону Хёрсту, не достигло цели и висело в воздухе, пока зевок не поглотил его и не отправил таким образом в небытие; это сочли сигналом к тому, чтобы зашевелиться и вполголоса заговорить о сне. Белая возвышенность завибрировала, вытянулась и пропала, затем, сделав несколько шагов и поворотов, удалились Сент-Джон и мистер Флашинг, оставив три безмолвные фигуры на трех стульях. В свете фонаря, висевшего высоко на мачте, и белесого от звезд неба они представляли собой лишь силуэты без черт и деталей; но даже в такой темноте после ухода остальных они почувствовали особую близость друг к другу, ибо думали об одном и том же. Некоторое время они молчали, а потом Хелен спросила со вздохом:

— Итак, вы оба счастливы?

Как будто промытый воздухом, ее голос звучал одухотвореннее и мягче, чем обычно. Два голоса совсем рядом ответили ей:

— Да.

Она смотрела на них, пытаясь сквозь мрак разглядеть Хьюита. Что она должна сказать? Рэчел вышла из-под ее опеки. Голос может достигнуть ее ушей, но уже никогда не проникнет так глубоко, как проникал еще сутки назад. Тем не менее до отхода ко сну ей полагалось произнести речь. Она хотела говорить, но почему-то чувствовала себя старой и подавленной.

— Вы понимаете, что делаете? — спросила она. — Она молода, вы оба молоды, а брак... — Тут она умолкла. Однако они с таким пылом стали умолять, чтобы она продолжала, как будто единственное, чего им не хватало, — это ее совет; и она добавила: — Брак! Что ж, это не просто.

— Об этом мы и хотим узнать, — сказали они, и Хелен подумала, что они, наверное, сейчас смотрят друг на друга.

— Это зависит от вас обоих, — веско произнесла она. Ее лицо было обращено к Теренсу; он почти не видел ее, но понял, что эти слова выразили искреннее желание узнать о нем побольше. Он сел прямо, поскольку до этого полулежал, и начал рассказывать все, что могло быть ей интересно. Он говорил как можно непринужденнее, стараясь развеять ее уныние.

— Мне двадцать семь лет, мой доход около семи сотен в год. Характер у меня в целом неплохой, здоровье отличное, хотя Хёрст и отмечает некоторую склонность к подагре. Полагаю, что я весьма умен. — Он сделал паузу, как будто ожидая подтверждения.

Хелен согласилась.

— Хотя, к несчастью, довольно ленив. Если Рэчел собирается быть глупой, я не намерен ей препятствовать... Как по-вашему, а в других отношениях я в целом приемлем? — робко спросил он.

— Да, то, что я знаю о вас, мне нравится, — ответила Хелен. — Однако — мы знаем так мало...

— Мы будем жить в Лондоне, — продолжил Теренс. — И... — Вдруг они с Рэчел в один голос стали спрашивать у Хелен: разве они не самые счастливые люди из всех, кого она знает?

— Тихо! — оборвала она их. — Миссис Флашинг, не забывайте. Она за нами.

Последовало молчание, и Рэчел с Теренсом почувствовали, что их счастье вызывает у нее печаль. Хотя их так и подмывало говорить о себе, они предпочли воздержаться.

— Мы слишком много говорим о себе, — сказал Теренс. — Расскажите нам...

— Да, расскажи нам, — эхом отозвалась Рэчел. Оба были в том настроении, когда кажется, будто всякий способен сказать нечто очень значительное. Хелен заставила себя говорить.

— В конце концов, хотя я порицаю Рэчел, сама я не намного умудреннее. Я старше, конечно, у меня полжизни позади, а вы только начинаете. Это озадачивает; иногда, пожалуй, и разочаровывает; хорошие стороны, наверное, не так хороши, как ожидаешь, но это интересно — да-да, вы, безусловно, найдете это интересным. Жизнь идет, — они заметили, что Хелен смотрит на череду темных деревьев, проплывавшую мимо, — в ней бывают радости — там, где их не ожидаешь (ты должна написать отцу), — и вы будете очень счастливы, я не сомневаюсь. Но мне пора идти спать, и если вы благоразумны, то пойдете тоже через десять минут. Ну, — поднявшись, она стояла перед ними, почти безликая и очень большая, — спокойной ночи, — сказала она и отошла за темную завесу.

Присидев в молчании большую часть из отведенных им десяти минут, они встали и облокотились на леер. Внизу очень быстро и бесшумно скользила гладкая черная вода. Уголек сигареты исчез позади.

— Красивый голос, — прошептал Теренс.

Рэчел согласилась. У Хелен был красивый голос.

После паузы она спросила, глядя в небо:

— Мы правда на палубе парохода, идущего по реке в Южной Америке? И я Рэчел, а ты — Теренс?

Вокруг них лежал огромный черный мир. Мягко несомые сквозь него, они ощущали его плотность и долговечность. Они могли различить, что у одних деревьев верхушки острые, а у других — закругленные. Подняв глаза выше деревьев, они стали смотреть на звезды и бледную границу, отделявшую небо от леса. Бесконечно далекие точки ледяного света приковали их взгляды, и им показалось, что ониостояли так очень долго и преодолели огромное расстояние, пока опять не почувствовали, что их руки сжимают леер, а тела, отдельные друг от друга, находятся рядом.

— Ты совершенно забыла обо мне, — сказал Теренс с упреком, беря Рэчел за руку, когда они пошли по палубе. — А я о тебе никогда не забываю.

— О нет, — прошептала она, она не забыла, только звезды... ночь... темнота...

— Ты как сонная птичка в гнезде, Рэчел. Ты спиши. Ты говоришь во сне.

В полуодрёме, бормоча обрывки слов, они стояли в углу, образованном носом парохода. Он скользил по реке. Они слышали, как на мостице звякнул колокол, как плещется вода, проносясь по обе стороны, как испуганная во сне птица встрепенулась, крикнула и перелетела на соседнее дерево, и опять стало тихо. Тьма лилась на них могучим потоком, и они уже не ощущали ничего, только то, что они стоят рядом во тьме.

Глава 22

Тьма опустилась, но опять поднялась, и с каждым днем, раскидывавшимся над землей и отделявшим их от того странного дня в лесу, когда им пришлось признаться в своих желаниях, эти желания становились известны всем новым людям, а их самих они тем временем стали немного удивлять. В случившемся, по-видимому, не было ничего необычного; дело состояло в том, что они превратились в помолвленную пару, которая должна пожениться. Окружающий мир, представленный в основном гостиницей и виллой, в целом радовался, что два человека сочетаются браком, и давал им понять, что они не обязаны участвовать в работе, необходимой для поддержания порядка вещей, могут на время отлучиться. Поэтому их оставили в покое, и они почувствовали, как их окружила тишина, точно дети, игравшие в гулкой церкви, дверь в которую кто-то за ними закрыл. Теперь они гуляли вдвоем, сидели наедине, посещали заветные уголки, где никто никогда не собирал цветы и деревья стояли в одиночестве. Наедине они могли делиться друг с другом прекрасными, но такими значительными желаниями, что их было неловко выражать в присутствии других мужчин и женщин. Это были мечты о мире — их собственный мир, состоявший из них двоих, казался именно таким, — в котором люди знают друг друга очень близко, судят друг о друге только по достоинствам и никогда не ссорятся, потому что ссоры — это потеря времени.

Они говорили на подобные темы среди книг, или под солнцем, или сидя в тени дерева, никем не тревожимые. Они больше не смущались, у них не перехватывало дух, когда что-то было невозможно выразить словами; они не боялись друг друга и не походили уже на путешественников на извилистой реке, которых ослепляют внезапные красоты за каждым поворотом. Случилось неожиданное, но даже обычное было очень мило и во многих отношениях предпочтительнее, чем восторг и таинственность, — потому что в обычном чувствовалась живительная цельность, и оно требовало усилий, но усилия в таких обстоятельствах были не трудны, а приятны.

Пока Рэчел играла на рояле, Теренс сидел рядом и — судя по тому, что время от времени он записывал карандашом слово-другое, — осмысливал картину мира в свете их с Рэчел предстоящего брака. Картина эта, безусловно, изменилась. Книга, озаглавленная «Молчание», теперь должна была стать иной, чем задумывалось сначала. Потом Теренс откладывал карандаш и смотрел перед собой, думая о том, что именно изменилось в мире: в нем, вероятно, прибавилось основательности, он стал более цельным, значительным и более глубоким. Порой даже земля казалась Теренсу очень глубокой, и города и горы были не вырезаны в ней, а нагромождены глыбами. Он смотрел в окно по десять минут кряду — но нет, мир без людей его не трогал. Людей он любил и подозревал, что любит их больше, чем их любила Рэчел. Она раскачивалась, воодушевленная своей музыкой, совершенно забыв о нем, — но и это качество ему в ней нравилось. Ему была по душе ее отрешенность. Наконец, записав несколько коротких фраз, оканчивавшихся вопросительными знаками, он сказал:

— «Женщины»... Под заголовком «Женщины» я написал: «На самом деле — не более суетны, чем мужчины. Отсутствие уверенности в себе — в основе самых серьезных недостатков. Неприязнь к своему полу — традиционна или вытекает из фактов? Женщина не столь склонна к забаве [\[65\]](#), сколь оптимистична, потому что не размышляет». Что скажешь, Рэчел? — Он замолчал с карандашом в руке и листком бумаги на колене.

Рэчел не сказала ничего. Она взбиралась все выше и выше по крутой спирали поздней бетховенской сонаты, как будто шла вверх по полуразрушенной лестнице — сначала энергично, а потом — переставляя ноги все с большим трудом, пока наконец дальше подниматься стало

невозможно, и она сбежала вниз, чтобы начать восхождение сначала.

— «Опять же, теперь модно говорить, что женщины более практичны и менее склонны к идеализму, чем мужчины, и что у них развиты организаторские способности, но нет чувства чести...» Вопрос в том, что значит этот мужской термин — честь. Чему он соответствует в женском сознании? А?

Штурмую свою лестницу еще раз, Рэчел пренебрегла возможностью раскрыть тайны своего пола. Впрочем, она накопила уже достаточно мудрости, чтобы не тревожить эти тайны: лучше оставить их философский разбор грядущим поколениям.

Наконец, сыграв левой рукой громоподобный финальный аккорд и повернувшись к Теренсу, Рэчел воскликнула:

— Нет, Теренс, это никуда не годится! Я, лучший музыкант в Южной Америке, не говоря уж о Европе и Азии, не могу и ноты сыграть из-за того, что ты отвлекаешь меня каждую секунду.

— Ты, похоже, не понимаешь, что именно это я и пытаюсь сделать последние полчаса, — заметил он. — Против милых простых мелодий я ничего не имею, они даже очень помогают мне сочинять, но эта вещь просто напоминает несчастного старого пса, который под дождем ходит кругами на задних лапах.

Теренс начал перебирать разбросанные на столе листки почтовой бумаги с поздравлениями от знакомых.

— «...всевозможные пожелания всевозможного счастья», — прочитал он. — Верно, но не слишком живо, да?

— Эти письма — полная чушь! — воскликнула Рэчел. — Ты только сравни слова с музыкальными звуками! И все эти романы, пьесы, рассказы... — Присев на край стола, она пренебрежительно провела рукой по красным и желтым томам. Ей казалось, что она имеет право презирать все человеческие знания. Теренс тоже посмотрел на книги.

— Господи, Рэчел, конечно, — ты ведь читаешь один вздор! И от времени ты отсталая, дорогая. Теперь такое никто и не думает читать — дряхлые проблемные пьесы, душераздирающие описания жизни в Ист-Энде — нет-нет, мы это все отбросили. Читай стихи, Рэчел, стихи, стихи, стихи!

Выбрав книгу, он начал читать вслух, чтобы высмеять отрывистый и резкий язык автора; но Рэчел не слушала — подумав немного, она воскликнула:

— Тебе никогда не кажется, Теренс, что весь мир состоит из огромных кусков материи, а мы — лишь пятнышки света и больше ничего? — Она посмотрела на расплывчатые солнечные зайчики, дрожавшие на ковре и стенах. — Вроде этих.

— Нет, — сказал Теренс. — Я чувствую себя твердо, очень твердо, как будто ножки моего стула уходят корнями в утробу земли. Но в Кембридже, помню, бывали забавные моменты полузабытья — часов в пять утра. У Хёрста и сейчас это бывает, наверное... Хотя, нет, у Хёрста не бывает.

А Рэчел продолжала:

— Когда принесли твою записку с приглашением на пикник, я сидела там, где ты сейчас, и думала об этом. Интересно, смогу я опять так думать? Интересно, мир изменился? И если да, то когда он перестанет меняться и какой мир настоящий?

— Когда я тебя увидел в первый раз, — начал Теренс, — мне показалось, что ты похожа на существо, всю жизнь прожившее в окружении жемчугов и старости. У тебя были влажные руки, помнишь, и ты ни слова не произнесла, пока я не дал тебе кусок хлеба и не спросил, на что ты смотришь, и тогда ты сказала: «На людей!»

— А ты мне показался... снобом, — вспомнила Рэчел. — Нет, не совсем. Я молчала из-за

муравьев: думала, что ты и Сент-Джон похожи на них — очень большие, очень противные, очень деятельные и как будто тащите на спине все ваши достоинства. Но потом, когда я с тобой поговорила, ты мне понравился...

— Ты влюбилась в меня, — поправил ее Теренс. — Ты все это время была влюблена в меня, только не осознавала этого.

— Нет, я в тебя не влюблялась, — твердо возразила Рэчел.

— Неправда, Рэчел, разве ты не сидела здесь, глядя на мое окно, разве не бродила вокруг гостиницы, как сова на солнце?

— Нет, — повторила она. — Я не влюблялась, если влюбиться значит то, что все говорят, и лгут как раз все, а я говорю правду. Сколько в мире лжи, сколько лжи!

Она скомкала горсть писем — от Эвелин М., от мистера Пеппера, от миссис Торнбери и мисс Аллан и от Сьюзен Уоррингтон. Странно было, как эти столь разные люди поздравляли их с помолвкой в почти одинаковых выражениях.

То, что эти люди когда-либо чувствовали то же, что она, или могли почувствовать, или даже имели право хоть на секунду сделать вид, будто способны это чувствовать, ужасало Рэчел, почти как та церковная служба, как лицо сестры милосердия, — а если они ничего не чувствовали, то зачем притворялись? Юная прямота, высокомерие и резкость Рэчел, которые теперь еще воспламенялись ее любовью к Теренсу, озадачивали его; на него помолвка не оказала такого действия; его мир изменился, но по-другому; он стремился к тому же, к чему и всегда стремился, и особенно — к обществу других людей, вероятно, даже сильнее, чем раньше. Он взял у нее письма и возразил:

— Конечно, они нелепы, Рэчел, конечно, они что-то говорят лишь потому, что все это говорят, и все-таки — что за милая женщина мисс Аллан, ты не можешь этого отрицать, и миссис Торнбери тоже; согласен, у нее слишком много детей, но — пусть полдюжины из ее отпрысков сбились с истинного пути вместо того, чтобы с блеском достигнуть наивысших высот, — разве в ней нет своеобразной прелести, прелести стихийной простоты, как сказал бы Флашинг? Разве не похожа она на большое старое дерево, что-то шепчущее под луной, или на реку, которая все течет и течет? Кстати, Ральфа назначили губернатором островов Кэрроуэй, он самый молодой из всех губернаторов — разве не прекрасно?

Но Рэчел в этот момент не могла понять, что подавляющее большинство дел творится в мире по-прежнему, не связываясь ни единой ниточкой с ее судьбой.

— У меня не будет одиннадцати детей, — заявила она. — И глаза мои не станут, как у старухи. Она оглядывает человека с головы до ног, с головы до ног, как будто это лошадь.

— У нас должен быть сын, и у нас должна быть дочь, — сказал Теренс, кладя письма. — Не считая того бесценного преимущества, что они будут нашими детьми, они еще получат прекрасное образование. — И они начали изобретать программу идеального воспитания. Их дочь обязательно будет с детства смотреть на большой кусок синего картона, который будет способствовать мыслям о вечном, потому что женщины воспитывают слишком практичными; а сына они научат смеяться над большими людьми — то есть над известными, преуспевающими людьми, которые носят орденские ленточки и достигают наивысших высот. Он ни в чем не должен походить (добавила Рэчел) на Сент-Джона Хёрста.

На это Теренс разразился похвалами в адрес Сент-Джона Хёрста. Описывая его достоинства, он и сам поверил в них всерьез: его ум подобен торпеде, заявил Теренс, нацеленной на фальшив. Что бы мы все делали без него и его деяний? Мы задыхались бы среди христиан и ханжей, как злаки в сорняках, — да что там, сама Рэчел была бы рабыней с опахалом, обязанной петь песни, когда мужчин одолевает дремота.

— Но ты никогда этого не поймешь! — воскликнул он. — Потому что при всех твоих

достоинствах, ты безразлична и всегда будешь всеми фибрами души безразлична к поискам истины! Ты не уважаешь факты, Рэчел, ты настоящая женщина.

Она не стала на это возражать и предпочла не приводить неопровергимое доказательство отсутствия тех славных качеств, которыми восторгался Теренс. Сент-Джон сказал, что она любит его; этого она никогда не простит; но такой довод не мог подействовать на мужчину.

— Но я ему симпатизирую, — сказала она, а про себя подумала, что еще ей жаль его, как может быть жаль несчастливца, находящегося вне теплой и таинственной сферы, полной новизны и чудес, внутри которой пребываем мы сами. Она подумала, что быть Сент-Джоном Хёрстом, наверное, очень тоскливо.

В конце концов она выразила свои чувства по отношению к Хёрсту, сказав, что она не поцеловала бы его, если бы он того захотел, хотя это и вряд ли случилось бы.

Как будто в качестве извинения перед Хёрстом за поцелуй, которым Рэчел затем наградила Теренса, он возразил:

— Я-то в сравнении с Хёрстом — совершеннейший простофия.

Часы пробили двенадцать раз вместо одиннадцати.

— Мы транжирим утро — я должен писать книгу, а ты — отвечать на это.

— У нас осталось только двадцать одно утро, — сказала Рэчел. — И отец мой приедет через пару дней.

Однако она взяла перо, подвинула к себе бумагу и начала усердно писать:
«Дорогая Эвелин...»

Теренс тем временем принялся читать чужой роман, поскольку считал это полезным для собственного сочинительства. Довольно долго ничего не было слышно, кроме тиканья часов и порывистого скрипа пера Рэчел, изобретавшей фразы, которые сильно напоминали те, что она только что заклеймила. Она вдруг заметила это, перестала писать и подняла голову. Рэчел посмотрела на Теренса, глубоко сидевшего в кресле, на предметы мебели, на свою кровать в углу, на окно, за которым виднелись ветви дерева, а просветы между ними были заполнены небом, услышала тиканье часов и удивилась, какая пропасть разделяет все это и ее листок бумаги. Настанет ли время, когда мир будет единым и неделимым? Даже взять Теренса — как далеки они могут быть друг от друга, как мало она знает о том, что сейчас делается в его голове! Она дописала предложение, которое было неуклюжим и гадким и сообщало, что «мы оба очень счастливы, собираемся пожениться, наверное, осенью, а жить надеемся в Лондоне, где, надеюсь, вы навестите нас, когда мы вернемся». Подумав, она решила выбрать «с любовью», что было не слишком искренне, подписала письмо и, стиснув зубы, принялась за другое, но тут Теренс стал читать ей из своей книжки:

— Послушай, Рэчел: «Возможно, Хью (это герой, он литератор) в момент женитьбы не больше, чем любой способный юноша с воображением, понимал, что за пропасть отделяет потребности и желания мужчины от потребностей и желаний женщины... Сначала они были очень счастливы. Пешеходная экскурсия по Швейцарии была для обоих временем радостного дружеского общения и волнующих откровений. Бетти оказалась идеальным другом... Они выкрикивали друг другу строки из „Любви в долине“ [66] среди снежных склонов Риффелхорна (и так далее и тому подобное — описания пропускаю)... Но в Лондоне, после рождения мальчика, все изменилось. Бетти была превосходной матерью, но довольно скоро она обнаружила, что материнство — как эта роль понимается обеспеченным классом — не забирало всю ее энергию. Она была молода и сильна, с крепкими руками и ногами, с телом и мозгом, которые настоятельно требовали деятельности... (Короче, она стала устраивать званые чаепития.) Он возвращался домой поздно после замечательной беседы с Бобом Мерфи в его прокуренной, заставленной книгами комнате, где двое мужчин открывали друг другу свои

души. В ушах стоял гул уличного движения, туманное лондонское небо тяжко давило на мозг... он обнаружил, что среди его бумаг набросаны женские шляпки. В передней было много женской одежды и до нелепости маленьких женских туфель и зонтиков... Потом начали приходить счета... Он попытался поговорить с ней откровенно. Она лежала на большой шкуре белого медведя в их спальне, полуодетая, потому что они собирались идти ужинать с Гринами в „Уилтон Крессент“, в красном свете огня, горевшего в камине, мерцали и переливались брильянты на ее обнаженных руках и прелестном изгибе груди — она являла зрелище восхитительной женственности. Он все простил ей. (Дальше идет все хуже и хуже, и наконец страниц через пятьдесят Хью едет на выходные в Суонидж „и разбирается в своих чувствах, бродя по холмам над Корфом“ [\[67\]](#)... Так, эти пятнадцать страниц мы пропустим.) Вывод такой: они были разными людьми. Возможно, в далеком будущем, после того, как многие поколения мужчин будут бороться и потерпят поражение, как сейчас он должен бороться и потерпеть поражение, женщина действительно станет тем, за кого она сейчас себя выдает, — другом и товарищем, а не врагом и паразитом мужчины». Кончается тем, что Хью, бедняга, вернулся к жене. Исполнил долг женатого человека. Господи, Рэчел, — закончил Теренс, — неужели и у нас так будет, когда мы поженимся?

Вместо ответа она спросила:

- Почему люди не пишут о том, что они чувствуют?
- А, в том-то и трудность! — вздохнул Теренс, отбрасывая книжку.
- Как же будет, когда мы поженимся? Что люди действительно чувствуют?

Казалось, Рэчел посетили сомнения.

— Сядь на пол, а я на тебя посмотрю, — повелел Теренс. Положив подбородок на его колено, она взглянула ему в глаза.

Он с любопытством стал рассматривать ее.

— Ты не красавица, — начал он. — Но мне нравится твое лицо. Мне нравится, как твои волосы сходятся книзу. И глаза тоже — они будто никогда ничего не видят. Рот у тебя великоват, и щекам не помешало бы побольше румянца. Но что мне по душе в твоем лице — оно заставляет гадать, о чем же таком ты думаешь? Так и хочется сделать вот так. — Он сжал кулак и тряхнул им так близко от ее лица, что она отпрянула. — Потому что теперь у тебя такой вид, будто ты хочешь пристрелить меня. Бывают минуты, — продолжил он, — когда, если бы мы стояли рядом на скале, ты столкнула бы меня в море.

Завороженная его взглядом, она повторила:

- Если бы мы стояли рядом на скале...

Быть сброшенной в море, чтобы волны кидали ее туда и сюда и носили у основания мира, — эта картина восхитила ее. Она вскочила и начала метаться по комнате, сгибаясь, отталкивая в сторону столы и стулья, борясь с воображаемыми волнами. Теренс наблюдал за ней с удовольствием: она как будто прокладывала себе путь, победно преодолевая препятствия, которые будут мешать им на пути их жизни.

— Похоже, это действительно возможно! — воскликнул он. — Хотя я всегда думал, что это самое невероятное на свете, — я буду любить тебя всю жизнь, наш союз будет неподражаемо восхитителен! Ни секунды мира и покоя! — Он поймал ее, когда она проходила мимо, и они стали бороться за главенство над воображаемой скалой, под которой бушевало воображаемое море. Наконец Рэчел была повергнута на пол и попросила пощады, хватая ртом воздух.

— Я русалка! Я могу уплыть! — крикнула она. — Так что игра окончена.

Ее платье было разорвано поперек, и после того, как был заключен мир, она достала нитку с иголкой и принялась за починку.

— А теперь, — сказала Рэчел, — посиди спокойно и расскажи мне о мире, расскажи обо

всем, что в нем происходило, а я расскажу тебе... Так, о чем я могу рассказать? Я расскажу о мисс Монтгомери и речной прогулке. Представляешь, она оказалась одной ногой в лодке, а другой — на берегу.

Они провели уже много времени, описывая друг другу свое прошлое, характеры своих знакомых и родственников, и очень скоро Теренс знал не только, что тетушки Рэчел сказали бы по каждому случаю, но и как обставлены их спальни и какие они носят чепчики. Он мог поддержать беседу между миссис Хант и Рэчел и весьма правдоподобно изобразить чаепитие с участием его преподобия Уильяма Джонсона и мисс Макквойд, приверженцев Христианской науки [\[68\]](#). Но сам он знал гораздо больше людей и намного лучше владел искусством рассказчика, чем Рэчел, — ее наблюдения в основном были на удивление детскими и комическими, так что ей оставалось, как правило, только слушать и задавать вопросы.

Он рассказывал ей не только о событиях, но и о своих мыслях и чувствах, рисовал портреты мужчин и женщин, увлекая ее рассуждениями о том, что они могли бы думать и чувствовать, и поэтому ей страстно захотелось обратно в Англию, где было так много людей и можно было просто стоять на улице и смотреть на них. А еще он утверждал, что в мире существует некий порядок, закон, делающий жизнь осмысленной или, если это слово глуповато, во всяком случае, очень интересной, потому что иногда вполне можно понять, отчего все происходит так, а не иначе. И люди вовсе не так одиноки и разобщены, как представлялось Рэчел. Следует искать в людях тщеславие — поскольку это их общее качество — в первую очередь в себе самой, потом в Хелен, в Ридли, в Сент-Джоне; в каждом есть доля тщеславия, его можно обнаружить у десяти человек из дюжины. Установив между людьми такую связь, она увидит, что они уже не так разделены, не так непонятны, но практически неотличимы друг от друга, и она полюбит их, увидев, как они похожи на нее саму. А если она будет это отрицать, то ей придется отстаивать свое мнение, что люди — как звери в зоопарке, у которых есть полосы и гривы, рога и горбы. Так, перебирая весь список своих знакомых, отвлекаясь на всякие истории, рассуждения и теории, они узнавали друг друга. Часы бежали быстро и казались им наполненными до краев. После ночного уединения они всегда были готовы начать сначала.

Благотворные свойства, которые, по мнению миссис Эмброуз, содержатся в свободном разговоре между мужчиной и женщиной, действительно ощущались ими, хотя и не совсем в той мере, как рекомендовала Хелен. Гораздо больше, чем вопросы пола, они обсуждали поэзию, однако беседа, не ограниченная никакими запретами, поистине расширяла до странности узкий, но очень ясный кругозор девушки. На все, что говорил Теренс, она отвечала редким любопытством и восприимчивостью, и он засомневался, что какие-либо дары учености и жизненного опыта могут сравниться с этой остротой чувств. Что вообще может дать ей опыт, кроме убогого внешнего самообладания, как у дрессированной собачки на улице? Он смотрел на лицо Рэчел и гадал, каким оно будет через двадцать лет, когда глаза потускнеют, а на лбу появятся те неизгладимые морщинки, из-за которых кажется, что пожилые люди видят нечто печальное, недоступное глазам молодых. И для нее — что это будет за печаль? А потом его мысли обращались к их совместной жизни в Англии.

Думать об Англии было приятно, потому что вместе они увидят все знакомое свежим взглядом. Англия встретит их в июне, а это значит — июньские ночи за городом; соловьи, поющие в изгородях у тропинок, по которым они будут убегать, когда в доме будет жарко; английские луга, поблескивающие водой, усеянные флегматичными коровами; низкие тучи, нависшие над зелеными холмами. Сидя в комнате рядом с Рэчел, он часто мечтал вернуться в гущу жизни и взяться за дела вместе с нею.

Он отошел к окну и воскликнул:

— Боже, как хорошо думать о тропинках, земляных тропинках с ежевикой и крапивой, о

настоящих травяных лугах, о фермах со свиньями и коровами, о людях, идущих рядом с телегами, держа на плече вилы, — здесь ничто с этим не сравнится, посмотри на эту каменистую красную землю, на ярко-синее море, слепящие белые дома, как это все надоедает! И воздух — слишком чистый, слишком прозрачный. Я бы все отдал за туман над морем.

У Рэчел был свой образ английской провинции: равнина, простирающаяся до моря, и леса, и длинные прямые дороги, по которым можно пройти не одну милю, никого не встретив, и высокие колокольни, и причудливые дома, сгрудившиеся в долинах, и птицы, и сумерки, и капли дождя на оконном стекле.

— Но Лондон, Лондон — вот где надо жить, — продолжил Теренс. Они оба посмотрели на ковер, как будто там можно было увидеть Лондон, со всеми его башнями и шпилями, торчащими из дымки. — А вообще, сейчас мне больше всего хотелось бы, — мечтательно заметил Теренс, — прогуляться по Кингзюэю, мимо афиш, а потом свернуть на Стрэнд. Возможно, я зашел бы на минутку взглянуть на мост Ватерлоо. А потом — по Стрэнду, мимо лавок с новыми книгами, и через маленькую арку — в Темпл. Я люблю после грохота оказаться в тишине. Вдруг начинаешь слышать свои шаги. В Темпле очень хорошо. Наверное, попробую разыскать старину Ходжкина — он пишет книги о Ван Эйке. Когда я уезжал из Англии, он очень грустил по своей ручной сороке. Подозревал, что какой-то человек отравил ее. А на соседней лестнице живет Расселл. Думаю, он тебе понравился бы. Страстный почитатель Генделя. Что ж, Рэчел, — заключил он, оставив образы Лондона, — через шесть недель мы всем этим займемся вместе, будет середина июня — июнь в Лондоне, Боже! Как это все чудесно!

— И это будет обязательно, — сказала Рэчел. — Мы ведь не ожидаем чего-то особенного — только гулять и смотреть вокруг.

— Всего лишь иметь тысячу в год и полную свободу. Думаешь, у многих в Лондоне это есть?

— Ну вот, ты все испортил, — огорчилась Рэчел. — Теперь придется думать о всяких ужасных вещах. — Она с досадой посмотрела на роман, который однажды примерно на час отнял у нее покой, поэтому она больше эту книгу не открывала, но держала на столе, иногда поглядывая на нее, как средневековый монах на череп или распятие, напоминавшие ему о бренности плоти. — А правда, Теренс, — спросила она, — что бывает, женщины умирают, а у них по лицам ползают насекомые?

— Полагаю, это вполне вероятно, — сказал он. — Но ты должна признать, Рэчел, мы так редко думаем о чем-то, кроме самих себя, что изредка даже угрызения совести довольно приятны.

Обвинив Хьюита в притворном цинизме, который не лучше сентиментальности, она отошла от него и встала коленями на подоконник, крутя между пальцев кисти занавесок. Ее наполнило чувство смутного недовольства.

— Что в этой стране особенно неприятно, — воскликнула она, — так это синева, — всегда синее небо и синее море. Точно завеса — все, к чему ты стремишься, — за ней. Я хочу знать, что за ней происходит. Ненавижу эти барьеры, а ты — нет, Теренс? Один человек для другого — как будто во тьме. Только мне понравились Дэллоуэй, — продолжала она, — как они исчезли. Я больше никогда их не увижу. Отправляясь в плавание на корабле, мы совершенно отсекаем себя от остального мира. А я хочу видеть Англию — вон там, Лондон — там, самых разных людей, почему это нельзя? Почему человек должен быть заперт один в своей комнате?

Говоря это — наполовину про себя и все более рассеянно, потому что она заметила судно, только что вошедшее в бухту, — Рэчел не видела, что Теренс перестал довольно взирать перед собой и теперь пристально и с тревогой смотрел на нее. Он почувствовал, что она способна отделяться от него и уходить в неизвестные сферы, где он ей не нужен. Эта мысль возбудила в

нем ревность.

— Иногда мне кажется, что ты не любишь меня и никогда не полюбишь, — раздраженно сказал он. Она вздрогнула и обернулась. — Я не устраиваю тебя так, как ты устраиваешь меня, — продолжил он. — В тебе есть что-то неуловимое. Я не нужен тебе так, как ты нужна мне, — тебе всегда нужно что-то еще.

Он начал ходить по комнате.

— Возможно, я хочу слишком много, — опять заговорил Теренс. — Возможно, то, чего я хочу, недостижимо. Мужчины и женщины слишком отличаются друг от друга. Ты не можешь понять... Ты не понимаешь...

Он подошел к Рэчел, молча смотревшей на него.

Теперь ей казалось, что он совершенно прав и ей нужно гораздо больше, чем любовь одного человека, — ей нужно море, небо. Она опять отвернулась и стала смотреть на далекую синь, такую гладкую и ясную там, где небо встречалось с морем. Конечно, одного человека ей недостаточно.

— Или все дело в этой несчастной помолвке? — спросил Теренс. — Давай поженимся здесь, до возвращения — или это слишком рискованно? Мы уверены, что хотим пожениться?

Оба начали ходить по комнате, но, хотя порой оказывались очень близко друг от друга, они старались избежать прикосновений. И ее, и его охватило ощущение безнадежности. Они были бессильны, они не могли любить друг друга настолько, чтобы преодолеть все эти преграды, а меньшее не могло их удовлетворить. Осознав это с непереносимой остротой, Рэчел остановилась перед Теренсом и воскликнула:

— Тогда давай расстанемся!

Эти слова соединили их успешнее, чем любые споры. Они ухватились друг за друга, будто оказались на краю пропасти. Им стало ясно, что они не могут разлучиться, они будут вместе всегда, какую бы боль и страдания это ни причинило. Они погрузились в молчание и через какое-то время медленно подошли друг к другу. Сама близость успокоила их; сев рядом, они почувствовали, что отчуждение ушло и мир вернул себе надежность и целостность, а они сами будто стали больше и сильнее.

Прошло много времени, прежде чем они пошевелились — и то нехотя. Они встали бок о бок перед зеркалом и начали с помощью щеток для волос придавать себе такой вид, будто все утро не чувствовали ничего особенного — ни мук, ни счастья. Но от собственного вида в зеркале на них повеяло холодом, потому что там они были не огромными и не слитыми воедино, а очень маленькими и отдельными и в широком стекле еще хватало места для множества других предметов.

Глава 23

Но никаким причесыванием нельзя было убрать выражение счастья с их лиц, поэтому, когда они спустились, миссис Эмброуз не могла говорить с ними так, будто они провели все утро за невинными занятиями, которые можно обсуждать непринужденно. Она присоединилась к всеобщему заговору по исключению их из обыденной жизни, более того, сила их чувств вызвала у нее враждебность к жизни вообще, и у нее почти получилось выбросить их из головы.

Хелен рассудила, что все необходимое в практическом отношении она сделала. Она написала множество писем и получила согласие Уиллоуби. Она так часто рассказывала о перспективах мистера Хьюита, его профессии, происхождении, внешности и характере, что почти забыла, какой он на самом деле. Бывало, взглянув на него в который раз, она гадала, что же он за человек, но, заключив, что они с Рэчел, по крайней мере, счастливы, переставала об этом думать.

Она преуспела бы больше, если бы стала размышлять, что будет через три года или что было бы, если бы Рэчел, как и планировалось, продолжила путешествовать под присмотром отца. Хелен хватало честности признать, что результат мог бы быть и лучше — кто знает? Она не скрывала от себя недостатки Теренса. Он казался ей слишком снисходительным и терпимым, так же как он считал ее, быть может, самую малость жестковатой — нет, скорее, она была бескомпромиссна. В каком-то смысле ей больше нравился Сент-Джон; но, с другой стороны, он, конечно, ни в коем случае не подошел бы Рэчел. Дружба с Сент-Джоном вполне установилась, и — хотя Хелен колебалась между раздражением и интересом, делая это так, что ее нельзя было обвинить в неискренности, — его общество было ей в целом по душе. Он уводил ее из этого утлого мирка любви и чувств. Он владел фактами. Например, когда Англия предприняла внезапные действия в отношении какого-то малоизвестного порта на марокканском побережье, Сент-Джон знал, что за этим стояло, да и его беседы с ее мужем — о финансах, о балансе сил, — как ни странно, создавали у нее ощущение надежности и постоянства. Она уважала их споры, хотя не всегда вникала в них, — так же, как она уважала твердую кирпичную стену или те внушительные общественные здания, которые, хотя и составляют основную часть наших городов, строятся день за днем и год за годом руками неизвестных людей. Она любила сидеть и слушать и чувствовала даже некоторую радость, когда помолвленная пара, выказав полное отсутствие интереса, выскользывала из комнаты и принималась терзать цветы в саду. Не то чтобы она испытывала к ним черную зависть, но она, несомненно, завидовала огромному неведомому будущему, которое лежало перед ними. Перебирая в голове такие мысли, она бродила из гостиной в столовую и обратно, держа в руке какой-то фрукт. Порой она останавливалась, чтобы выпрямить свечу, согнувшуюся от жары, или нарушить слишком строгую линию стульев. У нее были основания полагать, что в их отсутствие Чейли балансировала на лестнице с мокрой тряпкой, отчего комната потеряла присущий ей облик. В третий раз возвращаясь из столовой, Хелен заметила, что в одном из кресел сидит Сент-Джон. Точнее, он полулежал, откинувшись на спинку и полуприкрыв глаза, как всегда, застегнутый в аккуратный серый костюм, защищенный от буйства чуждого климата, который мог в любую минуту позволить себе вольности в отношении него. Взгляд Хелен остановился на нем, а потом поднялся над его головой. Затем она села на стул напротив.

— Я не хотел приходить сюда, — наконец сказал Сент-Джон. — Но меня прямо-таки вынудили. Эвелин М., — простонал он.

Он сел прямо и с иронической торжественностью начал рассказывать, что эта несносная женщина вознамерилась выйти за него замуж.

— Она преследует меня по всей гостинице. Сегодня утром появилась в курительной. Мне оставалось только схватить шляпу и бежать. Я не хотел приходить, но не мог оставаться и терпеть еще одну трапезу с ней.

— Что ж, нет худа без добра, — философски заметила Хелен. Было очень жарко, поэтому паузы любой длины были приемлемы, и они разлеглись в креслах, ожидая каких-нибудь событий. Колокольчик позвал на обед, но во всем доме ничего не шевельнулось. Хелен спросила, какие новости и есть ли что-нибудь в газетах. Сент-Джон отрицательно покачал головой. Ах да, он получил письмо из дома, от матери, с описанием самоубийства горничной. Ее звали Сьюзен-Джейн, как-то после обеда она зашла в кухню и попросила повариху подержать у себя ее деньги — у нее было двадцать фунтов золотом. Потом она вышла купить себе шляпку. Полшестого вернулась и сказала, что приняла яд. Успели только уложить ее в постель и вызвать доктора, и она умерла.

— Ну и? — спросила Хелен.

— Будет дознание, — сказал Сент-Джон.

Почему она это сделала? Он пожал плечами. Почему люди убивают себя? Почему низшие сословия делают то, что они делают? Никто не знает. Они посидели молча.

— Колокольчик звонил пятнадцать минут назад, а они еще не спустились, — наконец произнесла Хелен.

Когда они появились, Сент-Джон объяснил, почему ему пришлось прийти обедать. Он изобразил воодушевленную речь Эвелин, когда та предстала перед ним в курительной.

— Она считает, что нет ничего настолько захватывающего, как математика, так что я дал ей объемистый двухтомник. Интересно, что она из него вынесет.

Рэчел теперь могла позволить себе посмеяться над ним. Она напомнила ему о Гиббоне, первый том до сих пор где-то у нее; если он взялся за образование Эвелин, то Гибbon — лучшая проверка; или еще она слышала об этом Бёрке, насчет американского мятежа — Эвелин должна прочесть обоих одновременно. Когда Сент-Джон опроверг ее доводы и утолил голод, он рассказал, что гостиница бурлит скандалами, произошедшими в их отсутствие, причем самого отталкивающего свойства. Он во многом обогатил свои знания о себе подобных.

— Эвелин М., например... Впрочем, мне это сообщили конфиденциально.

— Чепуха! — вставил Теренс.

— Ты слышал и о бедняге Синклере?

— О да, я слышал о Синклере. Он удалился на свой рудник с револьвером. Каждый день пишет Эвелин, что думает о самоубийстве. Я уверил ее, что он счастлив как никогда, и она в целом склонна со мной согласиться.

— Но ко всему прочему она запуталась в отношениях с Перроттом, — продолжал Сент-Джон. — А еще у меня есть основания полагать, судя по виденному мною в коридоре, что между Артуром и Сьюзен не все в порядке. Недавно приехала очень молодая особа из Манчестера. Я считаю, что для них лучше всего был бы разрыв. Их семейную жизнь жутко даже представить. Да, и, проходя мимо спальни миссис Пейли, я отчетливо слышал, как она извергала самые кошмарные ругательства. Предполагают, что она издевается над горничной, когда они наедине, — практически наверняка это так и есть. Видно по ее глазам.

— Когда тебе стукнет восемьдесят и тебя скрутит подагра, ты тоже будешь ругаться, как извозчик, — заметил Теренс. — Станешь очень толстым, очень капризным и сварливым. Представьте его — лысый, как коленка, в клетчатых брюках, с маленьким галстуком в крапинку и огромным брюхом.

Выдержав паузу, Хёрст сказал, что самую позорную новость он еще не сообщил. Говорил он, обращаясь к Хелен.

— Они выпихнули проститутку. В один из вечеров, когда нас не было, этот старый болван Торнбери бродил по коридорам, причем час был весьма поздний. (Его почему-то никто не спросил, что ему там было надо.) Он увидел, что сеньора Лола Мендоса, как она себя называет, пересекла коридор в халате. Наутро он сообщил о своих подозрениях Эллиоту, в результате чего Родригес пошел к этой женщине и дал ей двадцать четыре часа на то, чтобы убраться. Никто, судя по всему, не позаботился выяснить правду или спросить у Торнбери и Эллиота, какое их дело; они сами все решили. Я предлагаю составить коллективное письмо, всем вместе пойти к Родригесу и настоять на полном расследовании. Какие-то действия необходимы, вы согласны?

Хьюит заметил, что насчет профессии этой дамы сомнений быть не может.

— И все равно, — добавил он, — очень жаль, бедная женщина. Только я не представляю, что можно сделать...

— Я полностью согласна с вами, Сент-Джон, — взорвалась Хелен. — Это чудовищно. От лицемерной самоуверенности англичан у меня внутри все закипает. Мистер Торнбери, сделавший состояние на торговле, в два раза хуже, чем любая проститутка.

Хелен уважала моральные принципы Сент-Джона и относилась к ним намного серьезнее, чем кто-либо, поэтому она принялась обсуждать с ним, какие следует принять меры, чтобы провести в жизнь их своеобразные представления о добре и зле. Спор привел к самым мрачным высказываниям общего характера. Кто они такие, в конце концов, чтобы противостоять предрассудкам и невежеству толпы, разве есть у них на это право и силы? Все дело, конечно, в том, что речь идет об англичанах; английская кровь заключает в себе какой-то порок. Как только видишь англичанина-буржуа, неизбежно чувствуешь смутное отвращение, как только видишь полукруг коричневых зданий над Дувром — то же самое чувство. Но к сожалению, добавил Сент-Джон, этим иностранцам нельзя доверять...

Их беседу прервали отголоски борьбы с другого конца стола. Рэчел прибегла к помощи своей тети:

— Теренс говорит, что мы должны пойти на чаепитие с миссис Торнбери, потому что она была так добра, но я этого не понимаю. Да я предпочту, чтобы мне отпилили правую руку, — только представьте глаза всех этих женщин!

— Глупости, Рэчел, — возразил Теренс. — Кому надо на тебя смотреть? Ты жертва тщеславия! Твое самомнение чудовищно! Честное слово, Хелен, вы давно должны были втолковать ей, что в ней нет совершенно ничего примечательного, — она не отличается ни красотой, ни изысканной одеждой, ни каким-нибудь особенным изяществом, умом или умением держать себя. Более обыкновенного зрелища, чем представляешь собой ты — если не считать порванного платья, — свет еще не видывал. Впрочем, если хочешь — сиди дома. А я пойду.

Рэчел опять возвзывала к тете. Дело не в том, объяснила она, что на нее будут смотреть, а в том, что обязательно будут говорить. Особенно женщины. Она симпатизировала женщинам, но чужие чувства для них, что мед для мух. Они, безусловно, начнут ее расспрашивать. Эвелин М. спросит: «Вы любите? Хорошо быть влюбленной?» А миссис Торнбери — эта станет оглядывать ее сверху донизу, сверху донизу — она вздрагивает от одной мысли об этом. В самом деле, их уединение после помолвки так усилило ее чувствительность, что она вовсе не преувеличивала.

Она нашла союзницу в лице Хелен, которая стала излагать свои взгляды на человечество, с удовлетворением созерцая пирамиду разнообразных фруктов в центре стола. Люди не то чтобы жестоки или желают ранить ближнего, дело даже не в их глупости, но, по ее наблюдениям, в жизни обычного человека так мало сильных чувств, что, заподозрив их в чужой жизни, они ведут себя, как ищечки, почувствовавшие запах крови. Увлеквшись этой темой, она продолжила:

— Стоит чему-то случиться — это может быть брак, или рождение, или смерть — как правило, они предпочитают смерть, — все хотят тебя видеть. Они настаивают на встрече. Сказать им нечего, им нет до тебя никакого дела, но ты должен идти на обед, на чаепитие или на ужин, а если не идешь — ты проклят. Их влечет запах крови. Я не виню их, но моей крови им не отведать!

Она огляделась, как будто вызвала легион человеческих созданий, злонамеренных и гадких, которые окружили стол, алча крови открытыми ртами, отчего сам стол превратился в островок нейтральной территории посреди вражеской страны.

Слова Хелен рассердили ее мужа, который до этого ритмично бормотал себе под нос, взирая на своих гостей, свою еду и свою жену то меланхоличными, то яростными глазами — смотря по тому, что переживала героиня декламируемой баллады. Он оборвал Хелен с негодованием. В женщине ему претил даже намек на цинизм.

— Чепуха, чепуха! — коротко бросил он.

Теренс и Рэчел через стол обменялись взглядом, который означал, что они, когда поженятся, так себя вести не будут. Вступление Ридли в беседу произвело странное действие. Разговор сразу стал более формальным и вежливым. Уже нельзя было непринужденно высказать все, что пришло в голову, и произнести слово «проститутка» так же просто, как любое другое. Беседа обратилась к литературе и политике, и Ридли начал рассказывать о знаменитостях, которых он знал в молодости. Умение вести такой разговор сродни искусству, поэтому молодым пришлось оставить свои откровенности при себе. Когда все встали, чтобы покинуть столовую, Хелен на мгновение задержалась, положив локти на стол.

— Вы сейчас тут сидели, — сказала она, — почти час, и никто не заметил ни моего инжира, ни моих цветов, ни того, как падает свет, ничего. Я не слушала, потому что смотрела на вас. Вы прекрасны; я хотела бы, чтобы вы сидели так вечно.

Она первой вошла в гостиную, взяла свою вышивку и принялась отговаривать Теренса идти в гостиницу по такой жаре. Но чем больше она его отговаривала, тем сильнее он утверждался в своем решении пойти. В нем нарастали раздражение и упрямство. Были моменты, когда они испытывали друг к другу почти неприязнь. Он желал общества других людей и хотел, чтобы Рэчел сопровождала его. Он подозревал, что миссис Эмброуз и ее попытается отговорить. Ему надоели эти просторные помещения, тень, и красота, и разлегшийся Хёрст с поникшим журналом в руке.

— Я пойду, — повторил Теренс. — Рэчел может неходить, если не хочет.

— Если ты пойдешь, Хьюит, прошу тебя провести дознание насчет проститутки, — сказал Хёрст. — Знаешь, — добавил он, — я немного пройдусь с тобой, до полдороги.

Ко всеобщему удивлению, он встал, взглянул на свои часы и заметил, что, поскольку прошло полчаса после еды, желудочный сок уже успел выделиться. Он объяснил, что пробует режим, состоящий из коротких упражнений и долгих промежутков отдыха.

— Я вернусь в четыре, — сообщил он Хелен, — лягу на диван и полностью расслаблю все мышцы.

— Так ты пойдешь, Рэчел? — спросила Хелен. — Не останешься со мной? — Она улыбнулась, хотя, возможно, и с грустью.

Было ей грустно или улыбка действительно выражала радость? Рэчел не могла этого определить и на минуту почувствовала себя очень неуютно между Хелен и Теренсом. Затем она отвернулась и коротко сказала, что пойдет с Теренсом, если он возьмет на себя все разговоры.

По краю дороги шла узкая полоса тени, ширины которой хватало на двоих, но не на троих. Поэтому Сент-Джон шел позади, и расстояние между ним и молодой парой постепенно увеличивалось. Совершая пищеварительный мотион, он часто смотрел на часы и время от

времени поглядывал на Теренса и Рэчел. Они выглядели очень счастливыми, очень близкими друг другу, хотя просто шли рядом, как ходят многие. Они то и дело слегка поворачивали головы, что-то говорили — наверное, что-то очень личное, думал Сент-Джон. На самом деле они обсуждали характер Хелен, и Теренс пытался объяснить, почему она порой так его раздражает. Но Сент-Джону казалось, что они говорят нечто не предназначеннное для его ушей, поэтому его мысли обратились к собственному одиночеству. Эти двое счастливы, и, с одной стороны, он презирал их за то, что им так немного надо для счастья, но с другой — он им завидовал. Он был намного более выдающимся человеком, чем они, но он не был счастлив. К нему никто никогда не испытывал симпатии; он даже иногда сомневался, симпатизирует ли ему Хелен. Быть простым, просто высказывать свои чувства — без ужасной застенчивости, из-за которой он всегда будто в зеркале видел свое лицо и слышал со стороны свои слова, — это качество стоило любых дарований, потому что позволяло быть счастливым. Счастье, счастье, что такое счастье? Он никогда не был счастлив. Он слишком ясно видел мелкие недостатки, обманы и пороки жизни, а раз он их видел, то считал нечестным не указывать на них. За это, конечно, люди и не любили его, обвиняли в бессердечии и злости. Разумеется, они никогда не говорили ему того, что он хотел бы услышать, — что он хороший и добрый, что он им нравится. Но правда и то, что половину резкостей он высказывал им как раз потому, что был несчастлив или обижен. Крайне редко он признавался кому-то в теплых чувствах и обычно жалел после того, как бывал несдержан. Его чувства по отношению к Теренсу и Рэчел были слишком сложны, поэтому он даже еще ни разу не заставил себя сказать, что рад их предстоящей женитьбе. Он отчетливо видел их недостатки, понимал, что по большей части их чувства друг к другу в основе очень примитивны, и ожидал, что их любовь долго не протянет. Он опять посмотрел на них и, как ни странно — поскольку привык не видеть в окружающих ничего замечательного, — вдруг преисполнился симпатией к ним, к которой слегка примешивалась и жалость. В конце концов, какое значение имеют недостатки людей в сравнении с тем, что в них есть хорошего? Он решил сейчас же сказать им о своих чувствах. Он ускорил шаг и догнал их как раз у поворота в аллею. Они остановились и начали смеяться над ним, спрашивать о желудочном соке, но он, прервав их, заговорил очень быстро и напряженно.

— Помните утро после танцев? — спросил он. — Мы сидели здесь, ты плел чепуху, а Рэчел складывала кучки из камешков. Мне же вдруг, будто вспышкой, открылся весь смысл жизни. — Он на секунду замолчал, крепко поджав губы. — Любовь, — продолжил он. — По-моему, она объясняет все. В общем, я рад, что вы поженитесь. — Он резко повернулся кругом, не глядя на них, и зашагал в сторону виллы. Он чувствовал одновременно и волнение, и стыд за свои слова и чувства. Возможно, они сейчас смеются над ним, считают его дураком, да и, в сущности, выразил ли он то, что чувствует?

Они действительно над ним посмеялись, когда он ушел; однако спор о Хелен, который уже было стал довольно ожесточенным, прекратился, и к ним вернулись мир и согласие.

Глава 24

Они пришли в гостиницу довольно рано, когда большинство постояльцев еще молча лежали или сидели в своих спальнях; не видно было и миссис Торнбери, пригласившей их на чаепитие. Поэтому Теренс и Рэчел сели в сумрачном холле, который был почти безлюден и наполнен шелестящими звуками легких дуновений, носившихся в просторной пустоте. Да, это кресло — то самое, в котором сидела Рэчел, когда к ней подошла Эвелин, а это тот самый журнал, который она просматривала, с той же самой картинкой, изображавшей Нью-Йорк при свете фонарей. Как это странно — ничего не изменилось.

Мало-помалу по лестнице стали спускаться люди, они проходили через холл, и в приглушенном свете их фигуры были преисполнены своеобразного изящества и красоты, хотя люди это были все незнакомые. Одни сразу пересекали холл и выходили в сад через крутящуюся дверь, другие останавливались на несколько минут, нагибались к столам и перебирали газеты. Теренс и Рэчел, полуприкрыв глаза, смотрели на них — на Джонсонов, Паркеров, Бэйли, Симмонсов, Ли, Морли, Кэмбеллов, Гарднеров. Многие были одеты в белые фланелевые костюмы и держали под мышкой ракетки, одни низкорослы, другие долговязы, попадались среди них и дети, а иные, вероятно, были слугами, но каждый имел свой статус, у каждого была причина идти чередой сквозь холл, были деньги, было положение в обществе — хоть какое-нибудь, но было. Теренс вскоре перестал на них смотреть, утомившись; он закрыл глаза и погрузился в полуудрему. Рэчел еще некоторое время наблюдала за людьми: ее завораживали уверенность и грациозность их движений, неотвратимая закономерность, с которой они шли друг за другом, брели прочь и пропадали. Но затем ее мысли отклонились в сторону, и она начала вспоминать танцы, устроенные в этом зале, только тогда сам зал выглядел совсем иначе. Оглядываясь вокруг, она едва могла поверить, что это было то же самое помещение. В тот вечер, когда они вошли сюда из темноты, зал выглядел голым, сверкающим и торжественным; а еще он был наполнен красными возбужденными лицами, находившимися в непрестанном движении; все были одеты так ярко и были так оживлены, что совсем не походили на реальных людей, и заговорить с ними казалось немыслимым. А сейчас зал безмолвен и сумрачен, и по нему проходят прекрасные молчаливые люди, к ним можно подходить и говорить что угодно. Сидя в кресле, она ощущала удивительное спокойствие. Рэчел могла окинуть мысленным взором не только бальную ночь, но и все прошлое, посмотреть на него с нежностью и юмором, как будто она долго шла и делала повороты в тумане, а теперь ей стало видно, куда она повернула. Путь, которым она пришла к нынешнему расположению, казался ей очень странным, и самое странное было то, что она заранее не знала, куда он ее приведет. Да, это очень странно — человек не знает, куда идет и чего он хочет, он двигается вслепую, так много страдая втайне, он никогда ни к чему не готов, его все поражает, он в полном неведении; но одно ведет к другому, и постепенно из ничего создается нечто, и человек достигает спокойствия и определенности, вот этот процесс люди и называют жизнью. Впрочем, возможно, все на самом деле знают, куда они идут, как теперь это знает она; и события выстроились в закономерность не только для нее, но и для них, и в этой закономерности заключается радость и смысл. Оглядываясь назад, она теперь понимала, что был некий смысл и в жизни ее тетушек, и в краткой встрече с Дэллоуэями, которых она больше никогда не увидит, и в жизни ее отца.

Глубокое сонное дыхание Теренса подкрепляло ее спокойствие. Ей самой не хотелось спать, но видела она не слишком отчетливо, и, хотя проходящие мимо фигуры становились все расплывчатее, Рэчел была уверена, что они знают, куда идут, и ей было очень уютно от исходившей от них уверенности. Она пришла в состояние такой отрешенности и безразличия,

как будто у нее уже не было никакой судьбы; ей казалось, что она может принять без удивления и смущения любой жизненный поворот. Чего бояться, чего смущаться в будущем? Почему это озарение должно покинуть ее? Мир на самом деле так велик, так доброжелателен, да и, в конце концов, в нем все так просто. «Любовь, — сказал Сент-Джон. — Похоже, она объясняет все». Да, но не любовь мужчины к женщине, не любовь Теренса к Рэчел. Хотя они сидят так близко, они уже не представляют собой два маленьких отдельных тела, они перестали бороться друг с другом и желать друг друга. Кажется, между ними воцарился мир. Возможно, это любовь, но не любовь мужчины к женщине.

Полузакрытыми глазами она смотрела на Теренса, лежавшего в кресле, и улыбалась, видя, какой большой у него рот и какой маленький подбородок, как его нос изогнут зигзагом и заканчивается шишечкой. Его внешность выдавала и его лень, и честолюбие, и то, что он человек настроения, полный недостатков. Рэчел припомнила их ссоры, особенно их сегодняшнюю перебранку из-за Хелен, и подумала, что они будут часто ссориться и через тридцать, и через сорок, и через пятьдесят лет, живя вместе в одном и том же доме, вместе торопясь на поезда и раздражаясь оттого, что он и она так не похожи друг на друга. Но все это было на поверхности и не имело отношения к той жизни, которая текла за глазами, ртом и подбородком, потому что эта жизнь не зависит ни от нее, ни от чего бы то ни было. Поэтому, хотя Рэчел и выйдет за Теренса, и проживет с ним тридцать, сорок или пятьдесят лет, и будет с ним ссориться, и они будут очень близки, она независима от него, она независима от чего бы то ни было. И тем не менее, как сказал Сент-Джон, именно любовь позволила ей понять это, поскольку она никогда не ощущала этой независимости, этого покоя, этой уверенности, пока не полюбила Теренса; возможно, все это тоже любовь. Ей больше ничего не было нужно.

Мисс Аллан минуты две стояла в отдалении, смотря на молодую пару, так мирно отдыхавшую в креслах. Она не могла решить, беспокоить их или нет, но потом, как будто что-то вспомнив, пересекла холл. Звук ее шагов разбудил Теренса, он сел прямо, потер глаза и услышал, как мисс Аллан обратилась к Рэчел.

— Что ж, — сказала она, — это очень мило. В самом деле, очень. Помолвки прямо-таки вошли в моду. Нечасто бывает, что две пары людей, до того совершенно незнакомых друг другу, встречаются в одной гостинице и решают пожениться. — Она замолчала и улыбнулась; сказать ей, видимо, было больше нечего, поэтому Теренс встал и спросил, правда ли, что она закончила свою книгу. Кто-то ему сказал, что это так. Ее лицо осветилось, она повернулась к нему с более оживленным выражением, чем обычно.

— Да, думаю, я вполне могу сказать, что закончила ее. Если не считать Суинберна — «От Беовульфа до Браунинга»: мне лично больше нравятся два «Б». «От Беовульфа до Браунинга», — повторила она. — Думаю, такое заглавие может привлечь взгляд в станционной книжной лавке.

Она и в самом деле очень гордилась тем, что закончила книгу, ведь никто не знал, сколько ей для этого понадобилось решимости. Она считала, что труд получился неплохой, учтивая, как она волновалась из-за брата, работая над рукописью. Она не могла удержаться от того, чтобы рассказать о книге еще немного.

— Должна признаться, — продолжила она, — что, если бы я знала заранее, сколько классиков в английской литературе и какими многословными умудряются быть лучшие из них, я ни за что не взялась бы за эту работу. Ведь мне позволено всего семьдесят тысяч слов.

— Всего семьдесят тысяч слов! — воскликнул Теренс.

— Да, и надо что-то написать о каждом, — добавила мисс Аллан. — Это как раз и трудно — о каждом написать по-другому. — Тут она решила, что достаточно поговорила о себе, и спросила, собираются ли они участвовать в теннисном турнире. — Молодежь весьма увлечена им. Он продолжится через полчаса.

Она помолчала, смотря на них добрыми глазами, а потом заметила, обращаясь к Рэчел, будто вспомнила нечто помогающее отличить ее от других людей:

— Это вы та удивительная девушка, которая не любит имбирь. — Однако теплая улыбка на ее немолодом стоическом лице заставила их почувствовать, что она вряд ли запомнит их как личности — в них она видела все новое поколение.

— И я с ней вполне согласна, — произнес женский голос у них за спиной: миссис Торнбери услышала последние слова об имбire. — В моем сознании он связан с нашей ужасной старой тетушкой (бедняжка, она тяжко страдала, нехорошо называть ее ужасной), которая давала его нам, детям, а у нас не хватало смелости сказать, что мы его не любим. Приходилось выбрасывать имбирь в кусты — у нее был большой дом под Батом.

Они медленно пошли через холл, но были остановлены Эвелин, которая налетела на них, сбежав с лестницы, как будто ее ноги так спешили догнать их, что вышли из-под ее контроля.

— Послушайте! — воскликнула она со своим обычным воодушевлением, хватая Рэчел за руку. — По-моему, это восхитительно! Я с самого начала догадывалась, что это случится! Я видела, что вы созданы друг для друга. Теперь вы мне все должны рассказать: когда это будет, где вы поселиетесь... Вы оба счастливы до невозможности, да?

Однако всеобщее внимание переключилось на миссис Эллиот, которая семенила энергично, но неуверенно, держа в руках блюдо и пустую грелку. Она прошла бы мимо, но миссис Торнбери приблизилась к ней и остановила ее.

— Спасибо, Хьюлингу лучше, — ответила миссис Эллиот на вопрос миссис Торнбери, — но он трудный больной. Желает знать свою температуру, если я говорю — тревожится, а если нет — подозревает худшее. Вы знаете, каковы мужчины, когда они болеют! Потом, конечно, здесь нет необходимых удобств, и, хотя доктор Родригес очень предупредителен и хочет помочь, — тут она таинственно понизила голос, — чувствуется, что до настоящего врача ему далеко. Если бы вы навестили его, мистер Хьюит, — добавила она, — это его взбодрило бы, я уверена: целыми днями лежать в постели, да еще эти мухи... Но мне пора, я должна найти Анджело. И здешняя пища... Конечно, когда на руках больной, хочется, чтобы все было безупречно. — И она поспешила прочь в поисках метрдотеля. Заботы об уходе за мужем наложили скорбную морщинку на ее лоб, она была бледна, выглядела несчастной и еще более беспомощной, чем обычно, а ее взгляд стал еще рассеяннее и блуждал, ни на чем не останавливалась.

— Бедняжка! — воскликнула миссис Торнбери и сообщила, что Хьюлинг Эллиот уже несколько дней болен и единственный имеющийся здесь врач — брат хозяина гостиницы, или, как сказал хозяин, он единственный, чье право называться врачом — вне подозрений. — Я знаю, как противно болеть в гостинице, — заметила миссис Торнбери. — Во время свадебного путешествия я провела в Венеции шесть недель с брюшным тифом. И все-таки я вспоминаю эти недели, как счастливейшие в моей жизни. Да-да, — сказала она, взяв Рэчел за локоть, — сейчас вам кажется, что вы счастливы, но это ничто по сравнению с тем счастьем, которое будет потом. И поверьте, мне легко было бы найти в своей душе зависть к вам, молодым! Ваше время куда лучше нашего, скажу я вам. Оглядываясь назад, я с трудом верю, что все так изменилось. Когда мы были помолвлены, мне не позволялось гулять с Уильямом наедине и в комнате с нами всегда должен был кто-то находиться; насколько помню, я была обязана показывать родителям все его письма, хотя они его тоже очень любили. Да, можно сказать, они смотрели на него как на сына. Я поражалась, — продолжала она, — вспоминая их строгость к нам, когда видела, как они баловали своих внуков!

Стол был опять накрыт под деревом, и, заняв свое место у чашек, миссис Торнбери кивала и делала призывающие знаки до тех пор, пока не собрала довольно много людей, в том числе

Сьюзен, Артура и мистера Пеппера, гулявших в ожидании турнира. Шепот ветвей, полноводная река под луной, слова Теренса — все это вспомнилось Рэчел, когда она сидела, пила чай и слушала речи, которые лились так легко, так ласково, так гладко-серебристо. Долгая жизнь, многочисленные дети обкатали миссис Торнбери, как гладкий речной камешек, стерли все признаки индивидуальности, оставив только старость и материнство.

— А сколько вам, молодым, предстоит увидеть! — продолжала миссис Торнбери. Она охватывала своими предсказаниями и своим материнством всех присутствующих, хотя среди них были Уильям Пеппер и мисс Аллан, которые тоже обладали немалым жизненным опытом. — Видя, как изменился мир на протяжении моей жизни, я не могу положить пределов тому, что может произойти в следующие пятьдесят лет. О нет, мистер Пеппер, я ни в коем случае с вами не согласна, — засмеялась она, перебивая его мрачное замечание о том, что все меняется только к худшему. — Знаю, что мне полагается быть настроенной так же, но, боюсь, я думаю иначе. Они будут гораздо лучше, чем мы. Безусловно, все говорит за это. Я вижу вокруг женщин, молодых женщин, обремененных домашними заботами, которые осмеливаются делать то, о чем мы и помыслить не могли.

Мистер Пеппер считал ее сентиментальной и неразумной, как все старухи, но ее манера обращаться с ним, будто он был своеобразным престарелым ребенком, покоряла и обезоруживала его, поэтому он мог ответить лишь забавной гримасой, которая больше походила на улыбку, чем на выражение досады.

— И они остаются женщинами, — добавила миссис Торнбери. — Они многое дают своим детям.

Говоря это, она слегка улынулась Сьюзен и Рэчел. Им не нравилось, что их объединяют в одну категорию, но обе немного смущенно улынулись в ответ, и Артур с Теренсом тоже переглянулись. Благодаря миссис Торнбери они почувствовали себя в одной лодке и смотрели на своих суженых, сравнивая их. Невозможно было объяснить, как у кого-то могло появиться желание взять в жены Рэчел; невероятно, что кто-то готов провести всю жизнь со Сьюзен; но, несмотря на такое различие своих вкусов, они не желали друг другу зла; каждый даже нравился другому за оригинальность выбора.

— Я должна искренне вас поздравить, — сказала Сьюзен, протягивая руку через стол за джемом.

Казалось, принесенная Сент-Джоном сплетня об Артуре и Сьюзен безосновательна. Они сидели рядом, загорелые и бодрые, с ракетками на коленях, почти ничего не говоря, но постоянно слегка улыбаясь. Через их тонкие белые одежды проступали линии их тел — красивые изгибы мышц, его худоба и ее полнота; и легко было представить, какими крепкими и здоровыми будут их дети. Для красоты их лицам не хватало четкости формы, но у них были ясные глаза, и весь их вид говорил о таком здоровье и выносливости, что казалось, кровь никогда не остановится в его жилах и не перестанет окрашивать ее щеки глубоким и спокойным румянцем. Сейчас их глаза горели ярче, чем обычно, и выражали то удовольствие и уверенность в себе, которые характерны для спортсменов: они только что играли в теннис, а игроками были оба первоклассными.

Эвелин молчала, но все время смотрела то на Сьюзен, то на Рэчел. Что ж, они слишком легко приняли решение, им понадобилось всего несколько недель на то, что она, как ей порой казалось, не сможет сделать никогда. Хотя они были совсем не похожи одна на другую, Эвелин видела в обеих одно и то же выражение удовлетворенности и полноты жизни, одно и то же спокойствие в манере держаться, одну и ту же медлительность движений. Именно эту медлительность, это самодовольство она как раз и не выносит, думала Эвелин. Каждая двигается так медленно, потому что теперь не одна, но обрела пару — Сьюзен прилепилась к

Артуру, а Рэчел — к Теренсу, и ради этих мужчин они отвергли всех остальных, остановились, отказались от движения, от всего настоящего, что есть в жизни. Любовь — это, конечно, очень хорошо, хороши эти уютные семейные домики, с кухней внизу и детской наверху, такие отгороженные от мира, такие самодостаточные — точно маленькие островки посреди бурных потоков; но настоящее — то, что происходит в огромном внешнем мире, большие дела, войны, идеалы, то, что творится независимо от этих женщин, которые так покойно и грациозно полагаются на мужчин. Эвелин пристально изучала их. Конечно, они счастливы и довольны, но должно быть кое-что получше этого. Можно стать ближе к жизни, больше получать от нее, испытывать большую радость и больше чувствовать, чем когда-либо смогут они. Особенно Рэчел — она выглядит такой юной, что она может знать о жизни? Эвелин ощущала беспокойство, встала и пересела поближе к Рэчел. Она напомнила ей, что та обещала вступить в ее клуб.

— Загвоздка в том, — продолжила она, — что у меня, возможно, не получится начать серьезную работу до октября. Я только что получила письмо от одного знакомого, у его брата свое дело в Москве. Они хотят, чтобы я пожила у них, а поскольку они в самой гуще всех тамошних заговоров и анархистов, мне очень хочется заехать туда по пути домой. Это, должно быть, так волнующе. — Она хотела, чтобы Рэчел поняла, как это волнующе. — Мой знакомый знает пятнадцатилетнюю девушку, которую пожизненно сослали в Сибирь только за то, что ее застали за отсылкой письма анархисту. И письмо-то было не от нее. Я бы отдала все на свете, чтобы помочь революции против русского правительства, а она надвигается.

Она перевела взгляд с Рэчел на Теренса. Эвелин немного растрогала их обоих, поскольку они вспомнили, что совсем недавно слышали злословие о ней. Теренс спросил, в чем состоит ее план, и она рассказала, что собирается основать клуб — для того, чтобы делать дело, по-настоящему. Она очень ожила, говорила и говорила, признавалась, что убеждена: стоит двадцати человекам — нет, достаточно и десяти, если они энергичны, — стоит им приняться за дело вместо того, чтобы только говорить об этом, и они смогут искоренить любое из существующих на свете зол. Что нужно, так это мозги. Если это люди с мозгами... Конечно, им понадобится помещение, хорошее помещение, лучше всего — в Блумсбери, где они смогут встречаться раз в неделю...

Теренс видел на ее лице признаки увядющей молодости — морщинки, появлявшиеся у рта и глаз, когда она говорила и волновалась, — но ему не было жаль ее; смотря в эти блестящие, довольно жесткие и очень храбрые глаза, он видел, что ей самой не жаль себя, что она не испытывает никакого желания поменять свою жизнь на более утонченную и упорядоченную жизнь таких, как он и Сент-Джон; хотя, возможно, с годами сражаться будет все труднее и труднее. Впрочем, вероятно, она успокоится; быть может, в конце концов она все-таки выйдет за Перротта. Мысли Теренса были наполовину заняты тем, что она говорила, а наполовину — ее возможной судьбой, при этом легкие клубы дыма скрывали его лицо от ее глаз.

Теренс курил, и Артур курил, и Эвелин курила, поэтому воздух был затуманен и пропитан ароматом хорошего табака. В паузах, когда никто не говорил, они слышали отдаленный рокот морских волн, которые мерно набегали на берег и покрывали его водной пеленой, а потом отступали обратно. Неяркий зеленый свет лился от листьев дерева, и на тарелках и скатерти играли мягкие солнечные полумесяцы и звезды. Миссис Торнбери, некоторое время молча смотревшая на всех, начала задавать Рэчел участливые вопросы: когда они собираются обратно? А, они ждут ее отца. Она обязательно должна увидеться с ее отцом, ей надо многое рассказать ему; разумеется (она с симпатией взглянула на Теренса), он будет так счастлив, она в этом уверена. Много лет назад, продолжила она, может быть лет десять или двадцать, она встретила мистера Винрэса на одном приеме и была так поражена его лицом — оно совсем не походило

на лица, обыкновенные для приемов, — что спросила, кто это, и ей сказали, что это мистер Винрэс, и она навсегда запомнила его фамилию — ведь она довольно редкая, — а еще с ним была дама, очень миловидная женщина, но это было одно из тех ужасных лондонских сборищ, на которых не говорят, а только смотрят друг на друга, и, хотя они пожали руки с мистером Винрэсом, кажется, они не сказали друг другу ни слова. Она едва заметно вздохнула, вспоминая прошлое.

Затем она повернулась к мистеру Пепперу, который стал настолько зависим от нее, что всегда садился с ней рядом, слушал, что она говорит, хотя свои замечания вставлял нечасто.

— Вот вы знаете все, мистер Пеппер, — сказала миссис Торнбери. — Расскажите, как эти чудесные французские дамы устраивали свои салоны? У нас в Англии было что-нибудь подобное или вы считаете, что в нашей стране это по какой-то причине невозможно?

Мистер Пеппер с удовольствием подробно объяснил, почему в Англии никогда не было салонов. Тому есть три причины, и все три очень веские, сказал он. Что касается его самого, то он, когда оказывается на приеме — а это приходится делать, чтобы кого-то не обидеть, — его племянница, например, недавно сочеталась браком, — он выходит на середину зала, говорит: «Ха-ха!» — как можно громче, и, посчитав, что долг исполнен, удаляется. Миссис Торнбери возмутилась. Она собиралась устроить прием сразу по возвращении, и они все будут на него приглашены, так вот, она попросит людей наблюдать за мистером Пеппером, и если его заметят говорящим «Ха-ха!», то она... она сделает с ним что-нибудь ужасное. Артур Веннинг предложил подстроить какую-нибудь неожиданность — например, скрыть за портретом старой дамы в кружевном чепце бадью с холодной водой, которая по сигналу будет опрокинута на Пеппера; или подсунуть ему стул, который подбросит его на двадцать футов, как только он на него сядет.

Сьюзен засмеялась. Она уже допила чай и чувствовала себя просто замечательно — и потому, что прекрасно показала себя в теннисе, и потому, что все были так милы. Ей становилось все легче говорить и держать себя даже с очень умными людьми — почему-то умные люди больше не пугали ее. Даже мистер Хёрст, который так ей не понравился при первом знакомстве, был не столь уж неприятен; бедняга, он вечно выглядит больным; вероятно, влюблен; вероятно, он влюблен в Рэчел — Сьюзен ничуть не удивилась бы этому; или в Эвелин — она, конечно, весьма привлекательна для мужчин. Подавшись вперед, Сьюзен вступила в беседу. Она сказала, что, по ее мнению, приемы так скучны, главным образом потому, что мужчины не наряжаются: даже в Лондоне, заявила она, ее поражало, как люди не считают необходимым наряжаться по вечерам, а уж если в Лондоне не наряжаются, то в провинции — тем более. То-то бывает радость на Рождество, когда устраивают охотничьи балы и мужчины носят такие милые красные сюртуки, но — Артур не любит танцев, так что вряд ли они будутходить на балы даже в их городке. Она считала, что, как правило, если человек увлечен чем-то одним, то все другое его уже не интересует, хотя ее отец — исключение. Но он исключение во всех смыслах — какой он садовник, а сколько всего знает о птицах и зверях, ну и, конечно, его просто обожают все местные пожилые женщины, и в то же время он больше всего любит книги. Если он нужен, всегда знаешь, где его найти — в кабинете с книгой. Скорее всего, это будет старая-престарая, всеми забытая книга, которую никому другому и в голову не придет читать. Она не раз говорила отцу, что из него вышел бы заправский книжный червь, если бы ему не надо было кормить семью о шестерых ртах, а шестеро детей, добавила она, безмятежно уверенная во всеобщем сочувствии, не оставляют времени, чтобы быть книжным червем.

Продолжая рассказывать о своем отце, которым она очень гордилась, Сьюзен встала, потому что Артур, взглянув на часы, обнаружил, что пора возвращаться на теннисный корт. Остальные не сдвинулись с места.

— Они очень счастливы! — сказала миссис Торнбери, благожелательно глядя им вслед. Рэчел согласилась; они выглядели такими уверенными в себе, как будто точно знали, чего хотят.

— Вы думаете, они правда счастливы? — тихо спросила Эвелин Теренса, надеясь услышать, что он не считает их счастливыми, но вместо этого он сказал, что им с Рэчел тоже пора — домой, потому что они всегда опаздывают к столу, а миссис Эмброуз весьма строга и щепетильна и этого не одобряет. Эвелин ухватила Рэчел за юбку и запротестовала. Почему они должны уходить? Еще рано, а ей надо столько сказать им.

— Нет, — возразил Теренс. — Нам пора, потому что ходим мы очень медленно. Останавливаемся, смотрим на что-нибудь, разговариваем.

— О чем вы разговариваете? — спросила Эвелин, и Теренс в ответ рассмеялся и сказал, что говорят они обо всем.

Миссис Торнбери пошла с ними до ворот, она ступала по траве и гравию очень медленно и грациозно и все время говорила о цветах и птицах. Она рассказала, что после замужества дочери взялась изучать ботанику и что удивительно, сколько есть цветов, которых она никогда не видела, хотя всю жизнь прожила в сельской местности, а ей уже семьдесят два года. Хорошо иметь в старости какое-то занятие, не зависящее от других людей, сказала она. Однако вот что странно — старым себя никогда не ощущаешь. Она всегда чувствовала себя двадцатипятилетней — ни днем старше или моложе, хотя, конечно, не стоит ожидать от других, что они с этим согласятся.

— Наверное, чудесно, когда тебе двадцать пять на самом деле, а не только в твоем воображении, — сказала она, переводя спокойный и ясный взгляд с Теренса на Рэчел. — Наверное, это так чудесно, так чудесно. — Она долго стояла у ворот и разговаривала с ними. Ей явно не хотелось, чтобы они уходили.

Глава 25

День был очень жаркий, такой жаркий, что звуки прибоя походили на вздохи усталого существа. Раскалились даже кирпичи на террасе под навесом, и воздух все плясал и плясал над короткой высохшей травой. От жары завяли в каменных чашах красные цветы, и белые — те, что всего несколько недель назад были такими гладкими и сочными, — съежились и пожелтели. Только жесткие и недружелюбные растения юга, чьи мясистые листья, казалось, заключали в себе шипы, по-прежнему стояли прямо, бросая вызов палящему светилу. Было слишком жарко, чтобы разговаривать, и не так легко было найти книгу, которая могла бы противостоять солнцу. Множество книг были начаты и отброшены, и теперь Теренс читал вслух Мильтона, потому что, как он сказал, строки Мильтона объемны и вещественны, отчего не обязательно понимать их смысл, их можно просто слушать, их почти можно взять в руки.

— Живет невдалеке отсюда нимфа, —

читал он, —

Красавица, которой берега
Извилистого Северна подвластны.
Зовут ее Сабрина, и отцом
Ей был Локрин, сын и преемник Брута [\[69\]](#).

Эти строки, несмотря на утверждение Теренса, казались перегруженными смыслом, — наверное, поэтому слушать их было мучительно; они звучали странно, значили не то, что обычно. Все равно, Рэчел не могла сосредоточить на них внимание, слова вроде «нимфы», «Локрина» и «Брута» вызывали у нее причудливые ассоциации, перед глазами вставали неприятные образы, не связанные со значением этих слов. Из-за жары и пляски воздуха сад тоже выглядел необычно: деревья казались то слишком далекими, то слишком близкими; кроме того, Рэчел была почти уверена, что у нее болит голова. Полной уверенности не было, поэтому она не знала, сказать ли об этом Теренсу сейчас или подождать, пока он дочитает. Она решила дождаться окончания строфы, повернуть головой, и если во всех положениях боль будет несомненной, то она очень спокойно скажет, что у нее болит голова.

Сабрина, мне
Внемли ты и явись скорее
Сюда из волн, где смоль своих кудрей
Рукою белой, как лилея,
Расчесываешь ты в тиши на дне.
Вод серебряных богиня,
К нам приди на помошь ныне
Поскорей! [\[70\]](#)

Да, голова у нее болела, и болела в любом положении.

Рэчел села прямо и сказала, как собиралась:

— У меня болит голова, так что я пойду в дом.

Теренс, который был на середине следующей строки, сразу бросил книгу.

— У тебя болит голова? — переспросил он.

Несколько мгновений они сидели в молчании, глядя друг на друга и держась за руки. Теренса охватило ощущение беды, причинившее ему почти физическую боль; он как будто услышал со всех сторон звон разбитого стекла, которое осыпалось на землю, отчего он оказался на открытом пространстве. Но через две минуты, видя, что Рэчел не разделяет его тревогу, а лишь выглядит более томной и усталой, чем обычно, он пришел в себя, позвал Хелен и спросил у нее, как быть — у Рэчел болит голова.

Миссис Эмброуз не всполошилась, а лишь посоветовала племяннице лечь в постель и добавила, что голова должна заболеть, если так долго сидеть и гулять на жаре, но несколько часов в постели совершенно исцелят ее. Слова Хелен слишком легко успокоили Теренса — перед этим он так же легко впал в уныние от слов Рэчел. Казалось, у Хелен много общего с безжалостной рассудительностью природы, которая наказывает неразумность головной болью, поэтому на Хелен, как и на природу, можно положиться.

Рэчел отправилась в постель. Она лежала в темноте — как ей казалось, очень долго; но, пробудившись наконец от какого-то призрачного сна и увидев, что окна перед ней по-прежнему светлы, вспомнила, как некоторое время назад легла в постель с головной болью и Хелен сказала, что боль пройдет, когда она проснется. Поэтому она предположила, что опять вполне здорова. Тем не менее стена ее комнаты была слишком белой и немного искривленной, вместо того чтобы быть прямой и плоской. То, что она увидела, переведя взгляд на окно, не успокоило ее. Штора надувалась воздухом и медленно опадала, елозя шнурком по полу и производя этим звук, который испугал Рэчел: ей показалось, что в комнате скребется какое-то животное. Она закрыла глаза; в голове пульсировало так сильно, что каждый удар как будто приходился по нерву, пронзая лоб коротким уколом боли. Может, эта боль уже другая, но то, что у нее болит голова, — это точно. Она перевернулась с боку на бок, надеясь, что прохлада простыней исцелит ее и, когда она опять откроет глаза, комната окажется такой, как обычно. После нескольких тщетных попыток Рэчел оставила все сомнения. Она поднялась с кровати и попробовала стоять, держась за медный шар на спинке. Сначала он был ледяным, но вскоре стал таким же горячим, как ее ладонь; боль в голове и во всем теле, покачивание пола под ногами убедили ее в том, что стоять или ходить намного мучительнее, чем лежать, поэтому она вернулась в постель, но, хотя поначалу эта перемена принесла облегчение, вскоре лежать стало так же тягостно, как и стоять. Она смирилась с мыслью, что ей придется провести в постели весь день, и, устроив голову на подушке, попрощалась с радостями дня.

Через час или два зашла Хелен, говоря что-то ободряющее, но вдруг замолчала, секунду выглядела испуганной, а затем — неестественно спокойной. Значит, в том, что она больна, уже нет сомнений. Этот факт подтвердился, когда о нем узнал весь дом, когда в саду оборвалась чья-то песня и когда Мария, принесшая воду, проскользнула мимо кровати с опущенными глазами. Впереди было утро, а потом день, которые надо пережить; временами Рэчел пыталась вернуться в привычный мир, но вскоре поняла, что жар и недомогание отделили его пропастью, через которую невозможно перекинуть мост. Однажды дверь открылась, и в комнату вошли Хелен и смуглый низкорослый человек с очень волосатыми руками — это было главное, что отметила в нем Рэчел. Она хотела спать, и ее мучил жар, а человек казался робким и подобострастным, поэтому она почти не утруждала себя ответами на его вопросы, хотя и понимала, что это врач. Через какое-то время дверь опять открылась, вошел Теренс, он ступал очень осторожно, и Рэчел заметила, что улыбка на его лице слишком неподвижна, чтобы быть естественной. Он сел и заговорил с ней, гладя ее руки, но вскоре ей стало неудобно лежать в одном положении, она

отвернулась, а когда опять посмотрела, то рядом с ней сидела Хелен, а Теренса уже не было. Ничего, она увидит его завтра, когда все будет опять как всегда. Ее главным занятием в течение дня были попытки вспомнить стихотворные строки:

Внемли ты и явись скорее
Сюда из волн, где смоль своих кудрей
Рукою белой, как лилея,
Расчесываешь ты в тиши на дне,

и эти усилия вызывали у нее досаду, потому что слова все время норовили встать не на свое место.

Второй день не слишком отличался от первого, только постель ее приобрела особую важность, а внешний мир, когда она пыталась думать о нем, казался очень далеким. Она почти видела глянцевую, прохладную, полупрозрачную волну, вздымавшуюся в ногах кровати, и, пытаясь удержать мысли на ней, чувствовала освежающую прохладу. Весь день Хелен была где-то рядом, иногда она говорила, что пришло время обеда или время чаепития, но на следующий день все вехи исчезли, а внешний мир отдалился настолько, что звуки шагов по лестнице или этажом выше можно было соотнести с теми, кто их производил, только величайшим напряжением памяти. Воспоминания о том, что она чувствовала, делала или думала три дня назад, совершенно стерлись. С другой стороны, каждый предмет в комнате, сама кровать, собственное тело с его различными частями и разнообразными ощущениями каждый день приобретали все большую важность. Она была полностью отрезана от остального мира и не способна общаться с ним, оставшись наедине со своим телом.

Так проходил час за часом, и утро все никак не кончалось, а потом вдруг за несколько минут яркий дневной свет сменялся ночной непроглядностью. Однажды вечером, когда в комнате было очень сумрачно — то ли потому, что был вечер, то ли из-за штор, — Хелен сказала ей:

— Кое-кто посидит здесь сегодня. Ты не против?

Открыв глаза, Рэчел увидела не только Хелен, но еще сестру милосердия в очках, чье лицо что-то смутно напомнило ей. Она видела ее в часовне.

— Сестра Макиннис, — сообщила Хелен, и сестра улыбнулась — натужно, как все, — и сказала, что видела немного людей, пугавшихся ее. Постояв, они ушли, а Рэчел повернула голову на подушке и проснулась посреди одной из бескрайних ночей, которые не достигают конца суток в двенадцать часов, но продолжают накручивать двузначные числа — тринадцать, четырнадцать, переваливают в третий десяток, потом в четвертый, потом в пятый. Она поняла, что ничего не может помешать ночам длиться столько, сколько им захочется. На большом расстоянии от нее сидела, склонив голову, пожилая женщина; Рэчел чуть приподнялась и с тревогой увидела, что та играет в карты при свете свечи, стоящей на газете. В этой картине было что-то необъяснимо зловещее, Рэчел испугалась и закричала, и тогда женщина положила карты и пошла через комнату, загораживая свечу рукой. Она подходила все ближе и ближе, преодолевая огромное пространство, и, наконец, остановилась над головой Рэчел и сказала:

— Не спите? Давайте я устрою вас поудобнее.

Она поставила свечу и стала расправлять постель. Рэчел пришло в голову, что у женщины, всю ночь игравшей в карты в пещере, должны быть очень холодные руки, и она съежилась от их прикосновения.

— Ах ты, а нога-то куда вылезла! — сказала женщина, подтыкая простины. Рэчел не

поняла, что это ее нога. — Постарайтесь лежать спокойно, — продолжала женщина, — потому что если вы будете лежать спокойно, то жар будет меньше, а если будете крутиться, жар усиливается, а нам совсем ни к чему, чтобы жар стал больше, чем он есть. — Она стояла и смотрела сверху вниз на Рэчел — очень, очень долго. — Чем спокойнее вы будете лежать, тем скорее поправитесь, — опять произнесла она.

Рэчел не сводила глаз с остроконечной тени на потолке, изо всех сил желая, чтобы эта тень сдвинулась с места. Но тень и женщина как будто навеки нависли над ней. Она закрыла глаза. Когда она открыла их, уже прошло несколько часов, однако ночь все еще длилась. Женщина по-прежнему играла в карты, только теперь она сидела в туннеле под рекой, а свеча стояла в маленькой арке в стене над ней. Рэчел крикнула: «Теренс!» — и остроконечная тень опять двинулась по потолку, и женщина медленно-медленно встала, и обе — женщина и тень — опять замерли над ней.

— Вас так же трудно удержать в постели, как мистера Форреста, — сказала женщина, — а он был таким высоким мужчиной.

Чтобы избавиться от этого ужасного неподвижного зрелица, Рэчел опять закрыла глаза, и оказалось, что она идет по туннелю под Темзой, в арках по бокам сидят уродливые низкорослые женщины и играют в карты, а кирпичи стен источают влагу, которая собирается в капли и стекает вниз. Но через какое-то время старухи карлицы превратились в Хелен и сестру Макиннис — они стояли у окна и шептались, шептались без конца.

Тем временем за пределами ее комнаты звуки, движения, жизнь людей в доме продолжались в обыкновенном свете солнца, и череда часов тянулась, как всегда. Когда на первый день болезни, а это был вторник, стало понятно, что Рэчел не поправится до пятницы, уж слишком высокая у нее была температура, Теренса охватило негодование — не на нее, а на внешнюю силу, которая разделяла их. Он подсчитывал, сколько дней будет наверняка для них испорчено. Радость и досада странно смешивались в его душе, когда он понимал, что впервые в жизни так зависит от другого человека, что его счастье так связано с этой девушкой. Дни проходили зря, тратились на какие-то незначительные, несущественные занятия, поскольку после трех недель такого близкого и бурного общения обычные дела казались нестерпимо плоскими и лишенными смысла. Наименее невыносимыми были разговоры с Сент-Джоном о болезни Рэчел, обсуждения каждого симптома, того, что он означает, а когда тема исчерпывалась — обсуждение болезней вообще, их причин и средств исцеления от них.

Дважды в день он приходил посидеть с Рэчел, и дважды в день происходило одно и то же. Войдя в ее комнату — где было не слишком темно, везде, как обычно, лежали ее ноты, книги и письма, — он сразу чувствовал подъем настроения. А посмотрев на Рэчел, он успокаивался совершенно. Она не выглядела тяжелобольной. Теренс садился у кровати и рассказывал, чем он занимался, говоря своим естественным голосом, только тише, чем обычно. Но через пять минут он погружался в глубочайшее уныние. Рэчел была другая; у него не получалось восстановить их прежние отношения; он знал, что это глупо, но не мог удержаться от попыток вернуть ее, заставить ее вспомнить — и когда эти попытки проваливались, он приходил в отчаяние. Каждый раз, покидая комнату, он заключал, что видеть ее хуже, чем не видеть, но постепенно, с течением дня, желание видеть ее возвращалось и становилось почти непреодолимым.

В четверг утром, когда Теренс зашел в ее комнату, он, как обычно, почувствовал прилив уверенности. Рэчел повернулась и попыталась вспомнить некоторые факты о мире, удаленном от нее на миллионы миль.

— Ты пришел из гостиницы? — спросила она.

— Нет, я пока живу здесь, — сказал Теренс. — Мы только что победили, — продолжил он. — А еще пришла почта. Там целая пачка писем тебе — из Англии.

Он ожидал услышать, что она хочет просмотреть их, но она некоторое время ничего не говорила, а затем вдруг произнесла:

— Видишь, вон они, скатываются с холма.

— Скатываются, Рэчел? О чем ты? Ничего ниоткуда не скатывается.

— Старуха с ножом, — ответила она, обращаясь не к Теренсу и глядя мимо него. Она смотрела на вазу, стоявшую на полке, поэтому он встал и убрал ее.

— Теперь они не смогут скатываться, — сказал он бодро. Однако Рэчел лежала, уставившись в ту же точку, и не обращала на него никакого внимания, хотя он говорил с ней. Ему стало так тоскливо, что он больше не мог сидеть рядом с ней и пошел бродить, пока не обнаружил Сент-Джона, который читал на веранде «Таймс». Тот терпеливо отложил газету и выслушал все, что Теренс хотел сказать о горячечном бреде. Он был очень терпелив с Теренсом. Он обращался с ним, как с ребенком.

В пятницу стало ясно, что болезнь — не кратковременное недомогание, которое может пройти за два-три дня; это была настоящая болезнь, требовавшая серьезной организации и сосредоточившая на себе внимание не менее пяти человек, однако волноваться причин не было. Просто она будет длиться не пять дней, а десять. Родригес как будто бы сказал, что разновидности этой болезни хорошо известны. Родригес считал, что близкие воспринимают болезнь с излишним беспокойством. Его визиты всегда сопровождались демонстрацией уверенности, а в беседах с Теренсом он отмечал взволнованные и мелочные расспросы красноречивым жестом, который, по-видимому, означал, что они все преувеличивают серьезность положения. Почему-то он всегда отказывался сесть.

— Высокая температура... — сказал он, украдкой оглядывая комнату, как будто мебель и вышивка Хелен интересовали его больше, чем что-либо. — В этом климате следует ожидать высокой температуры. Она не должна вас тревожить. Мы ориентируемся по пульсу (он похлопал себя по волосатому запястью), а пульс держится превосходный.

Засим он поклонился и исчез. Разговор велся по-французски, что было затруднительно для обеих сторон, — это, оптимизм Родригеса и то, что Теренс понапрасну уважал медицинскую профессию, настраивало его менее критически, чем если бы он встретил этого врача в других обстоятельствах. Бессознательно он принял сторону Родригеса против Хелен, которая, судя по всему, испытывала к нему беспринципное предубеждение.

В субботу стало очевидно, что дневной режим следует организовать строже, чем раньше. Сент-Джон предложил свои услуги; он сказал, что ему нечего делать и он не прочь проводить дни на вилле, если сможет принести пользу. Как будто собираясь в трудоемкую экспедицию, они распределили между собой обязанности, составили подробное расписание на большом листе бумаги и прикололи его к двери гостиной. До города было довольно далеко, и им приходилось с большим трудом добывать в самых неожиданных местах всякие редкие вещи, что требовало напряженной работы мысли; они не предполагали, что предпринимать вроде бы простые, но практические действия будет так трудно — как будто их, огромных великанов, попросили наклониться к самой земле и уложить в узор мельчайшие песчинки.

Доставлять все необходимое из города было обязанностью Сент-Джона, поэтому Теренс долгими часами сидел один в гостиной, у раскрытой двери, прислушиваясь ко всем движениям наверху и ожидая, не позвонят ли его Хелен. Он всегда забывал опустить шторы и сидел в ярком солнечном свете, который беспокоил его, только сам он не осознавал этого. Комната была очень жесткой и неуютной. На стульях лежали шляпы, на полках среди книг стояли пузырьки с лекарствами. Он пытался читать, но хорошие книги были слишком хороши, а плохие — слишком плохи, и единственным, что он мог вытерпеть, была газета, которая своими новостями из Лондона, сообщениями о людях, задававших званные ужины и читавших речи, создавала хоть

какой-то реальный фон тому, что без этого было бы сплошным кошмаром. Потом, когда он сосредотачивал внимание на печатном тексте, мягко звучал зов Хелен, или миссис Чейли приносила что-то необходимое наверху, он быстро взбегал по лестнице в носках и ставил кувшин на столик у двери спальни, на котором теснилось уже множество других кувшинов и чашек. Если ему удавалось залучить на секунду внимание Хелен, он спрашивал: «Как она?» — и получал один из двух ответов: «Очень беспокойна» или: «В целом, кажется, спокойнее».

Как обычно, она будто что-то умалчивала, и Теренс чувствовал, что между ним и ею существует разлад, что, не говоря ни слова, они постоянно спорят друг с другом. Но она была слишком занята, слишком всегда торопилась, чтобы разговаривать.

Напряженное вслушивание, необходимость отдавать распоряжения и наблюдать за тем, чтобы все исполнялось как надо, поглощали все силы Теренса. Он был участником этого долгого однообразного кошмара и не пытался думать, к чему это ведет. Рэчел больна и все; он должен заботиться о молоке и лекарствах, чтобы все, что нужно, было на месте и вовремя. Мысли остановились, сама жизнь замерла. Воскресенье было гораздо хуже субботы — лишь оттого, что напряжение понемногу нарастало с каждым днем, хотя никаких других перемен не было. Отдельные ощущения удовольствия, интереса, досады, которые, сочетаясь, составляют обыкновенный день, теперь слились в одно затянувшееся чувство мерзкой тоски и глубочайшей скуки. Ему не было так скучно с тех пор, как его запирали одного в детской. Нынешний образ Рэчел — безразличной, погруженной в полу забытье — почти перекрыл воспоминание о том, какой она была давным-давно; Теренсу почти не верилось, что когда-то они могли быть счастливы, собирались пожениться — что они тогда чувствовали, что должны были чувствовать? Неясность окутывала всё и всех вокруг, и Теренс как будто сквозь дымку видел Сент-Джона, Ридли, людей, забредавших из гостиницы узнать, как дела. Дымка не скрывала только двух человек — Хелен и Родригеса, потому что они могли сказать что-то определенное о Рэчел.

Тем не менее дни текли своим чередом. В определенные часы люди сходились в столовой и беседовали за столом о ничего не значащих предметах. Как правило, начало и поддержание беседы брал на себя Сент-Джон.

— Я нашел способ, как заставить Санчо миновать белый дом, — сказал Сент-Джон в воскресенье за обедом. — Надо пошуршать комком бумаги у него над ухом — он делает рывок на сотню ярдов, но потом идет вполне прилично.

— Да, но ему нужно зерно. Проследил бы ты за этим.

— Не думаю, что они хорошо его кормят, и Анджело на вид — грязный негодяй.

Надолго воцарилось молчание. Ридли пробормотал себе под нос несколько стихотворных строк и заметил — будто чтобы скрыть это:

— Сегодня очень жарко.

— На два градуса жарче вчерашнего, — сказал Сент-Джон. — Интересно, откуда привозят эти орехи. — Он взял с блюда орех и покрутил его в руке, рассматривая с любопытством.

— Из Лондона, полагаю, — сказал Теренс, тоже взглянув на орех.

— Знающий деловой человек мог бы в два счета сделать тут состояние, — продолжил Сент-Джон. — По-видимому, жара творит что-то не то с человеческими мозгами. Даже англичане становятся странными. Во всяком случае, иметь с ними дело невозможно. Сегодня утром меня задержали в аптеке три четверти часа — безо всякой причины.

Опять последовала длинная пауза. Затем Ридли спросил:

— Родригес вроде спокоен?

— Вполне, — с уверенностью сказал Теренс. — Болезнь должна пройти свои стадии.

Ридли в ответ глубоко вздохнул. Ему было всех искренне жаль, но в то же время он сильно

тосковал по Хелен и был слегка удручен постоянным присутствием двоих молодых людей.

Они вернулись в гостиную.

— Слушай, Хёрст, — сказал Теренс, — еще два часа делать совершенно нечего. — Он сверился с расписанием на двери. — Иди приляг. А я побуду здесь. Чейли посидит с Рэчел, пока Хелен обедает.

Для Хёрста было немалой жертвой уйти, не дождавшись выхода Хелен. Эти краткие встречи с ней были единственным облегчением неудобства и скуки, часто они возмещали все тяготы дня, хотя она могла и не сказать ни слова. Однако, поскольку они все были в одной экспедиции, Хёрст решил подчиниться.

Хелен сошла вниз с большим опозданием. Она выглядела, как человек, долго просидевший в темноте. Лицо ее было бледным и осунувшимся, а выражение глаз — встревоженным, но решительным. Она быстро и с видимым безразличием съела обед, отмела все вопросы Теренса и, наконец, как будто он еще ничего не говорил, слегка сердито посмотрела на него и сказала:

— Так дальше нельзя, Теренс. Либо вы найдете другого врача, либо скажите Родригесу, чтобы он больше не приходил, и я стану обходиться сама. Пусть он сколько угодно говорит, что Рэчел стало лучше; ей не лучше; ей хуже.

Теренс пережил страшный удар — такой же, как от слов Рэчел «У меня болит голова». Он попытался успокоить себя доводом о том, что Хелен переутомлена, кроме того, его не оставляло ощущение, что она противостоит ему в каком-то споре.

— Вы думаете, она в опасности? — спросил он.

— Никто не выдержит много дней в таком состоянии, — ответила Хелен. Она смотрела на него и говорила так, будто кем-то возмущена.

— Хорошо, я сегодня же поговорю с Родригесом.

Хелен сразу ушла наверх.

Теперь ничто не могло смягчить тревогу Теренса. Он не мог ни читать, ни спокойно сидеть, его чувство безопасности было поколеблено — хотя он и решил, что Хелен преувеличивает, а Рэчел не так уж тяжело больна. Но он хотел, чтобы это мнение подтвердил кто-то третий.

Как только Родригес спустился от Рэчел, Теренс спросил с напором:

— Ну, как она? Вы не считаете, что ей хуже?

— Волноваться нет причин, говорю вам — нету. — Родригес ответил на своем жутком французском, вынужденно улыбаясь и делая мелкие движения, как будто хотел улизнуть.

Хьюит твердо стоял между ним и дверью. Он решил сам разобраться, что это за человек. Доверие к Родригесу испарилось, когда Теренс присмотрелся и увидел, как он ничтожен, неопрятен, вертляв, как неумно и волосато его лицо. Странно, что все это не было замечено раньше.

— Вы, конечно, не будете возражать, если мы попросим вас проконсультироваться с другим врачом?

Услышав это, человечек пришел в ярость.

— А! — вскричал он. — Вы не доверяете мне? Вы не согласны с моим лечением? Вы хотите, чтобы я отказался от больной?

— Отнюдь нет, — ответил Теренс. — Но при такой серьезной болезни...

Родригес пожал плечами:

— Она не серьезная, уверяю вас. Вы слишком волнуетесь. Мадемуазель больна не тяжело, а я все-таки врач. Конечно, мадам напуганна. — Он ухмыльнулся. — Я это прекрасно понимаю.

— Фамилия и адрес врача, — не отступал Теренс.

— Другого врача нет, — насупившись, сказал Родригес. — Все доверяют мне. Смотрите! Я покажу вам!

Он вытащил пачку старых писем и стал перебирать их, как будто отыскивая то, которое опровергнет подозрения Теренса. При этом он начал рассказывать историю об английском лорде, доверявшем ему, — это знатный английский лорд, чью фамилию он, к сожалению, забыл.

— Здесь нет другого врача, — заключил он, все еще перебирая письма.

— Ничего, — сухо сказал Теренс. — Я сам наведу справки.

Родригес положил письма обратно в карман.

— Прекрасно, — проговорил он. — Я не возражаю.

Он поднял брови и пожал плечами, как бы повторяя, что болезнь принимается слишком всерьез и что другого врача нет, а затем шмыгнул прочь, дав понять Теренсу, что чувствует питаемое к нему недоверие и затаил злобу.

После этого Теренс уже не мог оставаться внизу. Он поднялся, постучал в комнату Рэчел и спросил у Хелен, нельзя ли ему несколько минут побывать с больной. Вчера он ее не навещал. Хелен не возразила, отошла к окну и села за стоявший около него стол.

Теренс сел рядом с кроватью. Лицо Рэчел изменилось. Она выглядела так, будто была целиком сосредоточена на усилии оставаться в живых. Ее губы искривились, щеки ввалились и пылали, но отнюдь не здоровым румянцем. Глаза были приоткрыты, но виднелись только нижние части белков — она не смотрела, просто у нее не было сил закрыть их до конца. Когда Теренс поцеловал ее, она все-таки открыла глаза полностью. Но увидела только старуху, ножом отрезающую голову у мужчины.

— Она упала! — прошептала Рэчел. Затем повернулась к Теренсу и взволнованно спросила что-то о человеке с мулами, но он не понял вопроса. — Почему он не приходит? Почему он не приходит? — повторяла она. Теренс ужаснулся при мысли о том, что такую болезнь лечит этот грязный человечек, он безотчетно повернулся к Хелен, но она что-то делала за столом у окна и, видимо, не понимала, какое потрясение он переживает. Теренс встал, чтобы уйти, не в силах больше это слышать, от негодования и отчаяния сердце его билось часто и болезненно. Когда он проходил мимо Хелен, она попросила его тем же усталым, неестественным, но решительным голосом, чтобы он принес еще льда и велел наполнить кувшин свежим молоком.

Выполнив эти указания, он отправился искать Хёрста. Усталый, измученный жарой, Сент-Джон спал на кровати, но Теренс без стеснения разбудил его.

— Хелен считает, что ей хуже, — сказал он. — Нет сомнений, что она опасно больна. Родригес бесполезен. Надо найти другого врача.

— Но ведь другого врача нет, — сонно проговорил Хёрст, садясь и протирая глаза.

— Не валяй дурака! — воскликнул Теренс. — Другой врач, безусловно, есть, а если нет, то тебе придется найти его. Это надо было сделать давно. Я иду седлать лошадь. — Он не мог усидеть на одном месте.

Не прошло и десяти минут, как Сент-Джон уже скакал по палящей жаре в город на поиски врача; ему было велено найти его и привезти, даже если для этого понадобится специальный поезд.

— Это надо было сделать давно! — гневно повторил Хьюит.

Вернувшись в гостиную, он нашел там миссис Флашинг. Она пришла без доклада, как и все в эти дни, через кухню или сад, и, держась, по обыкновению, очень прямо, стояла посреди комнаты.

— Ей лучше? — коротко спросила миссис Флашинг. Они даже не попытались поздороваться.

— Нет, — сказал Теренс. — Скорее, хуже.

Миссис Флашинг минуту-другую как будто о чем-то размышляла, глядя Теренсу в глаза.

— Вот что я вам скажу, — начала она, нервно подергиваясь. — На седьмой день всегда

начинаются тревоги. Просто вы сидите здесь сами с собой и терзаетесь. Вам кажется, что она плоха, но любой, кто посмотрит на нее свежим взглядом, скажет, что ей лучше. У мистера Эллиота была лихорадка, но теперь он поправился, — выпалила она. — Она подхватила это не в нашей поездке. Что особенного — несколько дней жар? У моего брата однажды был жар двадцать шесть дней. А через неделю-другую он уже был на ногах. Мы давали ему только молоко и аррорут...

Тут вошла миссис Чейли с посланием.

— Меня зовут наверх, — сказал Теренс.

— Увидите, ей полегчает! — крикнула миссис Флашинг ему вдогонку. Она страстно хотела убедить Теренса и, когда он вышел, ничего ей не сказав, почувствовала неудовлетворенность и беспокойство; оставаться ей не хотелось, но идти обратно было невыносимо. Она стала бродить из комнаты в комнату, ища с кем бы поговорить, но везде было пусто.

Теренс поднялся наверх и остановился в дверном проеме, чтобы получить указания от Хелен; он смотрел на Рэчел, но не пытался заговорить с ней. Она, хотя и туманно, осознавала присутствие Теренса, и оно беспокоило ее, поэтому она повернулась к нему спиной.

Уже шесть дней она не замечала внешнего мира, поскольку все ее внимание требовалось для того, чтобы следить за жаркими, красными, стремительными видениями, непрерывно проходившими перед ее глазами. Она знала, что для нее исключительно важно созерцать эти видения и улавливать их смысл, но каждый раз не успевала расслышать или разглядеть именно то, что объяснило бы их. Поэтому лица, которые время от времени оказывались очень близко от нее — лица Хелен, сиделки, Теренса, врача, — беспокоили ее, отвлекали внимание: она боялась упустить разгадку. Однако в конце четвертого дня она вдруг не смогла отделить лицо Хелен от видений: когда та наклонилась над кроватью, ее рот открылся, и она стала бормотать что-то непонятное, как все остальные. Все видения были соединены каким-то сюжетом, каким-то приключением, каким-то бегством. Их герои беспрестанно совершали все новые и новые, всегда непонятные поступки, за всем этим стояла какая-то причина, которую Рэчел обязана была уловить. Они оказывались то среди деревьев и дикарей, то в море, то на верхушках огромных башен; они то прыгали, то летали. Но каждый раз, когда приближалась кульминация, что-то неизменно ускользало от ее понимания, и все приходилось начинать сначала. Жара была удушающей. Наконец лица ушли вдали, а Рэчел упала в глубокий омут с вязкой водой, которая вскоре сомкнулась над ее головой. Она не видела и не слышала ничего, кроме глухого рокота — шума волн, несущихся где-то высоко над ней. Хотя все ее мучители думали, что она умерла, она не умерла, а лишь свернулась калачиком на дне моря. Там она и лежала, иногда видя тьму, иногда — свет, и то и дело кто-то переворачивал ее, лежащую на морском дне.

Проведя несколько часов на солнцепеке в пререканиях с уклончивыми и болтливыми туземцами, Сент-Джон вытянул из них сведения о том, что другой врач все-таки существует, это француз, который сейчас отдыхает в горах. Найти его, говорили они, совершенно невозможно. Зная эту страну, Сент-Джон сомневался, что телеграмма может быть как послана, так и получена, но, уменьшив расстояние до городка в горах, где находился врач, с сотни миль до тридцати и наняв экипаж с лошадьми, он, не раздумывая, отправился за ним лично. Он смог найти врача и в конце концов уговорил его оставить молодую жену и без промедления ехать к больной Рэчел. Они добрались до виллы во вторник, к полудню.

Теренс вышел встретить их, и Сент-Джон был поражен тем, как он похудел за это время; кроме того, Теренс был очень бледен, и во взгляде его появилось что-то странное. Однако отрывистая речь и мрачноватая властность доктора Лесажа произвели на обоих благоприятное впечатление, хотя было ясно, что врач сильно раздражен всей этой историей. Спустившись вниз, он отдал категоричные распоряжения, но ему не пришло в голову высказывать свое мнение —

либо из-за присутствия Родригеса, который был одновременно подобострастен и ядовит, либо в силу уверенности, что все и так уже всё знают.

— Конечно, — сказал он, пожав плечами, когда Теренс спросил его, тяжело ли больна Рэчел.

И Теренс, и Сент-Джон почувствовали некоторое облегчение, когда доктор Лесаж ушел, оставив ясные указания и пообещав повторить визит через несколько часов; к сожалению, приободрившись, они стали говорить больше, чем обычно, а это привело к ссоре. Они повздорили из-за дороги, Портсмутской дороги. Сент-Джон сказал, что она покрыта щебнем там, где проходит мимо Хиндхеда, а Теренс знал так же точно, как свое имя, что в том месте она щебнем не покрыта. Во время спора они наговорили друг другу резкостей, и ужин закончился в молчании, не считая редких и приглушенных замечаний Ридли.

Когда стемнело и внесли лампы, Теренс уже был не в силах сдерживать свое раздражение. Сент-Джон отправился спать совершенно измученным, пожелав Теренсу спокойной ночи гораздо ласковее, чем обычно, — из-за ссоры, а Ридли удалился к своим книгам. Оставшись один, Теренс стал расхаживать по комнате. Он остановился у раскрытоого окна.

В городе, лежавшем внизу, один за другим гасли огни, в саду было тихо и прохладно, поэтому Теренс вышел на террасу. Он стоял в темноте, видя в слабом сером свете лишь очертания деревьев, и тут его охватило желание убежать, покончить со всеми этими страданиями, забыть, что Рэчел больна. Он позволил себе погрузиться в забвение. Как будто ветер, яростно дувший без перерыва, вдруг затих, и тревоги, напряжение, страхи, мучившие его, исчезли. Он стоял в неподвижном воздухе, один на своем маленьком островке, неуязвимый для любой боли. Не имело значения, больна Рэчел или нет; не имело значения, врозь они или вместе; ничто не имело значения, ничто... На далекий берег набегали волны, ветви шевелил мягкий ветерок, окутывавший Теренса покоем и безмятежностью, тьмой и пустотой. Ясно, что мир борьбы, тревог и страхов — не настоящий мир, настоящий мир — этот, лежащий под поверхностью, поэтому, что бы ни случилось, бояться нечего. Тишина и покой будто обернули его тело прохладным покрывалом, утихомирили боль в каждом нерве, его душа опять расправилась и вернула свой привычный облик.

Но через некоторое время из дома донесся звук, который пробудил его, он бессознательно повернулся и пошел в гостиную. Вид освещенной комнаты так резко вернул все забытое, что Теренс замер на несколько мгновений не в силах пошевелиться. Он вспомнил все: который теперь час, даже до минут, в каком положении дела и что ожидается. Он проклинал себя за то, что хотя бы на секунду поверил в то, чего нет. Теперь пережить ночь будет еще труднее, чем всегда.

Не в силах оставаться в пустой гостиной, Теренс вышел и сел на ступеньку посередине лестницы в комнату Рэчел. Ему очень хотелось с кем-нибудь поговорить, но Хёрст спал, и Ридли тоже; из комнаты Рэчел не доносилось ни звука. Во всем доме было только слышно, как Чейли хлопочет на кухне. Наконец на лестнице над головой Теренса зашуршало, и сестра Макиннис вышла, застегивая манжеты: ей предстояло ночное дежурство. Теренс поднялся и остановил ее. Он редко говорил с ней, но она могла утвердить надежду, которая все еще жила в нем, — что Рэчел больна не тяжело. Он сообщил ей шепотом о приходе доктора Лесажа и что тот сказал.

— А теперь, сестра, — прошептал он, — пожалуйста, скажите ваше мнение. Вы считаете, что она очень тяжело больна? Ей грозит опасность?

— Доктор сказал... — начала она.

— Да-да, но мне нужно ваше мнение. Вы много видели подобных случаев?

— Я не могу сказать вам больше, чем доктор Лесаж, мистер Хьюит, — ответила она

осторожно, как будто ее слова могли быть использованы против нее. — Случай серьезный, но вы можете быть вполне уверены, что мы делаем для мисс Винрэс все возможное. — В ее голосе слышалось профессиональное самодовольство. Но она, по-видимому, поняла, что не удовлетворила молодого человека, который все так же загораживал ей дорогу: она слегка отступила в сторону на ступеньке и посмотрела в окно, в котором были видны луна и море. — Если вы спрашиваете меня, — начала она странно-тайным голосом, — то я вообще не люблю май.

— Май? — переспросил Теренс.

— Возможно, это и выдумки, но я не люблю, когда кто-то заболевает в мае, — продолжила она. — В мае все идет как-то не так. Вероятно, из-за луны. Говорят, она влияет на мозг, вы не слышали, сэр?

Он посмотрел на нее, но не смог ответить; под прямым взглядом она, как и все остальные, съежилась и показалась бесполезной, злонамеренной, недостойной доверия.

Она проскользнула мимо него и удалилась.

Он пошел в свою комнату, но не мог даже раздеться. Он долго ходил из стороны в сторону, а потом, высунувшись в окно, взирал на землю, которая лежала темной массой на фоне более светлой синевы неба. Со страхом и отвращением он смотрел на стройные черные кипарисы, которые еще можно было разглядеть в саду, и слушал незнакомые скрипучие звуки, свидетельствовавшие о том, что земля еще горячая. Все, что он видел и слышал, казалось зловещим, полным враждебности, дурных предзнаменований, и как будто принимало участие в заговоре против Теренса — вместе с местными жителями, сиделкой, врачом и страшной силой самой болезни. Они как будто объединили свои усилия, чтобы извлечь из него как можно больше страданий. Он не мог привыкнуть к своей боли — это было для него открытием. Раньше он не понимал, что под поверхностью любого существования, каждого дня человеческой жизни таится страдание; до поры до времени оно спит, но всегда готово пробудиться и поглотить свои жертвы; он хорошо представлял себе это страдание — как огонь, окружающий все сущее, лижущий его края, пожирающий людей. Впервые он осознал смысл слов, которые всегда казались ему пустыми: борьба за жизнь, тяготы жизни. Теперь он знал по себе, что жизнь тяжела и полна страданий. Он смотрел на разбросанные огни внизу и думал об Артуре и Сьюзен, об Эвелин и Перротте, о том, что они пускаются на риск в полном неведении и своим счастьем открывают свои души для такого же страдания. Как они осмеливаются любить друг друга, удивлялся он; как он сам осмеливался жить так, как жил раньше — стремительно и беззаботно, ни на чем подолгу не задерживаясь, любя Рэчел так, как он ее любил? Он больше никогда не почувствует себя в безопасности, никогда не поверит в прочность жизни, никогда не забудет, какие бездны страдания лежат под тонким счастьем, ощущением благополучия и надежности. Когда он оглядывался назад, ему казалось, что их счастье никогда не было так велико, как сейчас велика его боль. В их счастье всегда было что-то несовершенное, им всегда хотелось еще чего-то — недоступного для них. Счастье было отрывочным и неполным — потому что они были слишком молоды и еще мало понимали жизнь.

Отсветы его свечи дрожали на деревьях за окном; он смотрел на ветку, качавшуюся в темноте, и представлял весь внешний мир; он думал об огромной реке и огромном лесе, о широчайших просторах суши и водных равнинах, окутывавших землю; громадное небо круто поднималось от моря, а между небом и морем перетекали массы воздуха. Как необъятны и темныочные пространства, открытые всем ветрам; странно подумать, как мало там человеческих поселений, как ничтожны пятнышки света, похожие на одиноких светляков, как разбросаны они среди первозданных складок земли. И в этих поселениях живут маленькие люди, крошечные мужчины и женщины. Если задуматься, это нелепо — сидеть здесь, в этой

комнатенке, терзаться заботой и страдать. Разве что-то имеет значение? Рэчел, крошечное существо, лежит больная этажом ниже, а он сидит тут и страдает из-за нее. Близость их тел в громадной Вселенной, их малость казались ему нелепыми и смехотворными. Ничто не имеет значения, повторил он, у людей нет ни власти над чем-либо, ни надежды. Он облокотился на подоконник и думал, думал, почти утратив ощущение времени и места. И все-таки, хотя он был убежден, что все это нелепо, смехотворно, что люди малы и будущее их безнадежно, его не оставляло чувство, что эти мысли составляют часть жизни, которую они с Рэчел проживут вместе.

Возможно, благодаря смене врача на следующий день Рэчел выглядела значительно лучше. Хелен была по-прежнему очень бледна и измучена, но в ее взгляде как будто слегка рассеялись тучи, которые затягивали его все последнее время.

— Она заговорила со мной, — сама начала Хелен. — Она спросила, какой сегодня день недели, в полном сознании.

Затем вдруг, без всякого предвестия и видимой причины, в ее глазах появились слезы и потекли ровными струйками по щекам. Она плакала, почти не изменив выражения лица и не пытаясь сдержаться, будто не сознавала, что плачет. Несмотря на облегчение, которое принесли ее слова, ее вид привел Теренса в смятение: неужели все средства исчерпаны? Неужели власть этой болезни безгранична? Неужели перед ней все отступает? Хелен всегда казалась ему сильной и решительной, а теперь она — как ребенок. Он обнял ее, и она по-детски прижалась к нему и стала тихо плакать у него на плече. Затем она взяла себя в руки и вытерла слезы; глупо так себя вести, сказала она; и повторила: очень глупо, когда нет сомнений, что Рэчел стало лучше. Она попросила у Теренса прощения за такую неразумность. Она остановилась у двери, вернулась и, ничего не говоря, поцеловала его.

В этот день Рэчел действительно сознавала происходящее вокруг. Она поднялась на поверхность темного и вязкого омута и качалась на волне — вверх-вниз, вверх-вниз; у нее не осталось ни капли собственной воли; она лежала на волне, чувствуя небольшую боль, но главным образом — слабость. Волна сменилась склоном горы. Тело Рэчел теперь было сугробом тающего снега, над которым ее колени поднимались, как высокие остроконечные скалы из голой кости. Да, она видела Хелен, видела свою комнату, но все стало очень бледным и полуопрозрачным. Иногда она могла видеть сквозь стену напротив. Порой, когда Хелен отходила, она удалялась на такое огромное расстояние, что Рэчел едва могла разглядеть ее. А еще комната приобрела странную способность расширяться, и, хотя Рэчел напрягала свой голос изо всех сил, бросала его как можно дальше, так что иногда он превращался в птицу и улетал, — все равно она сомневалась, достиг ли он того, к кому она обращалась. Иногда время будто останавливалось или проваливалось куда-то между соседними мгновениями, Рэчел даже видела эти провалы; бывало, проходил целый час, пока Хелен поднимала руку, замирая между отдельными рывками, и наливала лекарство. Фигура Хелен, наклонявшейся, чтобы приподнять голову Рэчел, казалась гигантской, она обрушивалась, как падающий потолок. Но больше всего Рэчел просто лежала, ощущая свое тело на кровати, как на поверхности воды, забившись сознанием в какой-нибудь отдаленный уголок этого тела или вырвавшись из него и паря по комнате. Все, на что надо было смотреть, требовало усилий, но больше всего усилий уходило на Теренса, потому что он заставлял ее сознание соединиться с телом в стремлении что-то вспомнить. Она не хотела вспоминать; Рэчел тревожило, когда люди нарушили ее одиночество; она хотела быть одна. Это было ее единственное желание.

Хотя Хелен и расплакалась, проблеск надежды в ней Теренс воспринял с чем-то вроде триумфа: в противостоянии между ними она первая сделала шаг к признанию своей неправоты. В тот день он ждал, когда спустится доктор Лесаж, с явным волнением, но и с подспудной

уверенностью, что со временем он всех заставит признать их неправоту.

Как всегда, доктор Лесаж был угрюм и отвечал очень скрупульно. На вопрос Теренса: «Ей лучше?» — он сказал, странно посмотрев: «У нее есть шанс выжить».

Дверь закрылась, Теренс отошел к окну и прислонился лбом к стеклу.

— Рэчел, — сказал он сам себе. — Шанс выжить. Рэчел.

Как они могут говорить такое о Рэчел? Разве вчера кто-нибудь всерьез верил, что Рэчел умирает? Их помолвке всего четыре недели. Две недели назад она была совершенно здорова. Как могли четырнадцать дней довести ее до такого состояния? Он не мог осознать, что значит фраза: «У нее есть шанс выжить» — ведь они с ней помолвлены. Он повернулся, все так же окутанный сумрачным туманом, и пошел к двери. Внезапно он все увидел и понял. Он увидел комнату, сад, качающиеся деревья — все это может существовать и без нее, она может умереть. Впервые за время ее болезни он точно вспомнил, как она выглядела раньше и как они друг к другу относились. Теперь острое счастье от ее близости смешивалось с еще более острой тревогой, которой он раньше не ощущал. Он не может допустить ее смерти, он не может без нее жить. Но, после недолгого сопротивления, завеса опять все скрыла, и он перестал что-либо ясно понимать и чувствовать. Все продолжалось — по-прежнему, тем же чередом. Если не считать боли в сердце при каждом ударе и того, что его пальцы были холодны, как лед, он не сознавал своей тревоги. Он как будто не испытывал никаких чувств ни к Рэчел, ни к кому-то или чему-то в мире. Он продолжал отдавать распоряжения, договариваться с миссис Чейли, составлять списки и время от времени подниматься по лестнице, чтобы спокойно что-то поставить на столик у двери в комнату Рэчел. В этот вечер доктор Лесаж казался не таким угрюмым, как обычно. Он по своей воле задержался на несколько минут и, обращаясь в равной степени к Сент-Джону и Теренсу — как будто забыл, кто из них приходится девушке женихом, — сказал:

— Я считаю, что сегодня ее состояние очень серьезно.

Ни один из них не отправился спать и не пытался отослать другого. Они сидели в гостиной, играя в пикет и держа дверь открытой. Сент-Джон постелил на диване и стал уговаривать Теренса прилечь. Они начали пререкаться из-за того, кому спать на диване, а кому — на сдвинутых стульях, покрытых пледами. Наконец Сент-Джон заставил Теренса лечь на диван.

— Не валяй дурака, Теренс, — сказал он. — Ты просто заболеешь, если не будешь спать.

Теренс продолжал отказываться, и Сент-Джон начал: «Дружище...» — но осекся, испугавшись сентиментальности: он почувствовал, что к горлу подступили слезы.

Он собирался сказать то, что давно хотел: что ему жаль Теренса, что Теренс ему небезразличен, и Рэчел тоже. Знает ли она, как она ему небезразлична, — говорила ли она что-нибудь, может быть, спрашивала? Он жаждал высказать это, но воздержался, подумав, что это, в сущности, будет эгоистично и не стоит тревожить Теренса такими разговорами. Тот уже почти заснул. Но Сент-Джон не мог заснуть сразу. Хоть бы что-нибудь произошло — думал он про себя, лежа в темноте, — чтобы это напряжение кончилось. Ему было все равно, что произойдет, — только бы прервалась череда тяжелых и мрачных дней; пусть она умрет — он не против. Он понимал, что быть не против этого — предательство, но ему казалось, что в нем больше не осталось никаких чувств.

Всю ночь никто никого не звал, и не было никаких движений, только один раз открылась и закрылась дверь спальни. Постепенно в неприбранную комнату вернулся свет. В шесть часов зашевелились слуги, в семь они спустились на цыпочках в кухню, и через полчаса начался новый день.

Однако этот день был не таким, как прошедшие, хотя в чем состоит разница, определить было бы трудно. Возможно, в том, что все как будто чего-то ждали. Дел было явно меньше, чем обычно. Через гостиную проходили люди — мистер Флашинг, мистер и миссис Торнбери. Они

говорили тихо, извиняющимся тоном, сесть отказывались, но выстаивали довольно подолгу, хотя им было нечего больше сказать, кроме: «Чем мы можем помочь?» — а помочь они не могли ничем.

Теренс чувствовал странную непричастность ко всему этому, и ему вспомнились слова Хелен о том, что, стоит чему-нибудь случиться, люди ведут себя именно так. Была ли она права, ошибалась ли? Это было ему слишком малоинтересно, чтобы составлять какое-то мнение. Он откладывал многие мысли на потом, как будто придет день, когда он додумает их — только не сейчас. Дымка нереальности все сгущалась и сгущалась, и в конце концов он стал чувствовать какое-то онемение во всем теле. Его ли это тело? Действительно ли это его собственные руки?

Ко всему прочему, в это утро Ридли впервые обнаружил, что не может сидеть один в своей комнате. Внизу ему было неуютно, он не понимал, что происходит, и поэтому всем мешал, но из гостиной не уходил. Читать ему не давало беспокойство, а больше делать было нечего, и он стал ходить из стороны в сторону, вполголоса декламируя стихи. Теренс и Сент-Джон все утро были заняты разнообразными делами — то распечатывали посылки, то откупоривали бутылки, то писали распоряжения, — и песнь Ридли вместе с ритмом его шагов стала для них привычным фоном.

И бились, не щадя себя
И не жалея сил,
Предвечный враг затмил их взор,
Той ночью он царил.
Как два оленя, утомясь,
На поле отдохнуть легли... [\[71\]](#)

— О, это невыносимо! — воскликнул Хёрст и тут же замолчал, как будто своей несдержанностью нарушил какое-то соглашение. Опять и опять Теренс крадучись поднимался до половины лестницы, надеясь раздобыть какие-нибудь вести о Рэчел. Но все сведения о ней были до крайности отрывочными: она что-то выпила; немного поспала; вроде бы чуть успокоилась. И доктор Лесаж ограничивался обсуждением мелочей, только один раз он сам рассказал, что его только что вызывали удостоверить смерть восьмидесятилетней женщины путем вскрытия вены. Она боялась быть похороненной заживо.

— Эти страхи, — заметил он, — обычно бывают у очень старых людей, и весьма редко — у молодых.

Сент-Джон и Теренс выказали интерес к тому, что он рассказывал: им это показалось очень странным. Еще одной странностью дня было то, что все забыли об обеде и вспомнили о нем уже довольно поздно; на стол подавала миссис Чейли, и она тоже выглядела странно, потому что на ней было жесткое ситцевое платье, а рукава закатаны выше локтей. Впрочем, она будто забыла думать о своей внешности, как если бы ее разбудили в полночь из-за пожара; забыла она и о сдержанности: она уговаривала молодых людей поесть довольно фамильярно, как будто нянчила их в детстве и держала голышом на коленях. Она еще и еще раз уверяла их, что они просто обязаны питаться.

Таким образом, послеобеденное время было укорочено и прошло неожиданно быстро. Однажды дверь открыла миссис Флашинг, но, увидев их, тут же закрыла; Хелен спустилась что-то взять, а потом, выходя из гостиной, остановилась, чтобы проглядеть адресованное ей письмо. Она стояла, переворачивая страницы; необычное скорбное изящество, с которым она держалась, поразило Теренса, и он, по своему теперешнему обыкновению, решил отложить это в памяти,

чтобы обдумать потом. Они почти не разговаривали друг с другом, их спор как будто приостановился или был забыт.

Когда вечернее солнце покинуло фасад дома, Ридли стал ходить по террасе, читая строфы длинной поэмы — приглушенным голосом, но с внезапными звучными всплесками. Обрывки стихов слышались сквозь открытое окно, когда он проходил мимо туда и обратно.

Вaal, Peора царь,
Покинул свой алтарь,
И палестинский бог, что дважды был повергнут,
И лунные Астарты... [\[72\]](#)

Звучание этих слов почему-то раздражало обоих молодых людей, но надо было терпеть. Вечер сгущался, далеко в море играли красные отсветы заката. Теренс и Сент-Джон поняли, что день почти кончился и надвигается очередная ночь, отчего обоих охватило одно и то же чувство отчаяния. Глядя на огни, которые один за другим зажигались в городе, Хёрст опять ощутил пугающее и мерзкое желание разрыдаться. Потом Чейли внесла лампы. Она рассказала, что Мария, открывая бутылку, имела глупость сильно порезать руку; Чейли перевязала ее, но это очень некстати, когда столько работы. Чейли и сама хромала из-за ревматизма, но считала, что обращать внимание на свою нравную плоть слуг — чистая потеря времени. Вечер продолжался. Неожиданно приехал доктор Лесаж и пробыл наверху очень долго. Один раз он спустился и выпил чашку кофе.

— Состояние очень тяжелое, — ответил он на вопрос Ридли. Раздраженность его исчезла, он был теперь сдержан и официален, но в то же время крайне предупредителен, чего за ним раньше не замечалось. Он опять поднялся наверх. В гостиной осталось трое мужчин. Ридли был теперь вполне спокоен, и мысли его как будто уже не блуждали где-то далеко. Если не считать незначительных, наполовину непроизвольных движений и восклицаний, которые тут же подавлялись, они сидели в полной тишине. Казалось, что они наконец представили перед чем-то определенным.

Было уже почти одиннадцать, когда доктор Лесаж опять появился в гостиной. Он подошел очень медленно и заговорил не сразу. Он посмотрел сначала на Сент-Джона, затем на Теренса и сказал:

— Мистер Хьюит, полагаю, вам теперь следует подняться наверх.

Теренс тут же встал и ушел, оставив Ридли и Сент-Джона сидеть, а доктора Лесажа неподвижно стоять между ними.

В коридоре он увидел Чейли, повторявшую: «Это ужасно... это ужасно...»

Теренс не обратил на нее внимания; он слышал, что она говорит, но слова не сообщали ему никакого смысла. Поднимаясь по лестнице, он повторял себе: «Этого не может быть. Это не может случиться со мной».

Он с удивлением посмотрел на собственную руку на перилах. Лестница была очень крутая, и ему показалось, что взбирался на нее он очень долго. Он понимал, что должен испытывать сильные чувства, но вместо этого не чувствовал ничего вообще. Открыв дверь, он увидел Хелен, сидевшую у кровати. На столе стояли затененные лампы, и вся комната, хотя в ней было множество вещей, выглядела очень аккуратно. Слабо, но совсем не противно пахло дезинфицирующими средствами. Хелен молча встала и уступила ему свой стул. Проходя друг мимо друга, они обменялись странными ровными взглядами; он удивился необычной ясности ее глаз, их покою и печали. Он сел у кровати и через мгновение услышал, как за Хелен закрылась

дверь. Он оказался наедине с Рэчел и ощутил слабый отголосок того облегчения, которое они, бывало, чувствовали, когда их оставляли одних. Он посмотрел на нее. Он ожидал обнаружить какую-то ужасную перемену в ней, но этого не было. Она действительно выглядела очень похудевшей и, как ему показалось, очень утомленной, но она была самой собой. Более того, она увидела его и узнала. Улыбнувшись ему, она сказала:

— Здравствуй, Теренс.

Завеса, которая так долго разделяла их, мгновенно исчезла.

— Рэчел, — ответил он своим обычным голосом, отчего она шире открыла глаза и улыбнулась знакомой улыбкой. Он поцеловал ее и взял за руку. — Без тебя было очень гадко, — сказал он.

Она все так же смотрела на него, улыбаясь, но вскоре в ее глазах появилась легкая тень усталости или недоумения, и она опять закрыла их.

— Но когда мы вместе, нам очень хорошо, — сказал он. Он продолжал держать ее за руку.

В комнате стоял полумрак, поэтому невозможно было разглядеть какую-либо перемену в ее лице. На Теренса снизошло ощущение величайшего покоя, поэтому он не хотел ни двигаться, ни говорить. Чудовищная пытка и нереальность последних дней кончились, все пришло к полной определенности и успокоению. Ум Теренса опять заработал с легкостью. Чем дольше он сидел, тем глубже ощущал покой, проникавший в каждый уголок его души. В какой-то момент он задержал дыхание и прислушался: она еще дышала; он еще некоторое время поразмышлял; теперь им как будто легче думалось: ему казалось, что он — это и он сам, и Рэчел одновременно; потом он опять прислушался: нет, она перестала дышать. Тем лучше — вот что такое смерть. Это ничто, это перестать дышать. Это счастье, совершенное счастье. Они достигли того, к чему всегда стремились, — союза, который был невозможен, пока они жили. Не отдавая себе отчета в том, что он думает про себя, а что говорит вслух, он произнес:

— Никто еще не был так счастлив, как мы. Никто никогда не любил, как мы.

Ему показалось, что их единение и счастье расходятся по комнате кругами, все шире и шире, наполняя пространство. У него не осталось ни одного неисполненного желания. Он и она обладали тем, что у них никогда не может быть отнято.

Он не осознавал, вошел ли кто-то еще в комнату, но позже, через несколько мгновений или несколько часов, он почувствовал на спине руку. Руки обняли его. Он не хотел, чтобы его обнимали, и таинственные шепчущие голоса раздражали его. Руку Рэчел, теперь уже холодную, он положил на покрывало, встал со стула и отошел к окну. Занавески были раздвинуты, за окном виднелась луна с длинной серебристой дорожкой, лежавшей на волнах.

— Надо же, — сказал он обычным голосом. — Посмотрите на луну. Вокруг луны — ореол. Завтра будет дождь.

Руки — то ли мужские, то ли женские — опять обхватили его; они мягко толкали его к двери. Он сам повернулся и спокойно пошел впереди этих рук, немного удивляясь тому, как странно ведут себя люди лишь оттого, что кто-то умер. Если им угодно, он уйдет, но они ничем не могут нарушить его счастье.

При виде коридора и столика с чашками и тарелками ему вдруг пришло в голову, что это все мир, в котором он больше никогда не увидит Рэчел.

— Рэчел! Рэчел! — резко закричал он, пытаясь броситься обратно к ней. Но его не пустили, его повели по коридору, в дальнюю спальню. Внизу был слышен его топот, когда он пытался вырваться наружу, и еще дважды он крикнул: «Рэчел! Рэчел!»

Глава 26

Два или три часа луна еще струила свой свет сквозь пустой воздух. Облака не мешали свету, он падал прямо и ложился на море и землю, похожий на холодный белый иней. В эти часы тишина ничем не нарушалась, двигались лишь деревья, их ветви слабо покачивались, и вместе с ними шевелились тени, пересекавшие белую поверхность земли. В глубокой тишине можно было различить только один звук — еле слышное, но размеренное дыхание, которое не прекращалось и не становилось громче или тише. Оно продолжалось, когда птицы начали перелетать с ветки на ветку, и первые высокие ноты их голосов слышались на его фоне. Оно продолжалось и в те часы, когда восток посветел, потом стал розовым, а небо подернулось бледной голубизной, но, когда встало солнце, дыхание остановилось и уступило место другим звукам.

Первыми из этих звуков были краткие нечленораздельные крики — то ли детей, то ли нищих, то ли тех, кто был очень слаб или страдал. Солнце поднялось над горизонтом, и бледный и легкий воздух с каждым мгновением становился все вещественнее и теплее, и звуки жизни — смелее, наполняясь силой и уверенностью. Постепенно над домами дрожащими выдохами поднялся дым, его пряди медленно набирали толщину, пока не стали ровными и прямыми, как колонны; солнце уже было не в бледные шторы, но проникало в темные окна, за которыми скрывались пространство и глубина.

Солнце висело в небе уже много часов, пронизывая и прогревая огромный воздушный купол золотыми нитями своих лучей, когда в гостинице началось первое движение. Она стояла белой массой в утреннем свете, еще сонная, с опущенными шторами.

Около половины десятого мисс Аллан очень медленно вошла в холл и приблизилась к столу с утренними газетами. Однако она не протянула руку за газетой, а неподвижно стояла и думала, чуть опустив голову. Она выглядела старше, чем обычно, и по тому, как она стояла, немного сгорбившись, очень большая, можно было представить, какой она будет, когда по-настоящему состарится, как будет день за днем сидеть в кресле, флегматично глядя перед собой. Другие люди начали появляться в холле и проходить мимо нее, но она не разговаривала с ними, даже не смотрела на них. Наконец, как будто потому, что уже просто требовалось что-то сделать, она села в кресло и безучастно уставилась в одну точку. В это утро она чувствовала себя очень старой и к тому же бесполезной, будто жизнь ее не удалась, была трудной и тяжкой, но бессмысленной. Она не хотела жить дальше, хотя и знала, что придется. При ее крепком здоровье ей суждено было дожить до глубокой старости. Возможно, она дотянет до восьмидесяти, а поскольку ей сейчас пятьдесят, это еще целых тридцать лет. Она несколько раз поворачивала руки, лежавшие на коленях, и смотрела на них с удивлением: ее старые руки сделали для нее столько работы. А толку в этом, судя по всему, никакого нет, хотя человек живет дальше, конечно, человек живет... Она подняла голову и увидела рядом миссис Торнбери; та собрала лоб в морщины и приоткрыла рот, будто хотела что-то спросить.

Мисс Аллан опередила ее.

— Да, — сказала она. — Она умерла нынче утром, очень рано, около трех часов.

Миссис Торнбери ахнула, сжала губы, и в ее глазах показались слезы. Сквозь них она посмотрела на холл, который был теперь выстлан широкими полосами солнечного света, на беззаботные, случайные группки людей, стоявших около неподвижных кресел и столов. Люди казались ей ненастоящими или похожими на тех, кто не знает, что сейчас рядом с ними произойдет страшный взрыв. Но никакого взрыва не было, и они продолжали стоять около кресел и столов. Миссис Торнбери смотрела сквозь них, будто они были бесплотны, и видела

дом, людей в доме, комнату, постель в ней и мертвое тело, недвижно лежащее в темноте под простыней. Она почти могла разглядеть покойную. Почти могла расслышать голоса скорбящих.

— Этого ожидали? — спросила она наконец.

Мисс Аллан могла лишь покачать головой.

— Я ничего не знаю, — ответила она, — кроме того, что мне сказала горничная миссис Флашинг. Она умерла сегодня рано утром.

Две женщины обменялись многозначительными взглядами, а потом, чувствуя себя ошеломленной, миссис Торнбери пошла, сама не зная, куда и зачем, медленно поднялась по лестнице, побрела по коридору, прикасаясь пальцами к стене, как будто продвигаясь на ощупь. Горничные шмыгали из номера в номер, но миссис Торнбери избегала их: они казались ей существующими в другом мире. Она даже не сразу подняла голову, когда ее остановила Эвелин. Было видно, что Эвелин недавно плакала, а увидев миссис Торнбери, заплакала опять. Вместе они отошли в оконную нишу и молча стояли там. Между последними всхлипами Эвелин стали прорываться слова:

— Это ужасно. Это жестоко. Они были так счастливы.

Миссис Торнбери похлопала ее по плечу.

— Поначалу кажется, что это невыносимо, — сказала она и посмотрела на виллу Эмброузов, выглядывавшую из-за склона холма. Окна сверкали на солнце, и она подумала, что душа покойной вылетела через эти окна. Что-то ушло из мира, и теперь он казался ей непривычно пустым. — Но чем старше становишься, — продолжила она, и глаза ее по-особенному заблестели, — тем сильнее убеждаешься, что во всем есть смысл. Как можно жить, если нет никакого смысла?

Она задала вопрос кому-то, но не Эвелин. Та стала успокаиваться.

— Смысл должен быть, — сказала миссис Торнбери. — Это не может быть случайностью. Потому что если это случайность, то она не должна была произойти. — Она глубоко вздохнула и добавила: — Но не стоит позволять себе такие мысли. Будем надеяться, и они так не думают. Что бы они ни сделали, исход был бы тот же. Эти болезни ужасны...

— Нет никакого смысла, я не верю ни в какой смысл! — выпалила Эвелин. При этом она дернула штору вниз и отпустила, и та вернулась на место с хлопком. — Зачем это все? Зачем люди должны страдать? Я искренне верю, что Рэчел в раю, но Теренс... Какая во всем этом польза? — требовательно спросила она.

Миссис Торнбери слегка покачала головой, но не ответила и, пожав локоть Эвелин, пошла прочь от нее по коридору. Ее толкало сильное желание что-то услышать, хотя она не знала, что именно, и она направилась к номеру Флашингов. Открыв дверь, она поняла, что прервала какой-то спор между мужем и женой. Миссис Флашинг сидела спиной к свету, а мистер Флашинг стоял рядом, стараясь в чем-то ее убедить.

— А, вот и миссис Торнбери, — сказал он с некоторым облегчением в голосе. — Вы слышали, конечно. Моя жена считает, что она в какой-то мере виновата. Она убедила бедную мисс Винрэс поехать в экспедицию. Я уверен, вы со мной согласитесь, что думать так в высшей степени неразумно. Мы даже не знаем — я-то думаю, что это маловероятно, — там ли она заразилась. Эти болезни... И потом, она сама очень хотела поехать. Она поехала бы независимо от твоих уговоров, Элис.

— Не надо, Уилфред, — сказала миссис Флашинг, не двигаясь и не сводя глаз с одной точки на полу. — Что толку в разговорах? Что толку... — Она замолчала.

— Я зашла спросить у вас, — сказала миссис Торнбери, обращаясь к Уилфреду, потому что говорить с его женой было бесполезно, — можно ли что-то сделать? Отец уже приехал? Нельзя ли сходить и узнать?

В этот момент ей больше всего хотелось что-нибудь сделать для несчастных — увидеть их, утешить, помочь. Было невыносимо находиться так далеко от них. Но мистер Флашинг покачал головой: он считал, что сейчас — нет; позже — вероятно, чем-то и можно будет помочь. Тут миссис Флашинг резко встала, повернулась к ним спиной и пошла к гардеробной. Они видели, как медленно вздымалась и опускалась ее грудь. Но ее печаль была безмолвной. Она закрыла за собой дверь.

Оставшись одна, она сжала кулаки и стала колотить ими по спинке стула. Она была похожа на раненое животное. Она ненавидела смерть. Смерть вызывала у нее негодование, гнев, приводила ее в неистовство, как будто это было живое существо. Она отказывалась отдавать своих друзей смерти. Она ни за что не хотела капитулировать перед мраком и небытием. Она начала ходить по комнате, потрясая кулаками и пытаясь сдержать слезы, которые текли у нее по щекам. Наконец она села, но все равно — не сдалась. Перестав плакать, она выглядела упрямой и сильной.

Тем временем в соседней комнате Уилфред беседовал с миссис Торнбери, причем гораздо свободнее, чем в присутствии жены.

— Хуже всего в этих краях, — сказал он, — что люди ведут себя, как будто они в Англии. Лично я не сомневаюсь, что мисс Винрэс подхватила инфекцию на вилле. Думаю, она раз по десять в день рисковала заболеть. Нелепо говорить, что она заразилась, когда была с нами.

К его искренней печали явно примешивалось раздражение.

— Пеппер сказал мне, — продолжил он, — что съехал из дома, посчитав их слишком беззаботными. Говорит, что они никогда как следует не мыли овощи. Бедняги! Они заплатили страшную цену. Но я это видел много раз и продолжаю видеть: люди как будто забывают, что такие вещи могут случиться, а они случаются и застают всех врасплох.

Миссис Торнбери согласилась, что они были весьма беззаботны и что нет никаких оснований полагать, будто Рэчел подхватила лихорадку в экспедиции. Поговорив еще немного на другие темы, она оставила мистера Флашинга и грустно побрела по коридору в свой номер. В том, что такое случается, должен быть какой-то смысл, думала она, закрывая за собой дверь. Просто поначалу нелегко понять, что он есть. Происшедшее кажется таким странным, таким невероятным. Да, всего три недели назад — даже меньше, две — она видела Рэчел; закрыв глаза, она и сейчас почти видела ее перед собой — тихую, робкую девушку, которая собиралась замуж. Миссис Торнбери представила все, чего она лишилась бы, если бы умерла в возрасте Рэчел, — детей, семейной жизни, всех удивительных чудес и глубин, которые, как ей сейчас казалось, разворачивались перед ней день за днем, год за годом. Ошеломление, из-за которого ей было трудно думать, постепенно уступило место противоположному чувству: мысли потекли очень быстро и ясно; оглядываясь на события своей жизни, она попыталась выстроить их в какой-то порядок. Несомненно, было много страданий, много тягот, но в целом, конечно, они вполне уравновешивались счастьем — упорядоченность, безусловно, главенствовала. Но и смерть молодых вовсе не была печальнее всего на свете — она уберегла их от стольких бед, стольких лишений. Умершие — миссис Торнбери вызвала в памяти тех, кто почил рано, случайно, — были прекрасны, они часто ей снились. Со временем и Теренс поймет... Она встала и начала беспокойно ходить по комнате.

Беспокойство ее было крайним — во всяком случае, для женщины ее лет, — а для человека с таким ясным и проворным умом, как у нее, весьма непривычно было испытывать такую растерянность. Она не могла ни на чем остановиться, поэтому вздохнула с облегчением, когда дверь в номер открылась. Миссис Торнбери подошла к мужу, обняла и поцеловала его с необычной нежностью, а когда они сели рядом, стала гладить его по голове и расспрашивать, будто он был ребенком — старым, усталым, ворчливым ребенком. Она не сказала ему о смерти

мисс Винрэс, чтобы не беспокоить, — он и так в последнее время был чем-то расстроен. Она попыталась выяснить причину. Опять политика? Что там учинили эти ужасные люди? Она провела все утро за обсуждением политики с мужем, и мало-помалу предмет их разговора стал вызывать у нее живейший интерес. Однако то и дело произносимые ею слова казались ей бессмысленными.

За обедом несколько человек заметили, что постояльцы гостиницы начали уезжать: каждый день их становилось все меньше. На обеде присутствовало всего сорок человек вместо обычных шестидесяти. Это подсчитала престарелая миссис Пейли, оглядываясь вокруг бесцветными глазами. Она сидела за своим столиком у окна. Ее компания обычно состояла из мистера Перротта, Артура и Сьюзен, а сегодня к ним присоединилась и Эвелин.

Она была, против обыкновения, подавлена. Остальные, заметив, что у нее красные глаза, и догадываясь о причине, изо всех сил старались поддержать между собой оживленную беседу. Она терпела это несколько минут, поставив локти на стол, не притрагиваясь к супу, но вдруг воскликнула:

— Не знаю, что чувствуете вы, но я просто не могу думать ни о чем другом!

Мужчины пробормотали что-то сочувственно и изобразили на лицах печаль.

Сьюзен ответила:

— Да, это так ужасно! Только подумать, такая милая девушка, совсем недавно помолвленная — этого не должно было случиться, слишком это трагично. — Она посмотрела на Артура, как будто призывая его на помощь, чтобы он сказал нечто более подобающее.

— Удар судьбы, — коротко выразился Артур. — Но все-таки какая была глупость — отправляться вверх по реке. — Он покачал головой. — Им следовало быть умнее. Нельзя ожидать от англичанок той же выносливости, которой отличаются туземные женщины, привычные к этому климату. Я хотел было предупредить их в тот день за чаем, когда эта тема обсуждалась. Но такие вещи говорить нет смысла — только восстановишь людей против себя, а изменить ничего не сможешь.

Престарелая миссис Пейли, которая до этого момента была занята супом, поднесла ладонь к уху, давая этим понять, что ей хочется знать, о чем идет речь.

— Вы слышали, тетя Эмма? Бедная мисс Винрэс умерла от лихорадки, — ласково сообщила ей Сьюзен. Она не могла говорить о смерти громко или даже обычным голосом, поэтому миссис Пейли не расслышала ни слова. Артур пришел на подмогу.

— Мисс Винрэс умерла, — сказал он очень отчетливо.

Миссис Пейли чуть наклонилась к нему и переспросила:

— А?

— Мисс Винрэс умерла, — повторил он. Ему пришлось напрячь мышцы вокруг рта, чтобы не рассмеяться и повторить в третий раз: — Мисс Винрэс. Она умерла.

Миссис Пейли было трудно не только разбирать слова; факты, выходившие за рамки ее обыденной жизни, достигали ее сознания тоже не сразу. Казалось, тяжелый груз лег на ее мозг, но не остановил, а лишь замедлил его работу. Не меньше минуты она сидела с туманным взором, пока поняла, что сказал Артур.

— Умерла? — с недоумением произнесла она. — Мисс Винрэс умерла? Боже... Это очень печально. Но я совершенно не помню, которая из них была она. У нас тут появилось столько новых знакомых. — Она обернулась к Сьюзен за помощью. — Высокая темноволосая девушка, почти хорошенъкая, с ярким румянцем?

— Нет, — возразила Сьюзен. — Она была... — но замолчала, отчаявшись объяснить миссис Пейли, что та думает о другой девушке, — это все равно было бесполезно.

— Как же так она умерла? — продолжила миссис Пейли. — Выглядела такой крепкой. Но

ведь люди пьют эту воду. Никогда я не понимала — зачем. Кажется, так просто — велеть, чтобы в номер ставили бутылку сельтерской. Это единственная мера предосторожности, которую я всегда принимала, а уж я-то побывала во всех частях света — в одной Италии не меньше дюжины раз... Но молодым кажется, что им виднее, а потом они расплачиваются. Бедняжка, мне очень жаль ее. — Тут, однако, необходимость смотреть в тарелку с картофелем и есть поглотила все ее внимание.

Артур и Сьюзен втайне надеялись, что тема исчерпана, поскольку им этот разговор был неприятен. Зато Эвелин не была готова переключиться на что-то другое. Почему люди не говорят о том, что действительно важно?

— Вас, наверное, это совсем не трогает! — сказала она, гневно повернувшись к мистеру Перротту, который все это время сидел молча.

— Меня? О, напротив, — ответил он смущенно, но с явной искренностью. Вопросы Эвелин и у него вызывали чувство неловкости.

— Все это так необъяснимо, — продолжила Эвелин. — Я имею в виду смерть. Почему должна была умереть Рэчел, а не вы или я? Всего две недели назад она была здесь, с нами. Во что вы верите? — взыскательно спросила она у мистера Перротта. — Вы верите в то, что все продолжается, что она где-то есть, или вы думаете, что все это просто игра и мы после смерти распадаемся в ничто? Я убеждена, что Рэчел не исчезла.

Мистер Перротт был готов сказать почти все, что Эвелин пожелала бы, но заявить, что он верит в бессмертие души, было выше его сил. Он сидел молча, сильнее, чем обычно, сморщив лицо и кроша хлеб.

Артур выдержал паузу, которая вроде бы подвела черту под дискуссией, и, чтобы Эвелин и у него не спросила, во что он верит, заговорил совсем о другом.

— Представьте, — сказал он, — что некий человек в письме просит у вас пять фунтов под тем предлогом, что он знал вашего деда, как вы поступите? А было так. Мой дед...

— Избрел печку, — вставила Эвелин. — Это я все знаю. У нас была такая в оранжереи, чтобы растения не замерзали.

— Не знал, что я так знаменит, — сказал Артур. — Так вот, — продолжил он, решившись во что бы то ни стало изложить свою историю во всех подробностях, — старик, который был, пожалуй, вторым по значимости изобретателем своего времени и к тому же способным юристом, умер, как оно водится, не составив завещания. А Филдинг, его секретарь, уж не знаю, насколько обоснованно, всегда утверждал, будто дед собирался что-то для него сделать. Бедный старичок потерял все, пытаясь за свой счет внедрять изобретения; живет он в Пендже, над табачной лавкой. Я там его навещал. Вопрос в том, должен я раскошелиться или нет. Чего требует абстрактный дух справедливости, Перротт? Прошу учесть, что я от деда ничего не получил и проверить истинность притязаний никак не могу.

— Я мало что знаю об абстрактном духе справедливости, — сказала Сьюзен, благодушно улыбаясь присутствующим, — но в одном уверена — он получит свои пять фунтов!

Перротт начал излагать свое мнение, Эвелин заявила, что он ограничен, как все адвокаты, и думает о букве, а не о духе; миссис Пейли между блюдами требовала рассказывать ей, о чем идет речь, — обед прошел без пауз в разговоре, и Артур мысленно похвалил себя за то, с каким тактом были слажены шероховатости.

Когда они покидали столовую, кресло миссис Пейли столкнулось в дверях с Эллиотами. Из-за этого произошла заминка, Артур и Сьюзен стали поздравлять Хьюлинга Эллиота с выздоровлением — он впервые спустился вниз, имея довольно бледный вид, — и мистер Перротт воспользовался этим, чтобы шепнуть несколько слов Эвелин:

— Могу ли я надеяться, что сегодня еще увижу вас, к примеру — в половине четвертого? Я

буду в саду, у фонтана.

Эвелин еще не успела ответить, когда затор рассосался. Но, расставаясь со всеми в холле, она бодро посмотрела на Перротта и сказала:

— Вы говорите, в полчетвертого? Годится.

Она взбежала по лестнице, ощущая душевную приподнятость и полноту жизни: перспектива чувствительной сцены всегда приводила ее в экзальтированное состояние. Она не сомневалась в том, что мистер Перротт опять сделает ей предложение, и понимала необходимость на этот раз иметь готовый и четкий ответ, поскольку через три дня она уезжала. Но она не могла сосредоточиться на этой теме. Принять решение для нее было очень трудно, потому что она от природы терпеть не могла ничего окончательного и установленного; ей хотелось, чтобы все длилось и длилось — вечно, без завершения. Поскольку предстоял отъезд, она занялась раскладыванием своих нарядов на кровати. Про себя она отметила, что некоторые из них были весьма поношены. Она взяла фотографию своих родителей и перед тем, как положить в коробку, с минуту держала ее в руке. Рэчел смотрела на эту фотографию. Внезапно Эвелин охватило острое ощущение личности другого человека, которое иногда передают вещи, ему принадлежавшие или побывавшие в его руках; она чувствовала, что Рэчел рядом, в комнате; события дня вдруг стали так же далеки, как земля на горизонте, если бы Эвелин сейчас находилась на корабле в море. Но постепенно ощущение присутствия Рэчел угасло, Эвелин уже не могла живо представить ее, ведь и знакомы они были едва-едва. Однако это мимолетное переживание оставило после себя тоску и усталость. Что она сделала со своей жизнью? Какое будущее у нее впереди? Что иллюзорно, а что реально? Можно ли считать все эти предложения, знакомства, интрижки чем-то настоящим, или то умиротворение, которое она видела на лицах Сьюзен и Рэчел, гораздо более реально, чем все, что ей доводилось чувствовать?

Она готовилась к выходу рассеянно, впрочем, ее руки были к этому так привычны, что почти все делали сами. Когда Эвелин спускалась вниз, кровь в ее жилах побежала быстрее, но тоже сама по себе, потому что в душе ее царило уныние.

Мистер Перротт уже ждал ее. Он вышел в сад сразу после обеда и гулял по дорожкам туда и обратно больше получаса, сильно волнуясь.

— Я опоздала как всегда! — воскликнула Эвелин, приметив его. — Но вы должны простить меня: мне надо было собираться... Ох ты! Похоже, будет гроза! А в бухте новый пароход, да?

Она посмотрела в сторону бухты, где пароход как раз бросал якорь, над ним еще висел дым; на волнах была заметна быстрая темная рябь.

— Мы ведь уже забыли, что такое дождь, — добавила Эвелин.

Но мистер Перротт не обращал внимания ни на пароход, ни на погоду.

— Мисс Мергатройд, — как всегда церемонно начал он, — боюсь, я попросил вас прийти сюда по весьма эгоистическим мотивам. Полагаю, нет нужды еще раз заверять вас в моих чувствах, но, поскольку вы скоро отываете, я посчитал, что не могу расстаться с вами, не спросив: есть ли у меня хоть какие-то основания надеяться, что я когда-нибудь стану небезразличен вам?

Он был очень бледен и, по-видимому, не в силах сказать что-то еще.

Прилив жизненных сил, который Эвелин ощущала, спускаясь бегом по лестнице, теперь иссяк, и она почувствовала себя беспомощной. Сказать ей было нечего, она ничего нечувствовала. Вот он просит ее, в старомодных чинных выражениях, стать его женой, а она испытывает к нему меньше, чем когда-либо.

— Давайте сядем и обсудим это, — сказала она неуверенным голосом.

Мистер Перротт последовал за ней к выгнутой зеленою скамейке под деревом. Они сели и воззрились на фонтан, который давно не работал. Эвелин все смотрела и смотрела на фонтан

вместо того, чтобы обдумывать ответ: сухой фонтан как будто символизировал суть ее жизни.

— Вы мне, конечно, небезразличны, — торопливо начала она. — Я же не каменная. Помоему, вы один из самых милых моих знакомых, к тому же один из самых умных. Но я хотела бы... Я не хотела бы, чтобы вы испытывали ко мне именно эти чувства. Вы уверены в них? — В этот момент она искренне желала, чтобы он сказал «нет».

— Вполне уверен, — ответил мистер Перротт.

— Видите ли, я устроена не так просто, как большинство женщин, — продолжила Эвелин. — Пожалуй, мне нужно нечто большее. Я точно не знаю, что я чувствую.

Он сидел, смотрел на нее и ничего не говорил.

— Иногда мне кажется, что я по своей природе не могу испытывать сильные чувства лишь к одному человеку. Вы найдете себе жену получше. Очень хорошо могу представить, как вы будете счастливы с другой.

— Если, по вашему мнению, есть хоть малейшая возможность, что вы ответите мне взаимностью, я вполне готов подождать, — сказал мистер Перротт.

— Ну вот, спешить некуда, правда? Давайте, я все обдумаю, напишу или скажу вам, когда вернусь? Я еду в Москву. Я напишу вам из Москвы.

Но мистер Перротт не отступал:

— Вы оставляете меня в полном неведении. Я не прошу о встрече... Это было бы в высшей степени неразумно. — Он замолчал, глядя на гравиевую дорожку.

Не дождавшись ответа, он продолжил:

— Я прекрасно понимаю, что я не... что не могу предложить вам ничего особенного при том, каков я есть и как я живу. Все время забываю: вам это не может казаться чудом, как мне. До встречи с вами я жил очень тихо — мы вообще очень тихие люди, я и моя сестра, — и я был вполне доволен своей судьбой. Моя дружба с Артуром была для меня важнее всего в жизни. Но теперь, когда я узнал вас, все изменилось. Вы как будто оживляете все вокруг себя. Теперь жизнь кажется полной возможностей, о которых я никогда и не мечтал.

— Это же чудесно! — воскликнула Эвелин, сжимая его руку. — Вы вернетесь и предпримете множество разных дел и прославитесь на весь мир; а мы с вами будем друзьями, как бы оно ни вышло... Мы ведь будем большими друзьями, правда?

— Эвелин! — вдруг простонал он, обнял ее и поцеловал. Это не было ей противно, но и впечатления никакого не произвело.

Она опять села прямо и сказала:

— Никогда не понимала, почему нельзя оставаться друзьями — хотя у некоторых это получается. Ведь дружба изменяет весь мир, не так ли? Мало что еще так важно в человеческой жизни, разве нет?

Он посмотрел на нее с недоумением, как будто не совсем понимал, что она говорит. Сделав над собой значительное усилие, он встал и сказал:

— Пожалуй, я дал вам знать о своих чувствах и добавлю только, что могу ждать столько, сколько вам будет угодно.

Оставшись одна, Эвелин принялась ходить по дорожке туда и обратно. Что же все-таки имеет значение? Какой во всем этом смысл?

Глава 27

Весь вечер собирались тучи, пока совсем не затянули небесную синь. Казалось, расстояние от земли до неба уменьшилось, воздуху стало тесно, и он уже не мог свободно перемещаться в пространстве. Волны тоже сгладились, как будто их придавило. Листья на кустах и деревьях висели, прижавшись один к другому, и чувство угнетенности и несвободы еще усиливали стрекочущие звуки, производимые птицами и насекомыми.

Освещение и тишина были так новы, что гул голосов, обычно наполнявший столовую в часы трапез, прерывался заметными паузами, во время которых становился слышен перестук ножей о тарелки. Первый раскат грома и первые тяжелые капли, ударившие в окна, вызвали тревожное оживление.

— Начинается! — было сказано одновременно на нескольких языках.

Последовала глубокая тишина, как будто гром ушел куда-то в себя. Только люди принялись опять за еду, как в окна влетел порыв холодного ветра, взметнувший скатерти и юбки, блеснула вспышка, и тут же грохнуло — над самой гостиницей. Зашелестел дождь, и сразу послышались резкие хлопки закрываемых окон и дверей, которые всегда сопровождают грозу.

В столовой внезапно стало намного темнее: ветер как будто нес над землей волны мрака. Некоторое время никто не пытался есть, все сидели и смотрели в сад, держа вилки на весу. Теперь вспышки сверкали часто, освещая лица как будто для фотографирования, застигая на них неестественные и напряженные выражения. Громыхало близко и сокрушительно. Несколько женщин привстали со стульев и сели опять, но ужин продолжался, хотя и несколько скованно — все глаза были обращены в сад. Кусты за окнами были взъерошены и побелели, ветер так напирал на них, что они пригибались к земле. Ужинающим приходилось обращать на себя внимание официантов, а тем — торопить поваров, потому что все были поглощены созерцанием бури. Гром вроде и не собирался слабеть, наоборот, он как будто сосредоточил всю свою мощь прямо над гостиницей, а молнии каждый раз метили прямо в сад, поэтому первоначальное оживление сменилось мрачноватой подавленностью.

Торопливо покончив с едой, люди собрались в холле, в котором они чувствовали себя в большей безопасности, чем где-либо, потому что там можно было расположиться подальше от окон и только слышать гром, но ничего не видеть. Маленький мальчик заплакал, и мать унесла его на руках.

Пока гроза продолжалась, никому не хотелось садиться, небольшие группки стояли в центре, под застекленной частью крыши, в желтоватом свете, глядя наверх. То и дело при вспышках молнии лица людей окрашивались в белый цвет; наконец разразился оглушительный удар, от которого задрожали стекла в верхних рамках.

— Ах! — одновременно воскликнуло несколько голосов.

— Вот это ударило, — произнес какой-то мужчина.

Ливень усилился. Он как будто затушил молнию с громом, и в холле стало почти совсем темно.

Через минуту-другую, когда не было слышно ничего, кроме размеренного стука дождя в стекло, напряжение начало спадать.

— Гроза кончилась, — сказал кто-то.

Одним прикосновением были включены все электрические лампы, высветившие толпу людей, которые стояли, подняв лица к застекленной крыше; однако, увидев друг друга при искусственном освещении, все сразу опустили головы и начали расходиться. Еще несколько минут дождь хлестал по крыше, раз или два ударили гром, но тьма начала рассеиваться, и шелест

капель стал потише: было ясно, что огромная масса взбаламученного воздуха уходит прочь, уносится в сторону моря вместе со своими тучами и огненными разрядами. Здание, котороеказалось таким маленьким в грохоте бури, опять стало надежным и большим, как обычно.

Когда гроза утихла, люди в холле расселись и с приятным чувством облегчения начали рассказывать друг другу истории о страшных бурях, а многие обратились к своим ежевечерним занятиям. Принесли шахматную доску, и мистер Эллиот, на котором в знак недавней болезни вместо воротничка был шарф — хотя во всем остальном он вернул себе прежний облик, — вызвал мистера Пеппера на финальное состязание. Вокруг них собралось несколько дам с рукодельями, а у кого их не было — с романами, чтобы надзирать за игрой, как будто они присматривали за двумя мальчуганами, играющими в шарики. Время от времени дамы поглядывали на доску и делали мужчинам ободрительные замечания.

За углом миссис Пейли разложила перед собой карты длинными лесенками; Сьюзен сидела рядом — сочувствуя, но не вмешиваясь; торговцы и разные другие люди, имена которых так никому и не стали известны, растянулись в креслах с газетами на коленях. Атмосфера сложилась такая, что разговоры велись мимолетно, перескакивали с темы на тему, часто прерывались, но зал был наполнен тем движением жизни, которое трудно описать словами. Иногда над головами, шелестя, пролетала ночная бабочка с серыми крыльями и ярким брюшком, а потом билась в лампы с глухим постукиванием.

Молодая женщина отложила шитье и воскликнула:

— Бедняжка! Милосерднее было бы убить ее.

Но никому, по всей видимости, не хотелось вставать и убивать бабочку. Люди смотрели, как она металась от лампы к лампе: им было уютно и никакие дела их не обременяли.

На диване, рядом с шахматистами, миссис Эллиот объясняла миссис Торнбери новый способ вязания, поэтому их головы склонились очень близко одна к другой, и различить их можно было только по старому кружевному чепчику, который миссис Торнбери носила вечерами. В вязании миссис Эллиот была мастерицей, и если и отклоняла похвалы по этому поводу, то с явной гордостью.

— Вероятно, у каждого есть что-то, чем он гордится, — сказала она. — Я вот горжусь своим вязанием. Думаю, это семейное. Мы все хорошо вяжем. У меня был дядя, который вязал себе носки до самой смерти и делал это гораздо лучше, чем любая из его дочерей, — милейший был старик. Удивляюсь, почему вы, мисс Аллан, не займитесь вязанием по вечерам — вы ведь так напрягаете глаза. Сразу поняли бы, как это успокаивает, какой отдых дает глазам; к тому же благотворительные базары всегда так рады любым изделиям. — Ее речь журчала гладко и негромко, будто сама по себе, как это бывает у заядлых вязальщиц: слова выходили легко, одно за другим. — Все, что вяжу, я всегда могу сбыть с рук, и это приятно: по крайней мере, чувствую, что не зря трачу время...

Мисс Аллан, услышав, что к ней обратились, закрыла роман и некоторое время спокойно смотрела на окружающих. Наконец она сказала:

— Все-таки неправильно бросать жену, которая тебя любит. Но, насколько я понимаю, так и поступает герой в моей книжке.

— Ай-ай-ай, как нехорошо — конечно, совсем не правильно, — прожурчали в ответ вязальщицы.

— При том, что эта книга из тех, которые люди считают очень умными, — добавила мисс Аллан.

— «Материнство» Майкла Джессопа [73], вероятно? — вставил мистер Эллиот: он никогда не мог удержаться от соблазна поболтать во время игры в шахматы.

— Знаете, — через какое-то время сказала миссис Эллиот, — мне кажется, люди перестали

писать хорошие романы — такие, как раньше, во всяком случае.

Никто не взял на себя труда согласиться с ней или возразить. Артур Веннинг, который прохаживался, иногда останавливалась, чтобы наблюдать игру или прочитать страничку в журнале, посмотрел на уже почти дремавшую мисс Аллан и шутливо спросил:

— О чём задумались, мисс Аллан?

Все подняли глаза. Они были рады, что он заговорил не с ними. Но мисс Аллан ответила без колебаний:

— Я думала о моем воображаемом дядюшке. По-моему, такой есть у каждого, не так ли? У меня есть — наиприятнейший пожилой господин. Он всегда мне что-то дарит. То золотые часы, то экипаж с парой лошадей, то прелестный домик в Нью-Форесте, то билет до места, в котором я очень хочу побывать.

Все невольно стали думать о том, чего хотели бы они. Миссис Эллиот знала точно, чего ей хочется: ребенка. Поэтому на лбу ее сильнее обозначилась привычная морщинка.

— Мы такие счастливые люди, — сказала она, глядя на мужа. — У нас нет неисполненных желаний. — Эти слова были произнесены ею для того, чтобы убедить и себя, и других. Но проверить, как у нее это получилось, она не успела — вошли мистер и миссис Флашинг. Они пересекли холл и остановились у шахматной доски. Миссис Флашинг выглядела еще более растрепанно, чем обычно. Длинная черная прядь упала ей на лоб, на щеках пылал темно-красный румянец и блестели капли дождя.

Мистер Флашинг объяснил, что они были на крыше, наблюдали оттуда грозу.

— Зрелище было великолепное, — сказал он. — Молния сверкала прямо над морем, озаряла волны и корабли далеко-далеко. А как роскошно смотрелись горы — вы не представляете — свет вперемешку с огромными тенями... Теперь уже все кончилось.

Он опустился в кресло и стал с интересом следить за финалом поединка.

— Значит, завтра уезжаете? — спросила миссис Торнбери, посмотрев на миссис Флашинг.

— Да, — ответила та.

— И между прочим, уезжать вовсе не жалко, — сказала миссис Эллиот, изобразив на лице тревожную скорбь. — После всех этих болезней.

— Вы что, боитесь умереть? — презрительно спросила миссис Флашинг.

— Думаю, мы все этого боимся, — с достоинством ответила миссис Эллиот.

— Наверное, мы все трусы, когда доходит до дела, — проговорила миссис Флашинг, потираясь щекой о спинку кресла. — Я-то уж точно.

— И вовсе нет! — сказал мистер Флашинг, оборачиваясь, потому что мистер Пеппер надолго задумался над своим ходом. — Желание жить — это не трусость, Элис. Это нечто противоположное трусости. Лично я хотел бы жить сто лет — с условием, конечно, что при мне останутся все мои способности. Представьте, сколько всего произойдет за это время!

— И у меня такое же чувство, — вступила миссис Торнбери. — Перемены, улучшения, изобретения и — красота! Знаете, иногда мне кажется, что умереть невыносимо именно потому, что перестанешь видеть вокруг красоту.

— Безусловно, было бы очень тоскливо умереть до того, как выяснят, есть ли жизнь на Марсе, — добавила мисс Аллан.

— Вы всерьез верите в жизнь на Марсе? — спросила миссис Флашинг, впервые посмотрев на нее с живым интересом. — Кто вам про это рассказал? Кто-то знающий? А вы знаете некоего...

В этот момент миссис Торнбери положила вязание, и в глазах ее проступила крайняя озабоченность.

— Мистер Хёрст, — тихо сказала она.

Сент-Джон только что вошел через крутящуюся дверь. Он был сильно растрепан от ветра, страшно бледен, щеки были небриты, и кожа на них выглядела нездоровой. Сняв пальто, он собирался пройти через холл и сразу подняться к себе в номер, но не мог проигнорировать присутствие стольких знакомых, особенно когда миссис Торнбери встала и пошла к нему навстречу, протягивая руку. Позади него были дождь и темнота, а до этого — долгие дни напряжения и ужаса, поэтому сейчас, оказавшись в теплом и светлом зале, где непринужденно сидело множество жизнерадостных людей, он испытал потрясение. Он смотрел на миссис Торнбери не в силах говорить.

Все замолчали. Рука мистера Пеппера застыла над шахматным слоном. Миссис Торнбери осторожно усадила Сент-Джона в кресло, сама села рядом и со слезами на глазах ласково сказала:

— Вы сделали для своего друга все возможное.

Это послужило сигналом: все опять стали разговаривать, будто и не прерывались, а мистер Пеппер сделал ход слоном.

— Сделать ничего было нельзя, — произнес Сент-Джон. Он говорил очень медленно. — Просто не верится...

Он провел рукой по глазам, как будто его отделяла от других людей какая-то греза, из-за которой он не мог понять, где находится.

— Ах он бедный... — сказала миссис Торнбери, и по ее щекам опять потекли слезы.

— Не верится, — повторил Сент-Джон.

— Он хотя бы понимал, что?.. — очень осторожно начала миссис Торнбери.

Но Сент-Джон не ответил. Он откинулся в кресле, почти не видя окружающих и не слыша, что они говорят. Он ужасно устал, а свет и тепло, движения рук, негромкие дружелюбные голоса подействовали на него, как успокоительное снадобье. Он сидел неподвижно, и постепенно чувство облегчения перешло в чувство глубокого счастья. Он перестал думать о Теренсе и Рэчел, не испытав никаких угрызений по поводу своей неверности. Движения и голоса как будто стекались из разных частей зала и выстраивались в узор перед его глазами; ему очень нравилось сидеть молча и наблюдать за развитием этого узора, тогда как взгляд его был направлен на что-то, чего он почти не видел.

Шахматный матч весьма удался: мистер Пеппер и мистер Эллиот сражались все азартнее. Миссис Торнбери, поняв, что Сент-Джону не хочется говорить, вернулась к вязанию.

— Опять молния! — вдруг вскрикнула миссис Флашинг. Желтый зигзаг пересек синее окно, и на мгновение стали видны зеленые деревья в саду. Миссис Флашинг подошла к двери, распахнула ее и встала лицом к свежему воздуху.

Но эта молния была лишь отсветом прошедшей грозы. Дождь перестал, тяжелые тучи унеслись прочь, и воздух был чист и прозрачен, хотя туманные клочья еще медленно проплывали на фоне луны. Небо опять приобрело торжественный темно-синий цвет, а под ним покоилась земля — огромная, темная и тяжелая, вздымающаяся остроконечной глыбой горы, склоны которой здесь и там были утыканы огоньками домов. Движение воздуха, шум деревьев, вспышки, время от времени ярко освещавшие землю, наполнили миссис Флашинг восторгом.

— Великолепно! Великолепно! — бормотала она сама себе. Затем она вернулась в холл и властно крикнула: — Иди посмотри, Уилфред! Это восхитительно.

Одни чуть шевельнулись, другие встали, третьи уронили свои клубки шерсти и стали наклоняться, отыскивая их.

— Спать, спать, — сказала мисс Аллан.

— Дело решил ваш ход ферзем, Пеппер! — торжествующе воскликнул мистер Эллиот, смешивая фигуры и вставая. Он выиграл.

— Что? Пеппер наконец побежден? Поздравляю, — сказал Артур Веннинг, который уже повез миссис Пейли в спальню.

Все эти голоса ласкали слух Сент-Джона; он дремал, но ясно осознавал все происходящее вокруг. Перед его глазами шла вереница фигур, темных и плохо различимых: постояльцы подбирали свои книги, карты, клубки шерсти, корзинки с рукодельями и, проходя мимо, один за другим отправлялись спать.

Вирджиния Вулф и ее роман «По морю прочь»

Аделина Вирджиния Вулф родилась 25 января 1882 г. в Кенсингтоне — весьма респектабельном районе на западе Лондона. Она была третьим ребенком в семье (для Лесли и Джулии Стивенов этот брак был вторым, у каждого остались дети от покойных супругов). Отцу к тому времени исполнилось пятьдесят лет, а матери шел тридцать шестой год. Семья была вполне обеспеченной, с аристократическими корнями. Хотя в семье Стивенов существовала традиция государственной службы, Лесли преподавал в Кембридже, но, утратив веру в Бога, был вынужден уйти в отставку и стал уважаемым представителем ныне исчезнувшего сословия «литераторов». Работал Стивен очень много, особенно в год появления на свет Вирджинии, когда взял на себя эпохальную задачу: составить и частично написать новый «Национальный биографический словарь». Джулия Стивен происходила из династии английских колониальных чиновников в Индии. Женщины этой семьи славились красотой, и Вирджиния унаследовала ее от матери. Джулия Стивен также очень много трудилась: ухаживала за больными и умирающими родственниками, навещала инвалидов и бедняков. Трудолюбию Вирджиния научилась у своих родителей.

Глава семьи был сторонником женского образования, в отличие от жены, которая не поддерживала и борьбу женщин за избирательные права. Так или иначе, ни одна из дочерей не училась в школе, тем более в университете, однако Вирджиния брала уроки греческого и латыни. Она с упоением читала, и отец предоставил свою библиотеку в ее полное распоряжение. О том, чтобы контролировать круг чтения дочери, не было и речи.

В 1895 г. в жизни семьи произошло трагическое событие: скоропостижно скончалась мать (тогда у Вирджинии случился первый психический срыв), а всего через два года, едва вернувшись из свадебного путешествия, умерла единоутробная сестра Вирджинии Стелла. Отец стал еще более замкнутым и деспотичным, чем раньше, возрастная разница между ним и четырьмя младшими детьми превратилась в пропасть: «Мы были ему не детьми, а внуками», — написала через много лет Вирджиния Вулф в автобиографической книге «Мгновения бытия». Лесли Стивен умер от рака в 1904 г. Тогда Вирджиния пережила второй срыв.

Похоронив отца, братья и сестры Стивен переехали на Гордон-сквер в Блумсбери; в то время это был довольно бедный район Лондона. В конце 1904 г. Вирджиния начала писать рецензии для религиозного еженедельника «Гардиан», а в 1905 г. — для «Литературного приложения» к газете «Таймс»; автором этого журнала она оставалась в течение многих лет. В 1906 г., вернувшись из путешествия по Греции, умер любимый брат Вирджинии Тоби. В 1907 г. ее сестра Ванесса вышла замуж за Клайва Белла. Тоби успел положить начало вечерним встречам по четвергам, на которых собирались его друзья; эту традицию продолжила Ванесса, а затем — после свадьбы Ванессы, уже в новом доме на Фицрой-сквер — Вирджиния с братом Адрианом. Этот кружок стал ядром сообщества, которое известно нам как «Группа Блумсбери».

Леонард Вулф был одним из друзей Тоби по Кембриджу; в 1904 г. он отправился на Цейлон в качестве чиновника колониальной администрации, а в 1911 г. вернулся в Англию — как он сначала думал, в отпуск. Вскоре он сделал предложение Вирджинии, и она, по некоторому размышлению, дала согласие. Свадьба состоялась 10 августа 1912 г. Молодожены решили зарабатывать на жизнь литературой и журналистикой.

Примерно в 1908 г. Вирджиния приступила к работе над своим первым романом «По морю прочь», который поначалу назывался «Мелимброзия». Роман был окончен в 1913 г., но тут у

Вирджинии опять случился тяжелый приступ душевной болезни, и поэтому книга увидела свет лишь в 1915 г., в издательстве «Дакуорт и компания» (его владелец Джеральд Дакуорт был единокровным братом Вирджинии). Вслед за этим Вирджиния начала писать второй роман — «Ночь и день», который был издан в 1919 г., также Дакуортом.

В 1917 г. Вулфы купили небольшой печатный станок. Предполагалось, что печатное дело станет для Вирджинии чем-то вроде хобби и лечебного занятия. В это время семья жила в Ричмонде (графство Суррей), в доме под названием «Хогарт Хаус», поэтому и новое издательство окрестили «Хогарт Пресс». Вирджиния писала, печатала книги, опубликовала два экспериментальных рассказа — «Отметина на стене» и «Кью-Гарденз». Вулфы продолжали работать на ручном станке до 1932 г., становясь все больше издателями, нежели печатниками. Примерно к 1922 г. «Хогарт Пресс» стало серьезным предприятием. С 1921 г. Вирджиния, за редкими исключениями, публиковалась в своем издательстве.

В 1921 г. вышел в свет первый сборник рассказов Вирджинии Вулф «Понедельник или вторник», большинство из которых были экспериментальными. В 1922 г. появился ее первый экспериментальный роман «Комната Джейкоба». Далее последовали романы «Миссис Дэллоуэй» (1925), «На маяк» (1927) и «Волны» (1931). Считается, что этим трем романам Вулф в основном и обязана своей славой прозаика-модерниста. Плодом близкой дружбы с аристократичной романисткой и поэтессой Витой Сэквилл-Вест стал роман «Орландо» (1928), в котором в завуалированном виде излагаются биография Виты и история ее предков, живших в старинном поместье Ноул-Хаус в графстве Кент. В 1928 г. Вирджиния дважды выступала в женских колледжах Кембриджа, в результате чего появилась книга «Своя комната» (1929) — рассуждение о женском литературном творчестве, его исторической, экономической и социальной подоплеке.

1930-е годы были для семьи Вулфов не слишком радостным временем: несколько близких друзей покинули этот мир, над Европой начали сгущаться тучи грядущей войны. Из-под пера Вирджинии тогда вышли: «Флаши» (1933) — вымышленная биография собаки, принадлежавшей Элизабет Барретт Браунинг; «Годы» (1937) — семейная сага (менее традиционная по форме, чем предполагает этот жанр), которая стала бестселлером в США, но отняла у автора очень много времени и сил; «Три гинеи» (1938) — в определенном смысле продолжение «Своей комнаты»; в 1940 г. — биография искусствоведа и друга Вирджинии Роджера Фрая, умершего в 1934 г. Совсем немного не дописав свой последний роман «Между действиями», Вирджиния Вулф покончила с собой: 28 марта 1941 г. она утопилась в реке Уз недалеко от своего дома Монкс-Хаус в Суссексе.

Вирджиния Вулф с детства хотела быть писателем, и все же ее первый роман «По морю прочь» вышел в свет, когда автору исполнилось уже тридцать три года. К этому моменту у нее за плечами был долгий период усердного ученичества. Свидетельством тому — дневники, которые Вирджиния вела с перерывами с 1897 по 1909 г., изданные в 1990 г. под весьма уместным заглавием — «Страстная ученица». Многие страницы — не просто ежедневные записи, но явные пробы пера, литературные упражнения. Первыми опубликованными работами Вирджинии Вулф стали рецензии на книги, с 1904 по 1913 г. она напечатала их более ста пятидесяти, по большей части анонимно. В 1906 г. она написала четыре рассказа, которые были изданы лишь через много лет после ее смерти, но, по крайней мере, один, самый длинный из них — «Дневник госпожи Джоан Мартин», — весьма сложен и глубок по мысли.

Когда Вирджиния умерла, результаты ее литературных трудов казались довольно скромными: девять романов, одна небольшая книга рассказов, две биографии, два феминистских памфлета и два сборника эссе. Лишь в последние тридцать лет стало возможным

оценить весь размах ее творчества — после того как были опубликованы шесть томов ее писем, шесть томов дневников и шесть томов эссе. Но даже они не вполне показывают, насколько упорно она трудилась. Леонард Вулф пишет: «Каждую газетную статью Вирджиния Вулф переписывала по несколько раз» («„Смерть ночной бабочки“ и другие эссе», От редактора). Он же сообщает, что после их свадьбы в августе 1912 г. «Вирджиния переписывала последние главы романа „По морю прочь“ в десятый, а может быть, и в двадцатый раз» (Леонард Вулф. Начиная сначала: Автобиография за 1911–1918 гг.). Твердая решимость Вирджинии Вулф выразить именно то, что ей хотелось, и объясняет задержки в публикации ее произведений.

Язык романа «По морю прочь» изящен и точен, в нем нет никакой чрезмерности. Однако каждая фраза, каждое слово невероятно насыщены, богаты мыслями, как сознательными, так и бессознательными. Что именно введено сознательно, а что бессознательно, нам уже никогда не узнать. Некоторые критики ухватывались за подозрения Хелен Эмброуз по адресу отца Рэчел: «Она подозревала его в тайных жестокостях по отношению к дочери, так же как с давних пор подозревала, что он тиранил свою жену», видя в этих строках подтверждение того, что Вулф в детстве подвергалась сексуальным домогательствам. Возможно, этот вывод слишком смел. Однако возьмем другой пример: патриотизм Дэллоуэев изображается с явным сатирическим оттенком («„Вы рады, что вы англичанка?“ — спросила миссис Дэллоуэй»), а картина, нарисованная в конце 4-й главы, сквозит критикой империализма:

«Она [Кларисса Дэллоуэй] заметила два зловещих серых судна с низкой посадкой, лишенные всякой внешней оснастки, отчего они казались лысыми. Корабли шли близко один за другим и были похожи на безглазых хищников в поисках добычи».

Иногда, впрочем, неясно, какого эффекта хочет добиться Вулф, примером тому — первый абзац романа: «По узким улицам, ведущим от Стрэнда к Набережной, не стоит ходить под руку. Если вы все-таки от этого не удержитесь, встречным клеркам придется прыгать в лужи, а молоденькие машинистки станут нетерпеливо топтаться у вас за спиной. На лондонских мостовых красоту никто не ценит, но необычность не проходит даром, поэтому там лучше не быть слишком высоким, не носить долгополый синий плащ и не размахивать в воздухе левой рукой».

Чем больше читаешь эти строки, тем непонятнее становится отношение автора. Нет ли в нем снобизма? А что, если читатель окажется клерком или машинисткой? Допускала ли Вирджиния Вулф, что ее роман может попасть и к ним в руки? Что значит «необычность не проходит даром»? Чем это ей предстоит расплачиваться? Судя по всему, ничем, разве что придется терпеть «злобу и недоброжелательность», от которых, однако, супруги отгорожены (смотри второй абзац).

Таким образом, начало романа сразу погружает читателя *in medias res*, и суетливые лондонские улицы становятся осязаемыми. Информация сообщается постепенно, будто выхваченная кадрами кинофильма, поэтому возможно, что неоднозначная позиция повествователя — часть авторского замысла.

Герои романа — англичане среднего достатка, которые отправились за океан, чтобы отдохнуть на побережье Южной Америки. Вирджиния Вулф никогда не бывала южнее Португалии и Испании и восточнее Константинополя, поэтому описания вымышленного городка Санта-Марины имеют больше отношения к Иберии, чем к Бразилии.

Действие книги явно разворачивается в период до Первой мировой войны. Если время и место определены довольно туманно, то большинство персонажей обрисовано весьма четко и даже резко. В этом отношении роман продолжает английскую традицию социальной комедии нравов: отделите группу людей от внешнего мира и наблюдайте за их взаимодействием. Сбежать им некуда, поэтому результаты должны быть примечательными и даже забавными.

Однако центральный персонаж романа — Рэчел, которой постепенно открывается суть, «остов» собственной жизни:

«...она впервые увидела свою жизнь как жалкое, прижатое к земле и отгороженное от всего мира создание, которое осторожно ведут между высоких стен, заставляя то свернуть в сторону, то погрузиться в темноту; убогое и уродливое существо — это ее жизнь, единственная, другой не будет... Тысячи слов и действий стали вдруг ей понятны».

«Мужчины — животные! Ненавижу мужчин!» — восклицает Рэчел в минуту волнения. Через всю книгу проходит явная нить феминизма, который в последующих романах Вирджинии Вулф подается более сдержанно. При этом в романе «По морю прочь» он еще приглушен по сравнению с его ранними редакциями. Вирджиния никогда не обсуждала свои романы до завершения окончательной версии (которую всегда читал ее муж Леонард). «По морю прочь» — единственное исключение. Она посыпала своему зятю Клайву Беллу черновики «Мелимброзии», и вот как он отзывался о них в феврале 1909 г.:

«...выводить столь резкий и явный контраст между изысканными, впечатлительными, тактичными, изящными, тонко чувствующими и проницательными женщинами и тупыми, вульгарными, слепыми, напыщенными, грубыми, бес tactными, настырными, деспотичными, глупыми мужчинами — это не только нелепо, но и, я думаю, безвкусно» [\[75\]](#).

В последнее время комментаторы начали осознавать, как много социальной критики заложено в произведениях Вирджинии Вулф. Писательница никого не заставляет отказываться от предрассудков, но тот, кто готов читать ее внимательно, обнаружит неприятие империализма, мужского всевластия, войны, любой иерархии.

Несмотря на самоцензуру Вирджинии Вулф, роман «По морю прочь» не избежал порицаний в «духе времени» (эту концепцию она высмеяла в VI главе «Орландо»): в 1915 г. один из рецензентов назвал ее язык «резким, на грани вульгарности» [\[76\]](#). Хотя современный читатель вряд ли обнаружит в романе что-либо «рискованное», именно такие отзывы подтверждают то, что в 1931 г. Вулф сказала в своей речи, обращенной к женщинам: «...романистке [приходится] ждать, пока мужчины станут настолько цивилизованными, что их не будет шокировать, когда женщина говорит правду о своем теле» [\[77\]](#).

Как часто бывает с первыми романами, «По морю прочь» многое говорит о личности автора. Хотя книгу нельзя считать прямо автобиографичной, Рэчел — это проекция Вирджинии Стивен, какой она могла бы стать, если бы не вырвалась из сковывающей викторианской среды чопорного Кенсингтона, чтобы обрести свободу в беспутном Блумсбери. Большинству читателей ярче всего запоминается болезнь Рэчел в конце романа; хотя формально у недуга есть внешняя материальная причина — инфекция, судя по всему, в основе лежат психические срывы самой Вирджинии Вулф, а Рэчел таким образом пытается избежать предстоящего брака. На самом деле болезни и смерти Рэчел посвящена относительно небольшая часть романа, но эти строки написаны так сильно, что как бы перевешивают все остальное.

В 1915 г. пытливый критик мог бы задаться вопросом: в каком направлении пойдет автор дальше, что изберет своим жанром — сатиру, социальное нравоописание, трагедию? Никто не мог предвидеть, какие романы Вулф напишет в 1920—1930-е годы. Пожалуй, многое можно понять по финалу романа «По морю прочь», когда вслед за трагической кульминацией жизнь продолжается своим чередом, как будто ничего не случилось. Здесь проявилось важное качество миропонимания Вирджинии Вулф. Позже, в 1925 г., она писала в эссе «Современная беллетристика», которое считают ее модернистским манифестом: «Создается впечатление, что некий всевластный и беспринципный тиран, держащий писателя в рабстве, принуждает его плести сюжет, выдумывать смешные и трагические повороты, любовную интригу, создавать

безупречную атмосферу правдоподобия, как будто все персонажи, окажись они в реальной жизни, должны быть полностью одеты по моде и застегнуты до последней пуговки. Тирану повинуются, романы подаются читателю прожаренными до полной готовности. Однако порой — и чем дальше, тем чаще — мы начинаем испытывать мятежные сомнения: а такова ли жизнь на самом деле? Обязан ли роман быть именно таким?»

Эссе завершается краткими размышлениями о роли русской литературы, английские переводы которой начали появляться за несколько лет до того. Именно серьезность русской литературы, замечает Вулф, вызвала у нее недовольство состоянием английской беллетристики в начале двадцатого века, когда «столь многие из наших знаменитых романов обратились в мишуре и надувательство». Отсюда можно сделать вывод: пусть Вирджиния Вулф и не пошла по стопам Достоевского, Тургенева или Чехова, но она отвергла английскую традицию социальной комедии нравов, стремясь показать жизнь такой, какой она ее видела — трагичной и прекрасной.

notes

Примечания

Начальные строки стихотворения «Гораций» Томаса Бабингтона Маколея (1800–1859), который больше известен как историк, публицист и политический деятель. (Здесь и далее примеч. перев.)

Розерхайз — исторический район Лондона, где в XVIII в. был увеселительный парк. Во время действия романа там помещались доки.

Беседуя между собой, Эмброуз и Пеппер упоминают названия, связанные с Кембриджским университетом, хотя некоторые из них вымышлены. Питерхауз — кембриджский колледж, Кэтс — кембриджский колледж Св. Екатерины. Джеллаби, коллекция Брюса — вымышлены.

Болота (Фенз) — низменная местность в Восточной Англии.

Королева Александра — супруга Эдуарда VII, короля Англии с 1901 г.

Корифей — вымышленный автор.

Ричмонд в то время — предместье Лондона.

Рихард Вагнер (1813–1883), либретто оперы «Тристан и Изольда».

Уильям Каупер (1731–1800) — английский поэт-сентименталист.

Софокл. Антигона. (Пер. Д. Мережковского)

Дж. Ф. Уоттс (1817–1904) — английский художник. Й.Иоахим (1831–1907) — венгерский скрипач, жил и работал в Германии.

Лондонский магазин, открытый в 1875 г. и связанный с движением «искусства и ремесла».

Альфред Великий (ок. 849 — ок. 900) — король англосаксонского королевства Уэссекс с 871 г. Роберт Сесил, третий маркиз Солсбери (1830—1903) — лидер консерваторов, премьер-министр Великобритании в 1886—1892 и 1895—1902 гг.

Говорит (*лат.*).

Шекспир. Буря. Акт 1. Сцена 2. (Перев. М. Донского.)

Генри Джордж (1839–1897) — американский социолог и политэконом.

Сэмюэл Джонсон (1709–1784) — английский писатель и лексикограф. Здесь неточная цитата из стихотворения, приписываемого молодому Джонсону («Здесь покоится утка, / Наступил на которую Сэмюэл Джонсон...»).

Роман английской писательницы Эмили Бронте (1818–1848).

Перси Биш Шелли (1792–1822) Адонаис. (*Перев. К. Бальмонта.*)

Курортный городок на юго-восточном побережье Англии, недалеко от Лондона.

Роман Джейн Остен.

Кенсингтон — фешенебельный район Лондона.

Генри Сиджвик (1838–1900) — кембриджский философ-моралист. Книга, которую читает Хелен — «*Principia Ethica*», — написана другим философом из Кембриджа, Джорджем Эдуардом Муром (1873–1958).

Эдмунд Бёрк (1729–1797) — английский публицист и философ, один из лидеров партии вигов.

Джон Брайт (1811–1889) — английский политик, член Либеральной партии.

Герберт Генри, граф Оксфорд и Асквит (1852–1928) — премьер-министр Великобритании в 1908–1916 гг., лидер Либеральной партии. Остин Чемберлен (1863–1937) — английский политический деятель, консерватор, занимал различные министерские посты, но премьер-министром не был.

Египетское речное судно с жилым помещением.

Книга стихов Джорджа Мередита (1828–1909).

Томас Харди. Он отвергает любовь (1909). (*Перев. А. Финогеновой.*)

Вильгельмина (1880–1968), королева Нидерландов в 1890–1948 гг. В 1901 г. вышла замуж, но восемь лет оставалась бездетной; в 1909 г. рождение ее дочери отмечалось как национальный праздник.

Кембриджский союз — дискуссионное студенческое общество.

«Диана на перепутье» (1885) — роман Джорджа Мередита.

Не правда ли? (*фр.*)

Отец Жозеф Дамьеен (1841–1889) — бельгийский священник, работавший в лепрозории на о. Молокай (Гавайские острова) с 1873 г. и там же умерший от проказы.

Винчестерский колледж — одна из девяти самых престижных мужских средних школ (основана в 1382 г.).

Вестминстерская школа — еще одна из тех же девяти привилегированных школ (основана в 1560 г.). Кингз-Колледж — один из крупных колледжей Кембриджского университета.

Нью-Форест — живописный лесистый район в Южной Англии.

«Сказки Гофмана» (1880) — опера Жака Оффенбаха (1819–1880).

Популярная песня на стихи Дж. У. Грейвза.

«Прогулки и развлечения Джоррокса» — сборник охотничьих очерков английского писателя Роберта Смита Сертиза (1803–1864).

«Кузина Бетта» (1847) — роман О. де Бальзака.

Франк Ведекинд (1864–1918) — немецкий писатель, предшественник экспрессионизма.
Джон Вебстер (ок. 1580 — ок. 1625) — английский драматург.

Речь идет о законопроекте об избирательных правах для женщин, внесенном в 1910 г. на волне движения суфражисток. Однако женщины Великобритании получили избирательное право лишь в 1918 г.

У. В. — Уильям Бордсворт.

Огастес Джон (1878–1961) — английский живописец, среди его работ — портреты известных литераторов.

Артур Джеймс Бальфур (1848–1930) — премьер-министр Великобритании от консервативной партии в 1902–1905 гг. Занимал и другие правительственные посты.

Чарльз Кингсли (1819–1875) — английский писатель, публицист и священник. Здесь — строка из его стихотворения «Прощание. К С. Е. Г.».

Ламбет — район Лондона.

Джон Стюарт Милл (1806–1873) — английский публицист и политик, член парламента, сторонник женского равноправия. Джордж Фредерик Уоттс (1817–1904) — английский живописец и скульптор.

Уолворт — район на юго-востоке Лондона.

Херлингем — аристократический спортивный клуб и его стадион в Фулэм (район Лондона).

Серпантин — узкое искусственное озеро в лондонском Гайд-парке.

Аксбридж — пригород Лондона.

«Человек и сверхчеловек» — пьеса Дж. Б. Шоу.

Псалтирь, 55: 1, 6–7; 57: 7–8.

«Анабасис» — сочинение древнегреческого писателя и историка Ксенофона (ок. 430 — ок. 355 до н. э.).

Эдуард VII унаследовал престол от Виктории в 1901 г.

Эвфуэс — герой романов Джона Лили (1553 или 1554–1606) «Эвфуэс, или Анатомия остроумия» (1579) и «Эвфуэс и его Англия» (1580), положивших начало стилю эвфуизма.

Мятный ликер.

«Звони по храбрецам...» — первая строка из стихотворения Уильяма Каупера «На гибель судна „Ройял Джордж“».

Джордж Натаниел Керзон (1859–1925) — английский политик, консерватор, в 1899–1905 гг. — вице-король Индии, в 1919–1924 гг. — министр иностранных дел. В 1907 г. был назначен почетным ректором Оксфордского университета, принимал участие в реформе образования.

Цитата из стихотворения «Аир» американского поэта Уолта Уитмена (1819–1892).

Вымышленная личность, поскольку знаменитый канадский путешественник сэр Александр Маккензи умер в 1820 г.

Английские замки, известные в том числе своими парками.

Намек на строку из эпистолярной поэмы Александра Попа «К dame. О характерах женщин» (1737):

Муж ищет то забвения, то славы,
А женщина — единственно забавы.

(Перев. В. Топорова)

«Любовь в долине» (1883) — поэма Дж. Мередита.

Корф — руины средневекового замка в графстве Дорсет.

Христианская наука — протестантская секта, основанная в 1866 г.

Джон Мильтон. Комуc. (*Перев. Ю. Корнеева*)

Джон Мильтон. Комуc. (*Перев. Ю. Корнеева*)

Чарльз Кингсли. Баллада Нью-Фореста. (*Перев. А. Финогеновой*)

Джон Мильтон. Утром Рождества Христова.

Майкл Джессоп — вымышленный автор.

Стюарт Н.Кларк (Stuart N.Clarke) — английский литературовед, специалист по творчеству и библиографии Вирджинии Вулф. Господин Кларк оказал неоценимую помощь при подготовке русского издания романа: он не только написал послесловие, но и давал ценные консультации переводчику во время работы над текстом, за что издательство выражает ему искреннюю признательность.

Цитируется в переводе по книге: Quentin Bell. Virginia Woolf: A Biography. Volume One: Virginia Stephen 1882–1912, Hogarth Press, 1972, p. 209. (Квентин Белл. Биография Вирджинии Вулф. Том 1, «Вирджиния Стивен, 1882–1912».).

Цитируется по книге: Virginia Woolf: The Critical Heritage. Ed. Robin Majumdar and Allen McLaurin, London, Routledge & Kegan Paul, 1975, p. 59. («Вирджиния Вулф: Критическое наследие»).

The Pargiters by Virginia Woolf: The Novel-Essay Portion of the Years. Ed. Mitchell A. Leaska, Hogarth Press, 1978, p. XXXIX–XL. («Парджитеры» Вирджинии Вулф: Эссеистика в романе «Годы»).